

INSTITUT
YODATSKI

המחשבה היהודית

המחשבה היהודית

FROM THE LIBRARY OF
SHIMON MARKISH
(1931-2003)

**עגונעס
עגונעס
יעהופעם**

ХУДОЖНЬО-ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ
АЛЬМАНАХ
ІНСТИТУТУ ЮДАЇКИ

4

КИЇВ «СФЕРА» 1998

ISBN966-7267-29-6

УДК 892.45(059)

ББК 84.5Є Я5

Є 31

РЕДКОЛЕГІЯ:

Г.Аронов (редактор), Р.Заславський,

О.Мудрагель, М.Петровський,

М.Феллер, Л.Фінберг

РЕДКОЛЕГІЯ ВИСЛОВЛЮЄ ПОДЯКУ
ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ЄВРЕЙСЬКОМУ КОНГРЕСУ,
ПОСОЛЬСТВУ КОРОЛІВСТВА НІДЕРЛАНДІВ В УКРАЇНІ
ТА ВААДУ УКРАЇНИ
ЗА ДОПОМОГУ У ВИДАННІ АЛЬМАНАХУ

Комп'ютерний набір — Галина Ліхтенштейн

Комп'ютерна верстка — Тетяна Іванько

Художник Віктор Харик

Коректор Людмила Мержвинська

На першій сторінці обкладинки робота Павла Фішеля,
на четвертій сторінці обкладинки
малюнок Геннадія Карабинського

© Інститут Юдаїки, 1998

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

*Вітаємо вас із виходом четвертого числа
«Євгуїя».*

Працюймо разом над п'ятим!

50-ЛЕТИЕ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ

«И поднимет знамя народам, и соберет разбросанных израильтян, и соединит рассеянных иудеев от четырех концов земли.»

Танах, Исайя, 11-12.

14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль. Мы не будем комментировать это событие, ибо оно заслуживает не безлого перечисления побед и свершений, а обстоятельного анализа и размышлений. Надеемся, этим займутся историки и политологи. Мы же просто хотим открыть посвященный этой славной дате номер нашего альманаха публикацией «Декларации независимости», принятой в самый критический момент, накануне провозглашения Эрец-Исраэль. Провозглашенные в Декларации принципы остаются незыблемыми и определяют жизнь молодого государства, воссозданного на древней земле.

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

В Эрец-Исраэль возник еврейский народ. Здесь сложился его духовный, религиозный и политический облик. Здесь он жил в своем суверенном государстве, здесь создавал ценности национальной и общечеловеческой культуры и дал миру в наследие нетленную Книгу книг.

Насильно изгнанный со своей родины, народ остался верен ей во всех странах своего рассеяния, не переставал надеяться и уповать на возвращение на родную землю и возрождение в ней своей политической независимости.

Преисполненные сознания этой исторической связи, евреи из поколения в поколение пытались вновь обосноваться на своей древней Родине. Последние десятилетия озаменовались массовым возвращением в родную страну. Пионеры, репатрианты, прорвавшие все преграды на пути к Родине, и защитники ее оживили пустыню, возродили свой язык иврит и построили города и села. Они создали развивающееся общество, самостоятельное в экономическом и культурном отношении, миролюбивое, но способное оборонять себя, приносящее благо прогресса всем жителям страны и стремящееся к государственной независимости.

В 1897 году по призыву Теодора Герцля, провозвестника идеи еврейского государства, собрался Сионистский конгресс, провозгласивший право евреев на национальное возрождение на своей земле. Это право было признано в Декларации Бальфура от 2 ноября 1917 года и подтверждено мандатом Лиги Наций, придавшим особую силу международного признания исторической связи еврейского народа с Эрец-Исраэль и праву евреев на воссоздание своего Национального очага. Постигшая в недавнее время еврейский народ Катастрофа, жертвами которой были миллионы евреев в Европе, вновь непреложно доказала необходимость разрешить проблему еврейского народа, лишенного родины и независимости,

путем восстановления Еврейского государства в Эрец-Исраэль, государства, которое распахнуло бы врата отечества перед каждым евреем и обеспечило бы еврейскому народу статус равноправной нации в семье народов мира.

Те, кто уцелел во время ужасной нацистской бойни в Европе, а также евреи других стран мира наперекор всем трудностям, препятствиям и опасностям продолжали нелегально прокладывать путь в Эрец-Исраэль и добиваться права на достойное существование, свободу и честную трудовую жизнь в родной стране.

Во время 2-й мировой войны еврейское население Эрец-Исраэль в полной мере внесло свой вклад в дело борьбы свободных и миролюбивых народов против черных сил нацизма. Кровью своих бойцов и военными усилиями оно приобрело право числиться среди народов, положивших основу союзу Объединенных Наций.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о создании Еврейского Государства в Эрец-Исраэль. Ассамблея возложила на жителей страны обязанность принять все меры, необходимые для осуществления этой резолюции. Это признание Организацией Объединенных Наций права еврейского народа на создание своего собственного государства неопровержимо. Еврейский народ, как и всякий другой народ, обладает естественным правом быть независимым в своем суверенном государстве.

На этом основании мы, члены Народного Совета, представители еврейского населения Эрец-Исраэль и сионистского движения, собрались в день истечения срока британского мандата на Эрец-Исраэль и в силу нашего естественного и исторического права и на основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций настоящим провозглашаем создание Еврейского государства в Эрец-Исраэль — Государства Израиль.

Постановляем, что с момента истечения срока мандата, сегодня ночью, в канун субботы, 6 яря 5708 года, 15 мая 1948 года и впредь до создания выборных и нормально функционирующих государственных органов в соответствии с конституцией, которая будет установлена избранным Учредительным Собранием не позже 1 октября 1948 года, Народный Совет будет действовать как Временный Государственный Совет, его исполнительный орган — Народное правление — будет являться Временным Правительством Еврейского Государства, которое будет именоваться Израилем.

Государство Израиль будет открыто для репатриации и объединения в нем рассеянных по свету евреев; оно приложит все усилия к развитию страны на благо всех ее жителей. Оно будет зиждиться на основах свободы, справедливости и мира, в соответствии с идеалами еврейских пророков. Оно осуществит полное общественное и политическое равноправие всех своих граждан без различия религии, расы или пола. Оно обеспечит свободу вероисповедания и совести, право пользования родным языком,

право образования и культуры. Оно будет охранять святые места всех религий и будет верно принципам Хартии Организации Объединенных Наций.

Государство Израиль изъявляет готовность сотрудничать с органами и представителями Организации Объединенных Наций в деле проведения в жизнь резолюции Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1947 года и предпримет шаги к осуществлению экономического единства всей Эрец-Исраэль.

Призываем Организацию Объединенных Наций оказать содействие еврейскому народу в строительстве его государства и принять Государство Израиль в семью народов мира.

Призываем сынов арабского народа, проживающих в государстве Израиль, — даже в эти дни кровавой агрессии, развязанной против нас много месяцев тому назад, — блюсти мир и участвовать в строительстве Государства на основе полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех его учреждениях, временных и постоянных.

Протягиваем руку мира и предлагаем добрососедские отношения всем соседним государствам и их народам и призываем их к сотрудничеству с еврейским народом, обретшим независимость в своей стране. Государство Израиль готово внести свою лепту в общее дело развития всего Ближнего Востока.

Призываем еврейский народ во всех странах рассеяния сплотиться вокруг евреев Израиля в деле алии и строительства и присоединиться к их великой борьбе за воплощение извечной мечты народа Израиля об избавлении.

Уповая на Твердыню Израиля, мы скрепляем нашими подписями сказанное в настоящей декларации на заседании Временного Государственного Совета на родной земле, в городе Тель-Авиве, в сей день, канун субботы, 5 дня месяца ияр года 5708, 14 мая 1948 года.

Давид Бен-Гурион
Даниэль Остер
Мордехай Белтов
Ицхак Бен-Цви
Элияху Берлин
Фриц Бернштейн
Рабби Вольф Голд
Меир Грановский
Ицхак Гринбаум
Д-р Аврахам Грановский
Элияху Добкин
Меир Вильнер-Ковнер
Зерах Вархафтиг
Герцль Варди
Рахель Кохен
Рабби Калман Кахана
Са'адия Кубаши
Рабби Ицхак Меир Левин
Меир Давид Левенштейн

Цви Лурия
Голда Меерсон
Нахум Нир
Цви Сегал
Рабби Йехуда Лейб ха-Кохен Фишман
Давид Цви Пинкас
Ахарон Цизлинг
Моше Колодный
Эли'эзер Каплан
Аврахам Кацнельсон
Феликс Розенблюм
Давид Ремез
Берл Ренетур
Мордехай Шатнер
Бен Цион Штернберг
Бхор Шитрит
Моше Шапиро
Моше Шертук

Инна Лесовая

МАНЕЧКА И ФРИДОЧКА

Когда-то, лет восемьдесят назад, Манечка очень любила Фридочку. Она просто-таки выпросила Фридочку у матери. «Роди мне сестричку, роди сестричку! У всех есть — только у меня нету! И поддержать никто не дает!»

Не давали потому, что Манечка была еще совсем маленькая. Но уж когда Фридочка родилась, Манечка отвела душу! Не спускала ее с рук, целый день нянчилась с ней, стояла у ворот, по-женски откинувшись в поясице, привычным материнским движением поправляла на руках ребенка. И каждому, кто видел ее, становилось весело, каждый норовил потрепать Манечкины пушистые косички, пройти рукой по стройной прогнувшейся спинке, о чем-нибудь спросить. Чаще всего спрашивали, сколько ей лет и как зовут ее сестричку. Манечкины длинные губки тут же счастливо растягивались, глазки благодарно озаряли скуластое личико, и она отвечала, охотно и подробно, а если прохожий не задавал других вопросов, спрашивала сама, гордо выставя напоказ сестренку: «Правда, хорошенькая?» И все, разумеется, отвечали: «Очень! Очень!» Манечка радовалась. Она не чувствовала в этих словах фальши.

Зато Фридочка начала распознавать взрослую фальшь очень рано. Годам к трем она уже знала, что не нравится людям, что ее хвалят в угоду Манечке. Такое положение казалось ей вполне естественным. Она сурово выслушивала ответ прохожего, что-нибудь вроде «да-да, очень хорошенькая!». И если при этом он удосуживался взглянуть на Фридочку, то сталкивался с такими недетскими выпуклыми глазами, с таким трезвым безразличием, что просто оторопь брала.

А ведь у Фридочки и волосики были красивее, и ротик маленький, и нос не такой курносый... Но не было в ее лице и следа лучезарной Манечкиной доброжелательности, так счастливо заменявшей красоту. Не было и Манечкиной ладности в фигурке. Чем старше становилась Фридочка, тем больше она походила на тяжелый неухватистый мешочек. Годам к трем она весила ненамного меньше, чем восьмилетняя Манечка. А Манечка все тасила ее на руки! Взрослые сердились и кричали: «Оставь! Спусти ее сейчас же на пол! Спину сломаешь!» А звучало так, будто кричат: «Брось сейчас же эту гадость! Она ломает тебе спину!»

Будто Фридочка просилась на руки! Она и раньше не любила сидеть у сестры на руках, хотя раньше на руках у Манечки не было так неудобно и страшно. Фридочка всегда хотела свободы, хотела, чтобы Манечка оставила ее в покое. Она и оставила, как только родился Анчил. Даже чуть раньше, когда Манечка поняла, что ее мать беременна. Она просто-таки ошалела от радости! Не знала, что бы такое сделать для матери, чем помочь. Только что живот не подпирала. Соседки, глядя, как она издали

бросается к матери, чтобы забрать у нее ведро с водой, как оттесняет ее от корыта с бельем, качали головами и все повторяли: «Вот повезет кому-то! Ну и жена кому-то достанется!» Когда же родился Анчил, женщины иногда нарочно забегали к Гольдиным, чтобы поглядеть, как восьмилетняя девочка купает и пеленает малыша. Движения у Манечки были смелые, привычные — движения женщины, воспитавшей не одного ребенка. Да он и был у нее второй. Теперь она не спускала с рук Анчила и про Анчила спрашивала всех и каждого: «Правда, он хорошенький?» И ей охотно отвечали: «Очень!»

Трехлетняя Фридошка и тут различала определенную долю фальши. У Анчила был розовый носик бульбочкой, слюнявый ротик, три тоненькие космочки, которые Манечка закручивала на лбу жалким колечком. Но чем-то он трогал. «Этот более удачный», — говорили друг другу взрослые, и Фридошка понимала, что «менее удачная» — это она.

Да... Взрослые не щадили Фридошкино самолюбие, не догадывались, что женщине и в три года неприятно, когда в ее присутствии хвалят кого-то другого. Даже если это младенец, даже если твоя единственная сестра, которая вдобавок буквально выпросила тебя у матери, не собиравшейся больше рожать.

«Мамочка! Мамочка! Роди мне маленькую сестричку!» — умиленно вспоминала Бася и окидывала Фридошку оценивающим взглядом, как бы прикидывая, стоило ли исполнять Манечкину просьбу. Фридошка слушала мать с несколько отстраненным интересом. Ее выпуклые глазки серьезно моргали, редко и неожиданно, как пузырьки на воде. Казалось, она тоже обдумывает, стоило ли ее рожать. Впрочем, это было постоянное выражение ее лица. И все знали: вот такая же она будет и в тридцать, и в семьдесят лет — коротенькая, толстая, с ногами враспыху... Не очень-то привлекательная картинка. Прибавьте к этому тяжелые локотки, отодвинутые назад с видом полного недоумения: куда дальше идти и что делать... Прибавьте и то, что со своим недоумением она постоянно оказывалась у кого-нибудь на дороге. Впрочем, если бы не это странное Фридошкино качество, Басе просто нечего было бы рассказать людям о своей младшей дочери.

У Баси о каждом из ее пятерых детей было по несколько любимых историй. «Фридошкины истории» звучали несколько однообразно, примерно так: «...А я как раз несла кастрюлю с только что кипевшим бульоном! Это какое-то чудо, что плеснуло мимо!» Или: «...А я как раз сняла с огня таз с вареньем!» А не варенье — так вязанка дров, топор... Эти истории были сильны исключительно своим счастливым концом, неожиданным избавлением, которое и Басю, и ее слушателей неизменно восхищало. Этот счастливый конец, как правило, был связан с Манечкой. «Если бы Маня не выхватила ее у меня из-под ног!» «Если бы Маня не поймала ее на самом краю колодца!» То есть как бы и тут героиней выходила Манечка, но ясно было, что и у Фридошки есть своя немалая ценность, раз все так счастливы, что она не умерла и не осталась калекой.

Фридошка любила слушать все эти семейные предания. Они значили для нее гораздо больше, чем реальные события, происходящие вокруг. Например, она совсем не помнила сумасшедшего Хаима. Зато рассказы о его приходах повторяла всю жизнь. Как он примерно раз в два года возникал в дверях кухни и садился на «свою» лавку, как подмигивал детям, подглядывавшим в щелку, как дети после его ухода капризничали и плакали. Он мог прожить в их доме дня три-четыре, а мог исчезнуть в тот же вечер, не окончив ужина.

Конечно, эти рассказы были лишены поэзии. Никто не упоминал о том, что сумасшедший появлялся и исчезал всегда только в сумерки. О том, как долго не решались убрать со стола его тарелку с остывшим ужином. Как выходили за ворота, пытаясь разглядеть на дороге его фигуру...

С годами эти рассказы сокращались, теряли даже простые свои подробности. И только Фридошка хранила их в первом, самом подробном варианте, ежедневно перебирала, пересматривала в памяти, как хозяйка перебирает, пересматривает вещи в сундуке. Она часами сидела на ступеньках крыльца, похожая на лягушонка. Ротик приоткрыт, будто она удивилась чему-то — да так и забыла по рассеянности его закрыть. Бася даже побаивалась, не вырастет ли она слегка слабоумной, вроде своего дяди по отцовской линии. Имела она в виду не сумасшедшего Хаима, который помешался, потеряв в один день троих детей, а младшего из братьев Гольдиных, Моисея — того, что уехал на заработки в Америку и вернулся оттуда с полным чемоданом китайских шариков, сделанных из тырсы. Они были обернуты в цветную бумагу и ловко обмотаны нитками. К скрещению ниток была привязана резинка, на которой шарик прыгал. Этот товар, как и следовало ожидать, не нашел спроса у жителей Козинца. Моисей продал три или четыре «прыгалки», остальные раздарил постепенно племянникам и соседским детям.

Это тоже была история, знаменитая на всю родню. Как он уехал, вернулся, раздал свои шарики, наодалживал денег и снова укатил в Америку. Во второй раз он навез оттуда плюшевых жилеток, тоже вроде бы китайских, из которых не смог продать ни одной. Неудача не остановила его. Но на третий раз он пропал, канул. Предполагали, что у него нет денег на обратный билет. Так, во всяком случае, утешали его жену, оставшуюся без средств с мальчишками-близнецами на руках. Вот они-то как раз и были оба слегка туповаты. Но никак не Фридошка. Бася беспокоилась напрасно. Складом ума Фридошка пошла в самого старшего из братьев Гольдиных — в Аврума. Тот тоже выглядел так, будто не интересуется общим разговором, но всегда оставлял за собой последнее слово, как бы снисходично к неразумным, чтобы открыть им окончательную истину, обычно неприглядную. Чаше всего он бывал прав. Даром что сам без угрызений совести жил на иждивении своей веселой двуязыльной сквернословки Хивы, которую все считали святой и которую Иосиф, сын Аврума

от первого брака, любил больше, чем родную мать. Этот самый Иосиф — мой дед — был, пожалуй, единственным человеком, который не вызывал яростных споров между Манечкой и Фридошкой, моими старенькими черновицкими тетками.



Когда Манечка говорила, что мой дед был человеком редкостной доброты, порядочности, справедливости, трудолюбия, благородства и ума, Фридошка даже слегка кивала, удостоверяя, что на это раз Манечкиным словам можно верить. Она только добавляла в конце, справедливости ради, что дед был малограмотным. «Ты не обижайся, конечно», — прибавляла она, чувствуя спиной испепеляющий взгляд Манечки и спиной же отвечая, что правдой она не поступится. Они столько лет отворачивались друг от друга, что в их спинах было выражения чуть ли не больше, чем в лицах.

С чего было обижаться? Я знала, что дед закончил всего четыре класса. Да и можно ли было сердиться на Фридошку после приговоров, которые она выносила собственному отцу и своим братьям... Терпеливо дав Манечке высказаться, Фридошка уточняла: «Но вообще наш отец был человек простой и недалекий». Или: «Разве можно было такого малохолного, как наш Зюня, пускать одного в Америку?» «Генрих не был особо способный, он просто большой карьерист.» «Мама у нас была толковая, но не интересная. У нее было лицо немножко как у черепахи. Мы, ее дети, все в нее пошли. Курносые, рот до ушей, глаза аж на висках...»

— Анчил был похож на маму больше всех! — не выдерживала в конце концов тетя Маня. — И он был просто красавец! А Кимушка?

— Да, — соглашалась справедливая Фридошка, как можно сильнее отворачиваясь от сестры и как бы не ей отвечая. — Анчил был-таки красивый. А Ким... Он, конечно, ничего как мужчина. Но он тоже на черепаху похож, особенно теперь, с лысиной. — При этом тетя Фрида даже морщилась, брезгливо и огорченно вместе. — Конечно, Ким — мой племянник, но если бы Сашенька не была из такой бедной семьи, она бы никогда за него не пошла.

Тут тетя Маня выходила из себя так, что обращалась уже не к полтуку, а к Фридошкиному колену.

— Да, у Сашеньки не лицо, а солнце! Но по уму, по интеллигентности ей до Кима — как до неба! — и, напуганная собственной резкостью, спешила оправдаться. — Ты знаешь: Сашенька — мой кумир! Но надо же быть объективными...

И Манечка повторяла мне то, что я слышала, когда приезжала год назад. Всегда те же слова, будто выученные наизусть, те же истории. Та же ненависть, черствая, как бесплодная земля...

И это между кем?! Между Фридошкой — и Манечкой, которая буквально выпросила сестренку у матери! Которая десять раз спасала Фри-

дочку — от кипящего бульона, от разогнавшихся лошадей. Манечка, которая, приняв за погромщика Макара Савчука, прибежавшего сообщить отцу, что из Бузовицы привезли дешевые кожи, бросилась к его пудовым, измазанным глиной сапогам, завопила: «Дяденька! Убейте меня! Но сестричку, сестричку мою не трогайте!» Маленькая, жалкая, в потной рубашонке, с горлышком, обмотанным ватой и марлей... «У мэ́нэ аж сэрдцэ стало!» — вспоминал потом Макар, и неизменные слезы застилали ему глаза. Дело было вскоре после кишиневского погрома. Накануне вечером к Манечкиному отцу приходили из «комитета самообороны». Принесли тяжеленную трость с набалдашником. Отец не хотел ее брать, говорил, что этой палкой не защитит дом от пьяной толпы. А Бася схватила на руки годовалую Фридочку и шепотом кричала: «Пусть придут! Я выйду им навстречу с ребенком, и пусть попробуют! пусть убивают, если смогут!» На это Басе ответили, что грудных детей убивали особенно жестоко.

Больная Манечка лежала, накрывшись с головой, но все слышала, и всю ночь ей мерещились дети, возвратившиеся из школы в изувеченные пустые дома. Как они разыскивают своих родителей в кладбищенском сарае и кричат, кричат... Манечке казалось, что этот крик доносится до нее откуда-то из-под кровати.

А утром ее разбудил пудовый топот Макара, которого она увидела впервые.

Эту историю иногда рассказывал отец, не питавший слабости к семейным преданиям. Чаще — мать. И обязательно Макар, когда заходил по делу или в гости. Без них Манечка давно забыла бы все это. У нее вообще было странное и счастливое свойство — быстро забывать все плохое. Поэтому ее собственные истории с течением времени менялись, обтачивались, как галька, теряя свои мрачные выступы и неприятные зазубрины. У Фридошки это вызывало некоторую досаду, но она не уточняла, не подсказывала Манечке пропущенные подробности, тем более что они часто говорили не в ее, Фридошкину, пользу.

Взять хоть случай с медвежонком. Манечка рассказывала его до глубокой старости, и выходило у нее вполне скучно: «У нас в местечке был чудный доктор! Однажды я заболела, и он приходил к нам несколько раз. Он мне подарил заводного медведя с барабаном. Это была большая редкость в то время! Наверно, он стоил больше, чем родители заплатили за мое лечение!» История эта, когда Фридошка услышала ее впервые, уже потеряла свое начало. А было так: Манечка сильно простудилась, и Бася поставила ей горчичники. Бася и сама чувствовала себя скверно: она была на втором месяце беременности, и ее тошнило с утра до ночи. К тому же у отца в мастерской неважно шли дела. Бася забыла о горчичниках, а, вспомнив, сначала испугалась, а потом решила, что горчичники слабые, раз ребенок молчит. Когда же она их все-таки сняла, то обнаружила, что вся спина Манечки пошла волдырями. Доктор Бронфман, пораженный

мужеством ребенка, подарил Манечке дорогую игрушку. Манечка очень гордилась своим мишкой, поставила на буфет между пасхальными подсвечниками и доставала оттуда очень редко — и то ради Фридошки, когда та, например, болела и не хотела принимать лекарство. Едва касаясь благоговейными ручками белого плюша, Манечка устраивала для Фридошки «спектакль» с пением, но трогать мишку не позволяла.

Фридошка, введенная в заблуждение пропущенными волдырями, была поэтому очень довольна, когда заболела настолько серьезно, что к ней вызвали самого доктора Бронфмана. Доктор видел, что ребенок чего-то ждет от него, но чего именно — разумеется, не понял. Прощупывая увеличенные железки под ушами Фридошки, он отводил глаза, избегая ее строгого, настойчивого взгляда.

На следующий день, как только Манечка ушла в школу, Фридошка потребовала у матери медведя. Замученная Бася, слегка посопротивлявшись, не смогла отказать больному ребенку, попросила только играть с ним осторожно и не ронять на пол. Ничего такого Фридошка мишке не делала и даже довольно скоро утратила к нему интерес, но вдруг оказалось, что одна лапа у него вывернута и болтается, а на левой половине белой мордочки появилась большая коричневая плешь. В тот день Фридошка впервые увидела, как Манечка плачет. Громко. Сгибаясь и мотая головой. И странно: она тут же перестала бояться и чувствовать себя виноватой. Манечка не могла! не имела права плакать! Это было невыносимо, противно! Расстроенная Бася хлопотала над Манечкой, как будто это она, Манечка, больна, и уговаривала: «Ты же добрая девочка! Ты же уже большая! У тебя же у самой скоро будут дети!» Тут Манечка разрыдалась еще горше: оказывается, для них-то, для своих будущих детей и хранила она, и берегла мишку...

И что же? Весь этот печальный конец Манечка очень скоро забыла. И не понимала, почему Фридошка как бы дичится, сторонится ее...

Да... Разве угадаешь заранее, во что впоследствии выльется какая-нибудь пустяковая история, или выброшенная из нее пара слов, или... Не из-за такой ли мелочи погибли мои дед и бабка, пятеро их дочерей и семеро внуков...



Подумать только, что все началось с какого-то кружевного воротничка. Манечка вязала его тайком от всех. Первые несколько рядов шли трудно, петли выходили тугие, судорожные, но скоро Манечка уловила нужное движение, и через неделю воротничок был готов.

Ах, какой стоял красивый летний день! Листва на деревьях еще не огрубела, не запылилась. Тень была негустая, а солнце не пекло. И все вокруг — солнце, травы, деревья — выглядело точно так же, как сейчас. Даже одежки на детях. Разве что победнее.

Бася с Хивой стирали белье, и младшие дети вертелись вокруг, любовались снежной пеной. Зюня, самый взрослый из детей, набрал мыльную

воду в чашку и выдувал из нее соломинкой прозрачные гроздья пузырей, отливающих радугой. Солидный Генрих не участвовал в этом ребячестве, читал книгу. Хивин Иосиф таскал воду из колодца для мачехи и тетки. А маленький Анчил сидел, как в клеточке, в перевернутом табурете, гудел от счастья и тоже пускал пузыри — слюнявые. Женщины делали вид, что не замечают, как Манечка таинственно снует по двору, как украдкой макает что-то, зажатое в кулачке, то в корыто, то в таз с крахмалом. Наконец она ненадолго скрылась в доме и торжественно вывела оттуда Фридочку, аккуратно причесанную, с большим бантом на макушке и с крахмальным кружевным воротничком, покрывающим плечи. Фридочка выглядела так, как выглядит ребенок, который прочел стишок и ждет аплодисментов.

— Смотри-ка! — всплеснула руками Ента, мать близнецов, жена канувшего Моисея, которая и научила Манечку вязать. — А я-то думала, она уже давно забросила свой воротник! Молодец! Вы посмотрите только, какие ровные петельки! — И добавила: — Ну, Манька! Ну, повезет кому-то, кто тебя замуж возьмет!

И Хива тоже подошла, вытирая о бока мокрые ладони. Посмотрела, цокнула языком и предложила:

— Иди, Маня, ко мне в невестки! Лучше, чем мой Йоська, никого не найдешь! Он добрый, помогать тебе будет! Нарожаете полный дом детей! — При этом она поймала пасынка за вихор и, ласково трепля, притянула его к себе.

Манечка смущенно потупилась, но, поглядывая снизу, отметила с удовольствием, что Иосиф, хоть и смеется, но смотрит на нее с симпатией, так, будто предложение Хивы ему по душе. Казалось, он даже собирается что-то ответить, но тут маленький Бэреле, сын Хивы, бросился перед ним на колени и взмолился:

— Иоселе! Братик мой дорогой! Возьми себе мою лошадку, возьми прыгалку! Только пусть Маня будет моя жена!

Все расхохотались, даже важный Генрих, даже толстые близнецы, хотя они и не расслышали, о чем идет речь. И маленький Анчил, глядя на других, визжал и бил ладошкой по только что напущенной лужице.

И тут Фридочка изо всех сил ударила Манечку ботинком по косточке...

К сожалению, и о воротнике, и о косточке Манечка очень скоро забыла и с большим удовольствием до глубокой старости рассказывала, как Хива однажды предложила ей выйти замуж за Иосифа и как Бэреле умолял брата: «Возьми все мои игрушки, но пусть Маня будет моя жена». И этой безделицы хватило моей бабке для того, чтобы всю жизнь ревновать деда к Манечке, всячески ее избегать, настраивать против нее детей...

Да и для самой Манечки разве не важнее было бы запомнить то, что произошло позднее, когда Манечка пошла искать свою отшлепанную сестричку?

Хива очень красиво забинтовала Манечке ногу. Резкая боль прошла. Ободранная косточка слегка ныла, саднила при ходьбе, но это было даже приятно. Манечке нравилось хромать.

День уже остывал. Приближались бесприютные сумерки. Манечка знала, что сестренка не ушла далеко, и ступила за ворота с великодушной, прощающей улыбкой. Фридошка действительно стояла в двух шагах от калитки, среди лопухов и куриной слепоты. Она казалась совсем маленькой. Злополучный воротничок уродливо висел, сдернутый набок. Манечке вдруг стало стыдно своей великодушной улыбки. Фридошка выглядела не виноватой, а обиженной. И было ясно, что идти домой она не захочет.

Манечка звала ее. Делала вид, что уходит, пугала: «Вот придет сумашедший Хаим и заберет тебя!» Фридошка не шевелилась. Зато Манечке самой стало страшно. Она поспешила к сестренке и попыталась поднять ее на руки, но не смогла, хотя Фридошка не сопротивлялась, как обычно. Манечкины ручки скользнули по тугому неподатливому тельцу, она опустила на корточки и заплакала.

Она не понимала, почему плачет. Что-то мягкое и кроткое переполняло ее, что-то очень хорошее, но слишком большое для одного человека. И Фридошка вдруг тоже громко заплакала своим рвущимся баском. Она не боялась, что мать снова станет ругать ее, пожалуется на нее отцу. Это было что-то другое. Из сумерек укоризненно смотрели на нее Манечкины будущие дети, о которых все время толковали взрослые. Они будто спрашивали Фридошку: «Ты зачем сломала нашего мишку? Ты зачем ударила нашу Манечку по ноге?» И Фридошка стояла перед ними одна и как бы ничья.

Удивительно, что и Манечка думала тогда о том же. Она клялась себе, что сколько бы у нее ни родилось детей, больше всех она будет любить Фридошку.

Ну? Не лучше ли было Манечке запомнить именно это, а не историю о том, как бедный Бэреле просил старшего брата уступить ему «невесту»? Да и почему запомнился именно Иосиф, который женился через каких-нибудь четыре года, не дожидаясь, пока вырастет Манечка? Кто из соседей не звал Манечку в невестки! Кому только Бэреле не предлагал свои игрушки! Стоило Басе вынести во двор какой-нибудь коричневый носок, аккуратно заштопанный бежевыми нитками, или школьный табель с однообразным столбиком отличных отметок — женщины начинали ахать: «Нет! Вы видели, чтобы ребенок так штопал?! Это золото, а не девочка! Расти скорее! Я другой жены для моего...» И Бэреле топал со своей лошадкой к очередному сопернику. Пока, наконец, близнецы не забрали ее, пообещав, что на Манечке не женятся. Хоть и туповатые были, а выгоду свою понимали, знали, что Манечка не про них. И действительно, когда Манечка сравнивала и выбирала среди предложенных ей женихов, близнецы оказывались на последнем месте. Как-то они несимпатично книзу расширялись, а сверху сужались наподобие яйца. Особенно же напоми-

нали яйца их головы. Манечка не хотела, чтобы ее дети ходили с такими головами.

Надо сказать, что Манечкины будущие дети вполне реально участвовали в ее жизни. Манечка знала место, где они находятся, и часто чувствовала их. Лучше всего это получалось летом. Манечка выходила за околицу, туда, где начинались бесконечные зеленые холмы. Она видела, как дышит земля под своей мягкой зеленой шкурой. И сама Манечка невольно начинала дышать в лад с землей, все глубже, все радостнее, выше сил наполняясь смехом и звоном. Манечка знала, что это радуются ее будущие дети. Иногда ей удавалось увидеть их крошечные, ожидающие личики, мельтешащие под закрытыми веками, как сплошные россыпи цветов. У Манечки сердце останавливалось — так хотелось поскорее освободить их, выпустить в этот мир! Главное, она знала, как это сделать, только не решалась. Сколько раз она подходила к старому коричневому шкафу со светлым зеркалом посередине, как бы для того, чтобы поправить поясик или ленточку в косе, и, обмирая от стыда, сладкого ужаса и нетерпения, начинала потихоньку выпячивать и надувать живот. Сильнее, сильнее... Таинственный серебристый свет разгорался в глубине зеркала... Кровь начинала стучать вразнобой по всему телу. Сначала в ушах, потом в груди, потом... Но, уловив это ощущение, Манечка пугалась, заливалась горячей краской и убегала прочь, подальше от опасного места, и долго успокаивала, заговаривала свое колотящееся сердце, повторяя: «Рано! Мне еще рано! Немножко позже!» Она была уверена, что, надувая живот, надувает и крошечного, спрятанного там ребенка. И что если бы у нее хватило смелости, она бы сделала главное, самое трудное усилие, после которого кожа растянется шаром и ребенка уже нельзя будет втянуть обратно, как Зюня всасывает обратно в соломинку мыльные пузыри. Манечка знала, что вынимать оттуда ребенка очень больно и она еще слишком маленькая, чтобы вытерпеть такую боль.

Кроме того, Манечка считала, что прежде, чем рожать детей, следует выбрать для них хорошего отца. Отец должен был обладать теми качествами, которых, по мнению Манечки, не хватало ей самой: красивым лицом и приятным голосом. Манечка никогда не огорчалась из-за своей внешности, но для своих детей желала лучшего. И конечно же, ее дети должны были хорошо петь. Сама она петь совсем не умела. То есть внутри она пела, и очень красиво, но наружу звуки выходили постыдно неверные и хриплые. Ну и, разумеется, отцу ее детей полагалось быть очень ученым.

Из всего сказанного ясно, что длиннолицый Иосиф, мой покойный дед, не подходил Манечке по всем трем параметрам. И не только Манечке. Бася и ее дети были буквально помешаны на красоте, а еще больше — на образовании. Так что никогда и никто из них не относился к Иосифу как к возможному жениху для Манечки. А вот в чем права была моя бабка — так это в том, что Гольдины приняли ее в свою родню без

особого восторга. Она едва умела расписываться, отец ее был портной и вдобавок самого низкого пошиба.

Аврума Гольдина, моего щеголя-прадеда, такое родство оскорбляло. Не позаботившись дать образование собственным сыновьям, он имел все же какие-то необъяснимые претензии. Демонстративно не появлялся в доме свата, где всегда стоял запах уютного пара и заскорузлой ткани, прожженной потом. К тому же он был обижен на Иосифа, который женился против его воли и слишком рано.

Моя бабка такое поведение свекра истолковывала совершенно неправильно. Ее ввела в заблуждение неоднократно слышанная история о том, как Бэреле предлагал Иосифу свои игрушки. На самом деле Аврум и не помнил о существовании Манечки. Это Хива мечтала взять ее в невестки, но двужильная Хива умерла за год до женитьбы пасынка.

Наивная Манечка тоже добавляла пищи бабкиной ревности. Она часто забегала к молодым — не столько из искренней привязанности к двоюродному брату, сколько ради того, чтобы полюбоваться прекрасным лицом его юной жены. Город был крошечный, как желтая проплешина среди зеленых холмов, и жили молодые почти за углом. Когда же у них родилась маленькая Хива, Манечка и вовсе зачастила туда. Ни Фридошка, которая уже ходила в школу, ни четырехлетний Анчил, мягкий и ласковый, но не по годам самостоятельный, не нуждались больше в постоянной Манечиной опеке.

Моя бабка была еще слишком молоденькая для того, чтобы оценить такую умелую добровольную няньку. Она считала Манечку нахальной и навязчивой. Та ничего такого не замечала, а замечала семилетняя Фридошка, зорко следила своими редко и удовлетворенно мигающими глазами. Фридошке было приятно видеть, что Манечку не хотят, но вместе с тем в ней росла и зрела обида на мою бабку, и она до глубокой старости мстительно и безжалостно пересчитывала бабкины недостатки. «Ты меня извини, конечно, но твоя бабка была...» И внушающий, гневный взгляд сестры не мог ее остановить. «...Не очень аккуратная женщина...» «Конечно! — вступалась за бабку Манечка. — Они жили с ребенком за ситцевой занавесочкой, а в комнате спало еще восемь человек!» «А когда они переехали в город — у нее было лучше?» — спрашивала невозмутимая Фридошка. «Как было — ты не видела! И нечего повторять с чужих слов! Она осталась беременная с ребенком на руках, когда Иосифа забрали в армию! Я хочу, чтобы ты знала, детка: твоя бабушка была святой!»

Вот так. А Зоя, родная мамина сестра, считала мою дружбу с Манечкой предательством... Что ж, если жизнь наша длится в каком-то следующем мире, бабушка уже знает правду о Манечке и не сердится на меня. Да и на Фридошку тоже.

Сладко ли было Фридошке с самого младенчества... Ну что бы стоило взрослым найти какое-нибудь ласковое слово для ребенка! Или хоть не восхищаться в его присутствии другим ребенком, пусть даже более удачным, не засыпать похвалами, как именинника!

И не только посторонние — родная мать! Почему даже к Фридошкиным пятеркам она относилась так, будто они какие-то завалящие? А вот Манечкины — те действительно пятерки! И еще соседи добавляли, изучая Фридошкин табель: «Конечно! Ей же Маня помогает делать уроки!» И кончалось все, как обычно, рассуждением о Манечкиных детях: как легко им будет учиться при такой матери. Ну стоило ли стараться, когда, что бы ты ни сделал, тебе обязательно покажут, как Манечка сделала это гораздо лучше. «Так, как Маня вымоет окно...» «Ни одна старая хозяйка не заштопает носок так, как моя Манюня!»

Этой самой Манечиной штопкой восхищались как-то особенно, и Фридошка долго не задумывалась над тем, какая это кропотливая, неблагодарная работа. Но однажды, войдя с улицы в темный коридор, она увидела в щель приоткрытой двери немую сценку. Горела на столе керосиновая лампа. Манечка сидела над горой сваленных на кушетку линялых мужских носков, жестких после стирки. Она вытянула наугад один — большой, коричневый, с чудовищной дырой вместо пятки, и попробовала подsunуть под нее круглую коробочку. Но та издевательски легко проскочила, стукнулась об пол и укатилась в темный угол. И тут Манечка швырнула носок ей вслед, а потом еще один, и еще! И безнадежно заплакала.

Фридошка метнулась обратно во двор. Она не ощутила ни жалости, ни вины — наоборот, какую-то нехорошую радость. После этого она часто посматривала с тайной усмешкой на сестру, будто выведала постыдный секрет ее успеха, но не унизится до того, чтобы им воспользоваться.

Видно, Манечка подметила эту странную усмешку, потому что однажды решила прямо обратиться к Басе. «Мама! Ведь ты всех нас любишь одинаково! Зачем же ты все время выделяешь меня?» И Бася ответила: «Да. Каждый из вас мне дороже, чем моя жизнь. Но я каждому знаю цену...»

Так уж случилось, что Фридошка услышала и это...

Не надо думать, что Фридошка уже тогда возненавидела сестру. Вовсе нет. Но она мечтала о том, чтобы Манечка куда-нибудь уехала. Ну, хоть в Америку. Тогда она, Фридошка, показала бы всем, что может и резать лапшу, и мыть полы, и штопать эти дурацкие носки. Подумаешь! Сначала стянешь дырку продольными стежками, потом поперечными, пропуская нитку решеточкой...

Задуманный подвиг Фридошка так и не осуществила, даже когда осталась в доме единственная из всех детей.



Эту эпоху отъездов открыл Аврум, мой прадед. Он еще в девятьсот пятом году начал всем внушать, что в России оставаться нельзя, и после смерти Хивы укатил в Америку с маленьким Бэреле. От него прибыло одно-единственное письмо, где он сообщал, что ничего не смог разузнать о брате (о Моисее, который привозил в Козинец китайские прыгалки). На Басино письмо, где она спрашивала, не может ли он принять на первое

время ее старшенького, Зюню, Аврум не ответил. Иосифу он тоже не писал — все сердился за непрестижный брак. Впрочем, в четырнадцатом деда забрали на фронт; а бабка читать не умела. Бася боялась, что и Зюню заберут на войну. Она была уверена, что сына убьют. Смотрела на его рассеянно моргающие глаза, сутулую спину и плакала. Его и убили. Через пять лет. В Америке. Застрелил должник, к которому он явился со свидетелями требовать свои законные деньги. Зюнина молоденькая жена осталась совсем одна, беременная и без всяких средств. Ее письма были капаны слезами, но ехать к родителям мужа она отказалась. Писала, что лучше умрет от голода, но в Россию не вернется. Она так и не поняла, что Козинец — это уже не Россия, а Румыния...

Россия была совсем рядом, за рекой. Но теперь река называлась «граница», и по ту сторону границы оказались Басины дети: Генрих и Манечка. Манечка — случайно. Она поступила в Каменец-подольский пединститут за год до того, как Бессарабию захватили румыны. А Генрих переплыл реку ночью, с десятками других участников восстания. Ни о Манечке, ни о Генрихе ничего не знали. Теперь Россия была дальше, чем Америка.

Впрочем, после того, что случилось со старшим сыном, у Баси и к Америке не было доверия. Да и к жизни вообще. Думаешь, что выбираешь самый лучший, самый надежный вариант, а что из этого выходит? Выходит, что ты сам послал свое родное дитя на смерть. Бася зареклась принимать за детей важные решения. И когда Фридошка объявила, что поедет учиться в Яссы, не стала ее удерживать. Хотя и боялась, что если Россия вернет себе Бессарабию, Фридошка останется в Румынии одна.

За последние годы Бася, разлученная со старшими детьми, сильно привязалась к Фридошке. Фридошка не стала ей помощницей, но Бася этого и не ждала. Девочке и так приходилось туго: румынский язык ей не давался, а без него нечего было и думать о высшем образовании. Потом она уехала. Приезжая на каникулы, оказывалась в положении драгоценной гостьи. Бася, еще не старая, легко справлялась с опустевшим домом. Младшая дочь казалась ей ребенком. Так что когда в один из своих приездов Фридошка самостоятельно замесила и испекла коржики, Бася была ошарашена. Она надкусывала их с некоторым недоверием, будто боялась розыгрыша, но коржики были вполне удачные, не стыдно и людей угостить. Поднося их гостям, Бася неизменно повторяла: «Ну! Как вам нравится?! Моя Фридошка сама испекла печенье!»

Это были знаменитые «Фридошкины палочки», которые она пекла всю жизнь. Ни одно из новомодных изобретений не соблазнило Фридошку изменить своей первой любви. Этими «палочками» она щедро набивала полиэтиленовую торбу, когда подходила к концу неделя, которую я обычно проводила у них в начале мая. В Киеве к этим «палочкам» никто не прикасался, пока не кончались Манечкины воздушные пирожные, трехслойные, пятислойные, с шоколадом и безе, лимонной цедрой, пьяной

вишней и розовым вареньем... От них нельзя было оторваться, дети собирали мокрым пальцем крошки из опустевшей коробки — и только через несколько дней после этого наступала очередь «палочек». Палочки были жестковаты, но прекрасно шли с чаем, их хватало надолго, и чем меньше их оставалось, тем их больше хвалили, а о Манечкиных волшебных пирожных к тому времени успевали позабыть.

Фридошке было бы приятно узнать о таком реванше. Впрочем, она в своих «палочках» и не сомневалась никогда. И всю жизнь рассказывала эту историю, с удовольствием воспроизводя удивление матери: «Как вам нравится?! Моя Фридошка... сама...»

Это была одна из немногих Фридошкиных историй, где речь шла о ней лично. Разумеется, она опускала не слишком лестные для себя подробности: соседи не выказывали Басе ответного воодушевления; по их мнению, Фридошке давно уже пора было и печь, и еще много чего делать. Ее снова и снова сравнивали с Манечкой, о которой почти десять лет ничего не было известно. Полагали, что Манечка давно уже замужем, растит детей, что дети у нее здоровые и красивые, а в доме «все блесит». Шепотом желали Басе поскорее встретиться с предполагаемыми внуками. Это была «политика»: за такие намеки могли и посадить. Румыния не собиралась возвращать России Бессарабию, но все понимали, что Россия с этим не смирится. Шептались о каких-то переговорах, ультиматумах, ходили по рукам затрепанные вырезки из русских газет.

Бася очень боялась за Анчила и просила его не путаться в «такие» дела. Анчил клялся, что ни к чему «такому» не имеет отношения. Но чутье не обмануло Басю: однажды выяснилось, что сын ей лгал и что ему грозит арест, если он не уйдет за границу. Что могла сказать Бася? Да ее никто и не спрашивал. Анчил попрощался, надел конфедератку и ушел. Бася утешалась тем, что он бежал не в какую-то Америку, где нет ни одной родной души. Он бежал к брату, к сестре, которая его вынянчила.

Соседям наплели что-то про невесту в Будапеште. И все поверили в эту глупость: из сморчка Анчила вырос очень красивый парень с ласковыми голубыми глазами, густой светло-русой шевелюрой и особой деликатностью в каждой черточке, в каждом движении. Кто-то досочинил от себя, что невеста богатая. «Конечно! Такой красавец мог найти невесту и в Париже...»

Фридошка с усмешкой прислушивалась к разговору соседок с матерью. Она стояла на крыльце и думала о том, что вот эта трава, вытоптанная в середине двора — как пятка на старом носке — раньше называлась «Россия», а теперь «Румыния», что точно такая же растет на той стороне, и восторженного наивного Анчила это, должно быть, удивляет. Впрочем, там уже Маня взялась за него, не дает оглянуться. Тараторит, расспрашивает его обо всех. И о ней, конечно, о Фридошке. А бедному Анчилу и сказать нечего...

Так она стояла босая, на теплых пыльных досках и не знала, рада она или огорчена, что осталась одна. Как раз в это время улучшали и без того приятную наружность Анчила. По намокшей в Днестре конфедераточке бдительные деревенские бабы, к которым он бежал, радостно размахивая руками, сразу признали в нем шпиона и сдали, куда следовало. Анчила били по лицу с двух сторон, встречным ударом не давая ему упасть на пол. Он быстро перестал что-либо соображать и не понимал, в чем должен сознаться. Это его и спасло. Осталась только несимметричная ямочка на подбородке, которая очень ему шла. Она придавала лицу Анчила иронически-игривое выражение, вовсе не соответствовавшее его внутренней сути, и впоследствии вводила в заблуждение женщин, в особенности — ревнивую Юдифь.

Да... Фридошка, стоя босиком на теплых досках, кругом ошибалась. Не тараторила Манечка, не угощала, не хвастала детьми... Она сидела на согретой солнцем деревянной лавке и видела те же облака, на которые смотрела Фридошка. Рядом с ней сидела и читала наизусть стихи Тютчева Юдифь, верная подруга, перебравшаяся в Манечкину комнату через полгода после того, как Манечка перестала получать письма от Аркадия Исааковича.

Сначала он писал раз в неделю, потом — раз в месяц, потом... Манечка была готова к этому. С того дня, как доктор Кацнельзон с неглубоким профессиональным сочувствием объявил им, что детей у Манечки быть не может, она ждала разрыва и гадала лишь, как это произойдет. Она не только не осуждала Аркадия Исааковича, но была просто рада за него, когда подвернулась эта работа в Семипалатинске. Аркадий Исаакович не бросал Манечку — это партия посылала его как талантливого инженера туда, где трудно, и неразумно было брать с собой женщину на неведомое, необжитое место. Речь шла о том, что он вызовет к себе Манечку, как только устроится. Но, прощаясь на вокзале, оба знали, что больше не встретятся.

Сосед по купе, с которым Аркадий Исаакович по-дорожному быстро сошелся, обратил внимание на то, как приготовлена и уложена его провизия. «Вот даже по такой мелочи видно человека! — сказал он. — Бьюсь об заклад: у вас замечательная жена!» «Да!» — искренне отозвался Аркадий Исаакович, и у него сжалось сердце. Он знал, что после Манечки ни с одной женщиной ему не будет хорошо. И дело не в том, что она прекрасно готовит, красиво подает. Не в том даже, что она умудряется переделывать за день сотню дел и при этом всегда быть свободной. Манечка проживала каждый свой день, как праздник. И Аркадий Исаакович понимал, что ни в ком уже не найдет этого сочетания легкости и надежности. Но он сознательно шел на жертву. Он хотел детей. И не каких-то приютских, к которым нужно привыкать и привязываться, а своих собственных, свою кровь...

Для друзей Манечки и Аркадия Исааковича их разрыв был неожиданностью, в которую трудно поверить. Все приняли Манечкину сторону и всячески старались ее поддержать, в чем не было никакой надобности. Манечка любила Аркадия Исааковича и вовсе не стремилась его разлюбить. Самолюбие ее задето не было. Более того: теперь у нее были связаны руки, и она могла взять на воспитание сироту. Манечка и сделала бы это незамедлительно, если бы как раз после отъезда Аркадия Исааковича не родился сын у Генриха. Мирра — жена Генриха, ответственный работник с греческим узлом и римским профилем — с младенцем не справлялась. Ему взяли няню, но и Манечкина помощь была не лишней. Маленький Ким, страшно симпатичный, хотя и смахивающий слегка на черпашонка, стал для Манечки лучшим отвлекающим средством. Куда лучшим, чем Юдифь, которая считала, что подруга так хорошо держится благодаря ее такту и вниманию. Снимать одну комнату на двоих выходило дешевле, другого проку от Юдифи не было. Она оказалась совершенно беспомощной в быту.

Впрочем, Манечке не составляло никакого труда вести хозяйство за двоих. Юдифь она считала существом возвышенным, говорила всем, что она необычайно образованна, что у нее не лицо, а лик мадонны, и голос, как у оперной певицы. Что ж, Юдифь действительно могла читать Библию на иврите, не даром она родилась в семье раввина. Но глубину ее познаний Манечка оценить не могла, — так же, как глубину ее рассуждений о превосходстве Тютчева над Пушкиным, как и напористое, не слишком точное исполнение итальянских арий. Что же касается ее лица, то оно и вправду было значительным. Казалось, что Юдифь, даже надевая ботики, даже доедая груши из компота, не забывает о пережитом ею погроме и о всех унижениях, выпавших на долю ее народа. Да и всего человечества вообще. При этом взгляд ее был доброжелателен. Юдифь смотрела на вас так, будто отпускала ваши грехи, но... грехов она прозревала гораздо больше, чем было их на самом деле.

Через много лет трезвая Фридошка после первой же встречи с Юдифью сказала: «Эта мишигене считает, что она самая порядочная на свете!» Довольно точный диагноз, но Фридошка повторяла его слишком часто, так что с годами злорадный юмор потускнел и истерся. К тому же завершалось это всегда камнем в сторону Манечки. «Только моя сестра могла завести себе такую подружку! И еще сосватать с ней брата! Он ей в сыновья годился!» — в трехтысячный раз повторяла Фридошка, и Манечка в трехтысячный раз отвечала: «Он со мной не советовался!» И в голосе ее было не только привычное презрение к издевкам сестры, но и непрощедшая обида на брата.

Как? Где это могло произойти? Когда Юдифь торжественно сообщила, что она беременна от Анчила, Манечка испугалась, не сошла ли ее подруга с ума. Не из-за разницы в возрасте — не так уж она была велика. Но Манечка не могла припомнить и пятнадцати минут, когда бы Анчил с

Юдифью оставались наедине! И всего-то он прожил в Каменце четыре дня! Правда, Юдифь принимала самое активное участие в событиях тех дней. Именно она первая увидела и узнала Анчила: красивый парень, держащий хозяйскую калитку, был очень похож на некрасивых Генриха и Манечку. «Маня! — закричала Юдифь. — Смотри! Ведь это твой брат!» Потом она сливала ему на руки воду, подавала полотенце. Ей было проще, чем брату и сестре, отвыкшим друг от друга за десять лет. Анчила смущали Манечкины хлопоты, вопросы, налезавшие друг на друга. Он отвечал скучно и односложно. «Мама? Да ничего, нормально. Папа? Как всегда, работает. Фридошка скоро получит диплом фармацевта...»

Бедный Анчил чуть не обрадовался, когда Манечка спросила о Зюне. Он не знал, что она уехала задолго до всей этой истории, и рассказывал с большим жаром, хотя Зюню помнил очень смутно. Как, впрочем, и сама Манечка. И чем меньше искреннего горя находила она в своей душе, тем горше плакала и убивалась.

То же было и с Генрихом. Он выразил свое горе энергично, но кратко, и легко перешел к следующей теме. Вообще Анчилу с ним было проще, чем с Манечкой. Генрих, грузный, твердый, как бизон, не стеснялся, тискал братишку, толкал его в плечо, откровенно им любовался. В отличие от Манечки, которая все пыталась воссоединить прошлое с настоящим и искала в лице Анчила знакомые черты, следы детства, Генрих просто знакомился с новым человеком, и этот человек ему нравился.

Радостный голос Генриха гудел и бухал в глухом зеленом переулке. Темнело. Решено было, что на эту ночь Анчил, у которого стали слипаться глаза, останется у Манечки.

Манечка в ту ночь почти не спала: ей было тесно на одной кровати с Юдифью. Ночь была светлая, и она видела, как Анчил спит, свернувшись на бок и подложив под щеку сложенные ладони. Совсем как прежде. Ее маленький Анчил... Манечка истаявала от нежности, почти такой же, как тогда, когда он сидел в перевернутой табуретке, бил ладошкой по только что напущенной лужице, слюнил и визжал, пытаясь что-то ей объяснить...

На следующий день был торжественный обед у Генриха. Разумеется, пригласили и Юдифь, но Анчил не сказал ей и двух слов. Манечка видела, правда, как она трогает ямку на его подбородке, но он всем давал потрогать это первое в новой жизни благоприобретение. Анчил великодушно прощал советской власти. Он был пьян. От вина, от всеобщего внимания, от непривычной обстановки. Ему казалась роскошной мебель в квартире Генриха, посуда, даже еда. Разве Анчил впервые ел бульон с варениками? Но Миррины вареники были крошечные и вычурно слепленные, бульон был так хрустально прозрачен и так романтично плыл в нем по кругу темная веточка петрушки, что Анчил не решался опустить туда ложку. Мирра, царственно управлявшая столом, бросала на него ласковые ободряющие взгляды. Впрочем, Анчил не очень нуждался в поддержке. Он быстро освоился и даже старался ухаживать за другими гостями, в осо-

бенности за двоюродным братом Иосифом, его женой и их многочисленными хорошенькими дочками.

Незнакомый с реалиями местной жизни, Анчил сочувствовал моему деду, одетому в жиденький костюмчик и плохо отглаженную рубашку. Анчил не знал еще, что это для «интеллигента» Генриха честь — принимать за своим столом передового рабочего. И беспокойный вид моей бабушки он истолковал неправильно: бабушка не тушевалась. Ее просто раздражало поведение дочек, обожание, с которым они тарасились на Манечку. В школе Манечка никак не выделяла племянниц среди других учеников, а тут без конца подкладывала им в тарелки. Младших целовала и тискала, со старшими доверительно шепталась... Хива и Зельда были почти невесты. Анчил поглядывал то на одну, то на другую, вгонял их в краску и все удивлялся мысленно, как это у Иосифа и его замученной жены родились такие хорошенькие дети. Он не помнил, какой красавицей была моя бабушка в молодости. Собственно, он и Манечку с Генрихом помнил очень смутно. Единственным знакомым лицом показалось ему, как ни странно, лицо Иосифа. Но и тут он ошибался. На самом деле это длинное лицо, с глазами, спокойно прозревающими истину, он видел на портрете моего прадеда, непутевого Аврума. На портрете, который Бася сняла со стены лишь тогда, когда из Америки сообщили о том, что Аврум снова женился.

На следующий день Генрих просвещал брата. Он объяснил ему, что упоминать о родичах, проживающих в Америке, не следует. Более того — посторонним не нужно знать и о родственниках, оставшихся в Румынии. Генрих растолковал Анчилу, что история с ямочкой — не роман Майн Рида, а очень серьезная неприятность, из которой он выпутался чудом. Теперь он должен уехать как можно дальше. По возможности не задерживаться подолгу на одном месте. И к тому же сменить фамилию, как это сделал сам Генрих, хотя он как участник Татарбунарского восстания мог бы иметь значительные льготы.

Через два дня Анчил, слегка приодетый, уехал. Манечка плакала, но с Генрихом не спорила. Теперь он был главой семьи. Тот самый Генрих, который когда-то и в сторону младших не смотрел, вникал в каждую мелочь их жизни, не говоря уже о проблемах серьезных. Манечка слушалась его беспрекословно.

Восстала она лишь однажды: когда Генрих через полгода после отъезда Аркадия Исааковича собрался в Семипалатинск его возвращать. Манечка воспротивилась этому с такой твердостью, что даже сама испугалась. И когда через какое-то время Генрих запретил ей взять ребенка из детдома, она подчинилась. Генрих считал, что наилучший вариант для Манечки — выйти замуж за вдовца с детьми. Но поскольку время шло, а таковой все не находился, он надумал, что Манечка могла бы взять на воспитание ребенка многодетных родственников. Однажды он имел неосторожность заговорить об этом с Иосифом. Предложил Манечкину по-

мощь. Твоя жена, дескать, снова беременна, ей трудно справляться с семерыми детьми... Маня могла бы взять к себе Бэллочку, ребенок очень привязан к ней, она сможет дать ей хорошее образование...

После этого предложения бабка моя возненавидела Манечку окончательно. Стала наговаривать на нее дочерям, пугала, что Манечка хочет забрать у них папу. Всплыла на свет перекрученная до неузнаваемости история с детским сватовством. Манечка ничего не знала об инициативе Генриха. Она не могла понять, почему девочки стали ее дичиться. Впрочем, очень скоро жизнь развела их самым естественным образом: Генрих и Иосиф, много лет прожившие в одном доме, получили квартиры в разных концах города и встречались теперь лишь по большим праздникам. И можно ли упрекать Манечку в том, что после десяти лет самых формальных отношений, растерянная, заметавшаяся в ошалевшем от первой бомбежки городе, она не вспомнила о семье двоюродного брата... И что бы она могла сделать, если бы вспомнила?.. Но моя тетя Зоя всю жизнь считала Манечку виновницей гибели моего деда, бабки, всей их семьи и демонстративно избегала встреч с Манечкой, когда та приезжала в Киев. Может быть, какую-то роль здесь играла и неосознанная детская ревность: ведь тогда, давным-давно, Манечка выбрала не ее, а Бэллочку, ее сестричку. Откуда было Зое знать, что никого из них Манечка не выбирала? Напротив, как раз тогда она решила послушаться Генриха и уже два раза тайно ходила в приют. Стояла у железной ограды, смотрела, как на площадке возятся малыши. Все они были одинаково одеты и пострижены налысо. Завидев Манечку, они бросали свои игры и подтягивались к забору. Манечка смотрела на них и не могла решить, который из них вызывает в ней больше тепла и жалости. Ей нравились все.

Она, несомненно, осуществила бы задуманное, но в конце той бурной осени, мельком глянув на Юдифь, которая, по своему обыкновению, скинув ночную рубашку, не спешила набросить халат, Манечка вдруг поняла, что Юдифь вовсе не поправилась благодаря ее стараниям — она просто беременна.

Юдифь, давно готовившаяся к этому разговору, объявила, что ребенок этот — от Анчила, но она ни на что не претендует и через месяц уезжает к родителям. Лицо ее сияло благородством и самоотречением, и если бы Юдифь не стояла раздетая, она была бы похожа на мадонну как никогда.

Манечка не поверила. Даже тогда, когда Анчил написал, что это действительно его ребенок и что он как честный человек... Манечка решила, что это просто рыцарский поступок мужчины. Она поверила только тогда, когда увидела Шурика — розовый носик бульбочкой, светлые, широко расставленные глазки.

Но ни разу, ни разу она не вмешивалась, не уговаривала Анчила жениться! Она выходила из себя, когда Фридошка нагло излагала свою версию события, о котором знала исключительно с Манечкиных слов. «Ко-

нечно! Она увидела ребенка и стала Анчила уговаривать... Что ему оставалось делать? Он забрал эту чокнутую Юдифь к себе...» А Манечка в трехтысячный раз огрызалась: «Как ты можешь такое говорить, когда тебя там не было!» На что Фридошка отвечала иронической гримасой: дескать, знаю тебя!

Правда была в том, что Манечка действительно полюбила ребенка с первой секунды. Эти бархатные пяточки, этот кисловатый запах мокрой шейки... Да и чем, собственно, была плоха Юдифь? Неважная хозяйка? Зато лицо, голос, Тютчев... Это ведь потом выяснилось, что Юдифь несносно ревнива. Несколько раз в году она обрушивалась на Манечку с подросшим ребенком, ставила среди комнаты плохо сложенный чемодан и рассказывала очередную глупую историю о студентке-однокурснице, позднее — о чертежнице-практикантке, о недавно переведенной в отдел инженерше... «Я больше не в состоянии терпеть его мерзости! — лучилась Юдифь печалью и гневом. — Мы сами сумеем поставить ребенка на ноги! Он может жить себе как хочет, а я остаюсь с тобой!»

Как по Манечке — так пусть бы Юдифь свою угрозу исполнила. Шурик был источником непрерывных удовольствий: купание, кормежка, стирка и починка милых детских тряпочек, игры и стишки. С Манечкой он становился живее и спокойнее. Юдифь много занималась им, но делалось это нервно, с излишней страстью. Как-то Манечка застала ее на полу с распахнутой на груди блузкой. Она совала столовый нож в ручку ревающего от ужаса ребенка и повторяла: «На! Убей меня, убей!» У Шурика лицо и рубашечка были перемазаны манной кашей...

Манечка с ужасом представляла себе, какие безобразные сцены должны были происходить между Юдифью и Анчилом. Она жалела брата. «У нее есть ужасная привычка! Ты не поверишь: она иногда ходит по дому совершенно голая!» Манечка поверила. И, дождавшись случая, начала издалека. «Юдифь! Зачем ты поспешила раздеться, когда вода еще не готова? В квартире холодно. А главное — может вернуться Анчил, и ему это будет неприятно.» Юдифь слова Манечки развеселили. Ответила она слегка зло и с чрезмерно выраженным превосходством. В том смысле, что если бы Манечка понимала в подобных вещах, Аркадий Исаакович небросил бы ее. Манечка промолчала, но Юдифь сама поняла, что переборщила, «плюнула в колодец». И в следующий раз бежала от Анчила к сестре в Ленинград. Манечка тосковала о Шурике, боялась, что ребенок ее забудет, но Юдифь к себе не звала.

Манечка решила, что больше не станет терпеть чужую бестактность. Этот кратковременный бунт был вызван не только грубостью подруги. Незадолго до того по городу прошли слухи, будто бы Аркадий Исаакович женат, имеет двоих детей и очень несчастлив в браке. Знакомые поспешили передать это известие Манечке, наивно полагая, что оно ее обрадует. Советовали выехать под каким-нибудь предлогом в Семипалатинск и... Можно ли было хуже понимать человека?! Чтобы Манечка

разбила семью, оставила двоих детей без отца? Да она и на секунду не допускала такой мысли! Разве что иногда, в изнурительной бессоннице трех голодных лет мерещилась картина: вот она возвращается с работы — а под ее дверью сидят на чемадане два худеньких неухоженных мальчика. «Я знаю: меня нельзя простить, — раздается низкий ласковый голос Аркадия Исааковича. — Но ты не оставишь в беде этих несчастных сирот!» Нет! «..Этих несчастных детей, брошенных легкомысленной матерью!»

Но может ли человек отвечать за свой бред? Днем-то Манечка держалась. И даже помогала многим. А вот ночью... Напирало нелепое... Или просто снилось? То Иосиф с женой умерли от голода, а девочки пришли к Манечке, и она их спасла. То из Америки привозят к ней дочь покойного Зюни, которая, вопреки здравому смыслу, все представлялась Манечке младенцем. То — совсем дикое! — умерли Генрих с Миррой, и она осталась с Кимушкой...

В те годы она особенно привязалась к Кимушке. Поздно вечером, сменя по темным скользким улицам и стараясь не выдать видом своим цепеняющий страх, она прятала в муфте неслыханную драгоценность вроде кусочка сала или похожего на замазку пирога, которым ее угостили в каком-нибудь благополучном доме. Несла — и радовалась, что не успела взять в приюте ребенка и не должна теперь делить этот жалкий кусочек на две части. По сравнению с другими семья Генриха существовала довольно сносно, но Манечка не доверяла невестке: стоило Манечке, замешкавшись, не сунуть свой гостинец сразу в рот ребенку — и Мирра все съедала сама. Причем — мимоходом, с царственным безразличием. Манечка с трудом сдерживала слезы и не знала, чего ей больше хочется: вцепиться в греческий узел невестки или ударить кулаком брата, с обожанием созерцающего ее жующий римский профиль. Кимушка покорно моргал светлыми черепашьими глазками.

Манечка решила, что целиком посвятит себя этому ребенку, раз он сирота при живых родителях. Но тут началась история с Петенькой. Вернее, с Лизой, молоденькой преподавательницей рисования, которую Манечка в буквальном смысле вытащила из проруби. Бывший завуч, обманувший Лизу, уехал из города, неизвестно было, где его искать... Манечка считала, что искать его и незачем. Она обещала Лизе, что поможет ей вырастить ребенка и даже полностью возьмет на себя его воспитание, если Лиза этого захочет. Почти год после родов Лиза прожила в Манечкиной комнате, потом вдруг съехала на свою старую квартиру. И Петеньку, разумеется, забрала. Но она часто водила его к Манечке в гости и учила называть ее «мама-Маня».

Это была одна из любимых Манечкиных историй. Фридошка же ее не переваривала, и когда доходило до «мамы-Мани», обязательно отворачивалась и передразнивала с задубевшей от старости издевкой: «Мама-Шманя!» Будто знала достоверно, что все это неуклюжая сентименталь-

ная выдумка. «...Он приезжал ко мне несколько раз, когда учился в военном училище, — продолжала Манечка, делая вид, что сестры и в комнате-то нет. — Он всегда говорил: мне повезло, у меня две мамы». Эти слова Фридошка сопровождала глубоким ядовитым вздохом или даже вставляла чуть слышно: «Ночевать было негде...» При этом она украдкой поглядывала на меня, пытаюсь угадать мое отношение к Манечкиному рассказу. Честно говоря, я тоже его не любила, и мне всегда было неловко за Манечку. Но к Манечкиному девятидесятилетию прибыла телеграмма из Свердловска, начинавшаяся словами «Дорогая мама номер два...» И с тех пор рассказ о Петеньке начинался с небрежного Манечкиного приказа: «Достань папку».

— Конечно! Я же младшая! Меня можно гонять, как девчонку, — бурчала Фридошка, сползая боком с дивана. Кряхтя, наклонялась к комоду и доставала папку с письмами, телеграммами, коллажами, склеенными из старых фотографий, новыми фотографиями: Манечка среди корзины с цветами, среди пожилых радостно возбужденных людей. А рядом с нею — неизменно — случайно облакканная Фридошка. Обе они прекрасно помнили, что я уже видела «юбилейную» папку, но были рады случаю просмотреть ее лишний раз, послушать телеграммы в моем чтении. «Дорогая наша Картошка!» — начинала я, и Манечка тут же перебивала:

— Так меня дети называли в Каменце. Я не обижалась. Картошка — это, конечно, не виноград и не ананас, но без нее обойтись трудно. Я чудную картошку выращивала на школьном подопытном участке. Во время голода мы смогли организовать в школе горячие супы. У нас ни один ребенок не умер! Да... Картошка так картошка. Что обижаться? Разве я сама не знала, что у меня нос картошкой?

Действительно. И не только нос. Во всем Манечкином облике было что-то простое и незамысловатое, но приятное и надежное, как этот незаменимый овощ, — особенно в старости, когда кожа ее потемнела, а густые курчавые волосы стали пыльно-серыми. Манечка с удовольствием посмеивалась над собой, над своим носом. Это нетрудно, когда окружающие постоянно повторяют, что в тебе «море обаяния и симпатии» и что ты умудряешься быть нарядной и подтянутой «при любых обстоятельствах».

«Вы входили в класс и останавливались у двери ровно на одну минуту, и за эту минуту стихал любой шум. Не только потому, что Вас уважали. Нам было интересно, какой у Вас сегодня воротничок, манжеты, шарфик... А ведь это было в те самые страшные годы, когда все вокруг так опустилось...» «Я помню, как во время голода Вы учили нас варить суп из травы и корешков. Я и сейчас варю такие супы. Мои внуки часто просят: «Свари, бабушка, суп Марьи Давидовны...» Жалко только, что сейчас нельзя найти многие из тех травок, которые Вы нам показали...» «Помню, как Вы учили нас переделывать старые платья и дырки от моли перекрывать вышивкой» «Я уже старая, со склерозом, а до сих пор помню про

ядро и протоплазму...» «Я могла рассказать Вам то, что никогда не рассказала бы своей матери...» «У Вас, как у доброй матери, всегда находилось время, чтобы выслушать и помочь... в те страшные годы Вы одна...»

— Это была чудная девочка! У нее в тридцать первом забрали отца...

— В прошлый раз ты говорила, что в тридцать седьмом! А теперь уже в тридцать первом! — радовалась Фридошка, что поймала сестру на ошибке, которая ставила под сомнение все Манечкины рассказы.

Но Манечка не смущалась. Страшных лет выпало на ее долю так много, что и с ее поразительной памятью немудрено было что-то перепутать.

— Это была дурацкая история с керосином. Люди пострадали ни за что! Но Фрида все знает лучше меня — даже то, что я сама ей рассказала.

По правде говоря, Фридошка действительно этим грешила. Особенно там, где дело касалось Анчила и Юдифи. Последний раз Фридошка видела брата в тот день, когда он вышел из дому в своей конфедератке. Но стоило ее послушать — и создавалось впечатление, что она лично участвовала во всех коллизиях этого неудачного романа, но не смогла противостоять Манечке, которая сначала свела брата с подругой, а впоследствии мирила их двадцать раз вместо того, чтобы настаивать на их окончательном разрыве.

Все это были неверно истолкованные, перекрученные Манечкины слова, всплески ее бессильной горечи. «Он хотел уехать — и мне надо было тут же увести его оттуда!» — часто повторяла Манечка. А Фридошка выворачивала это так: «Он уже бросил эту сумасшедшую, ушел от нее, так Маня должна была выехать на Урал, чтобы снова их помирить! От этого он и погиб!»

Ну как тут не выйти из себя?! Манечка держалась из последних сил. Ведь она сто раз объясняла Фриде, что Анчил с Юдифью помирились года за два до ее поездки на Урал! Да, она радовалась, что семейная жизнь брата наконец наладилась, но Манечкиной заслуги здесь не было никакой. Это Юдифь, давно искавшая предлог для примирения с Манечкой, вызвала ее в Соликамск якобы для того, чтобы познакомить с Юрием Николаевичем Заваровым, другом Анчила.

Об этом неудавшемся сватовстве Манечка сестре не рассказывала, хотя не было тут ничего унижительного. Заварова с его двенадцатилетней Катей пригласили на обед в честь Манечкиного приезда. В отличие от своего отца Катенька сразу поняла, в чем дело, и смотрела на возможную мачеху с откровенной неприязнью. Ночью она расплакалась, раскашлялась, и перепуганный Заваров дал ей слово, что никогда не женится. Счастливая Катя тут же свернулась калачиком и уснула.

Манечка об этой ночной сцене догадывалась. Заваров больше не приходил, а Манечка о нем почти не вспоминала. После рослого черноусого Аркадия Исааковича ни один из тех мужчин, с которыми знакомили Манечку, не вызывал в ней ожидаемого чувства. Она проверяла себя так:

закрывала глаза, когда поблизости раздавался звук их шагов, прислушивалась к биению своего сердца. Сердце билось приветливо-равно, не соскакивало с места, как это бывало с Аркадием Исааковичем. Впрочем, она упускала из виду, что подобные вещи вообще слабеют с годами; не тот уже был возраст, чтобы обмирать от звука шагов.

Заваров был человек порядочный, надежный, но Манечка даже лица его толком не запомнила. Она очень хорошо провела неделю. Они с Шуриком заново привязались друг к другу. Шурику исполнилось семь, он был смысленный малыш и страшно скучал со старой молчаливой нянькой, на которую его оставляли родители. Шурик любил поговорить. Он плакал, когда речь заходила о Манечкином скором отъезде, и ей это было так приятно... Чтобы не травмировать ребенка, она заранее сложила свой чемодан. И это оказалось как нельзя кстати.

В день Манечкиного отъезда, часов около четырех, за ней прибежала перепуганная Катя. Темнело. Они торопились, увязая в глубоком снегу. В квартире Заваровых стояли лужицы от натоптанного снега. Анчил в мокрой рубашке метался по комнате. «Вот так он и прибежал! в одной рубашке! без шапки! весь в снегу!» — ужаснулась Катя. Она впервые видела, как плачет взрослый мужчина, к тому же тот, в которого она тайно, по-детски была влюблена. Но Манечка прямо с порога начала отдавать ей короткие и спокойные приказы, и Кате передалась эта трезвая деловитость. Она с радостью бегала за полотенцем, за водкой, за теплым отцовским бельем, за ведром и тряпкой, и страстно ждала новых Манечкиных поручений, и за всем этим билась, трепыхалась отчаянная мысль: если бы не она, Катя, не ее дурацкий каприз — эта удивительная женщина могла навсегда остаться в их доме! Катя задыхалась от раскаянья, от безнадёжного желания что-то исправить. Манечка видела это, ласкала Катю своим светлым, все понимающим взглядом... и обе знали, что время упущено.

Пришел Заваров, сердитый, озабоченный, не заметил даже, что квартира как никогда чисто прибрана. Накричал на Анчила. «Ты что так разошелся?! Первый раз, что ли, она тебе закатила скандал?» — «Мне все равно! Я привык! Но она же опозорила ни в чем не повинную женщину! При всех, на собрании! Клянусь тебе: я с ней не был даже знаком! Мне просто конструктор нужен был в отдел! Уеду! Вот сейчас же уеду с Маней!»

И Манечка его не отговаривала, нет. Это Заваров сказал: «Неужели ты оставишь такого парня на эту сумасшедшую? — и повернулся к Манечке. — Мы летом на даче рядом жили. Так ребенок каждый день плакал! Я своими ушами слышал, как она его пугала, что повесится, если он не съест овощной суп! А хозяйка и похлеще рассказывала!»

Манечка уехала на вокзал прямо от Заваровых, не попрощавшись ни с Юдифью, ни с Шуриком. Юрий Николаевич сам заскочил за ее чемоданом.

В поезде Манечка плакала. Никто не замечал этого: губы ее улыбались, а глаза наливались слезами будто от слепящей снежной белизны, рвущейся навстречу. Она вспоминала беспечную мордашку Шурика. «Вот настанет коммунизм, Маня, я возьму себе бесплатно красную рубашку и гармонь! А тебе — корону!» Вспоминала глаза Кати и ее отчаянные заклинания: «Приезжайте! Приезжайте еще!» И такая печаль поднималась и разрасталась в Манечке, такая! Не могло быть в одном человеке столько печали! Это Манечкины нерожденные дети убивались и плакали вместе с ней...

И ничего этого не могла знать Фридошка. Она жила тогда совсем другой жизнью, она и понятия не имела ни о каких «ударных стройках», «открытых партийных собраниях», о раскольническом письме Троцкого к молодежи. В том, что случилось с Анчилом, не были виноваты ни Юдифь, ни Манечка, ни Заваров, ни даже Троцкий. Пусть бы даже Анчил не послушал Заварова и уехал из Соликамска — все равно бы погиб. В то время не было шансов выжить у человека, который не повторяет то, что говорят все, а поднимается и разводит руками: не читал я вашего Троцкого и не имею никаких соображений на этот счет. И если бы Заваров, узнав, что Анчила ночью забрали, не бросился бы на дачу в Корнеево с наскоро собранными деньгами и не велел Юдифи уехать на первом же поезде — и она погибла бы. Фридошка была тогда далеко, она так никогда и не поняла, какой опасности простодушный Анчил подвергал свою жену, не поняла, как рисковал Заваров, спасая ее. Вот Юдифь понимала. И сделала из этого заключение, что Заваров был в нее влюблен. «Я и раньше замечала...» И рассказ о «любви Заварова» разрастался с годами вглубь и вширь, подобно всем историям Юдифи.

Манечкины же истории, как упоминалось ранее, постепенно теряли свои подробности: их было очень много, и Манечка могла позволить себе что-то забыть или просто пренебречь мелочами. А у Фридошки их было всего штук десять, вдобавок — не очень длинных, и она ревниво следила за тем, чтобы Манечка не «отбила» у нее одну из историй. Стоило Манечке упомянуть в разговоре, что их отец «скоропостижно скончался на улице», как Фридошка гневно набрасывалась на нее: «Ты там была?! Ты видела?!» — и излагала истинную версию. «Все было не так! Он шел по улице, нагнулся, чтобы завязать шнурок — и упал мертвый!»

Если судить по Фридошкиным воспоминаниям «румынского периода», жизнь не баловала ее замечательными событиями. Хотя казалось бы: студенческие годы, университет в Яссах, поездки в Бухарест... Можно было бы предположить, что все интересное просто забылось по давности лет — но это было не так. Даже в те далекие времена, возвращаясь домой на каникулы, Фридошка не знала, как удовлетворить ненасытное любопытство матери и ее соседок; она отвечала на вопросы односложно, вяло, втайне раздражаясь на эту назойливость и становясь в конце концов посторонней слушательницей в этом разговоре. Говорили, как всегда, о Басиных детях, о Манечке, о переговорах с Россией.

Фридошка не разделяла радостных надежд своих земляков на скорое воссоединение с бывшей родиной. Она от любых перемен всегда ждала неприятного подвоха. Жизнь действительно была трудная, но Фридошка сумела неплохо к ней приспособиться. Получила образование. С помощью Макара продала мастерскую и отцовскую часть дома. Этих денег и небольшого кредита хватило на покупку аптеки в соседнем городке. По сравнению с Козинцом этот городок жил чуть ли не столичной жизнью. Интеллигенция составляла свой особый круг, в котором место аптекаря было традиционно привилегированным. Дабы соответствовать столь высокому уровню, Фридошка ежедневно просыпалась в пять утра и при опущенных шторах мыла полы, протирала витрины. Посетителей же она встречала уже за прилавком, царственно несгибаемая, в белоснежном халате, среди ящичков с латинскими табличками, озаренная стекляннно-никелевым блеском и окруженная странными волнующими запахами праздника и болезни.

Фридошка перетащила в аптеку все, что было в доме лучшего. Занавеси, приготовленные для ее приданого, дорогую рогатую вешалку, раму красного дерева — память о покойной Хиве. В раму вместо усатого Хивиного мужа вставили Елену Гогенцоллерн. Портрет вписался очень красиво между двумя окнами, а если бы пришли русские, его пришлось бы снять...

Была еще одна причина, по которой Фридошка боялась всяческих перемен. Ее пугала та самая сцена предполагаемого счастья, о которой говорили соседи и которую рисовало Фридошке ее собственное воображение: открывают проезд по мосту, и Манечка со своими детьми и красавцем-мужем идет ей навстречу...

Только из страха перед этой сценой Фридошка согласилась выйти замуж за Якова Скрипника. На новом месте никто не знал, что Фридошка «не такая удачная» и что она «ничуть не похожа на свою сестру». Видели то, что было: вполне миловидная, невысокая, полненькая, чуть, правда, неповоротливая, но с профессией и положением. Она могла дожидаться и чего-то получше, но нахальный сват сразу почувствовал, где у Фридошки слабое место. Он весь вечер толковал о женщинах, которые в ожидании принца упускают драгоценное время, намекал на «определенные потребности организма» и его «определенные возможности, которые уменьшаются с годами». Намекал также на то, что и Фридошка — не принцесса. Что попасть в семью Скрипников — честь для Фридошки и для любой женщины вообще.

Действительно, мать жениха иногда играла с листа на расстроенном пианино и пользовалась в обиходе тридцатью-сорока французскими словами, но сын ее был неудачным завершением хорошего рода. Его благородное происхождение если и сказывалось — то лишь в каких-то неприятных мелочах. В некоторой беспардонной молчаливости, например. Он мог не ответить на вопрос, как глухой или идиот. А то вдруг

вставлял реплику в чужой разговор. И чем умнее и точнее была эта реплика, тем неприятнее поражала она окружающих.

На помолвке Фридошка держалась так, как держится покупатель у прилавка с уцененными товарами. У жениха ее было совершенно незапоминающееся лицо, и Фридошка подумала, что не узнает его, если встретит завтра на улице.

На старости лет Фридошка ставила себя в пример скорой на разводы молодежи. «Ты думаешь, я любила своего мужа? — укоризненно восклицала она и передергивалась, как от кислого. — Но я хотела детей и терпела его ради детей! Он был...» «Он был человек как человек!» — вступалась за зятя Манечка, но такая невыразительная характеристика в ее устах говорила о многом.

Яков Скрипник не разбудил «определенные потребности» Фридошкиного организма, если таковые и имелись. Он вызывал в ней лишь тихое равномерное раздражение. Она смотрела, как супруг в дверях вытирает ноги, моет руки, садится за стол, кладет на скатерть кулаки, как бы огораживая место для ожидаемой еды. Как потом это место занимает газета, — уже до ночи, до того неприятного момента, когда его некрupная фигурка провалит матрац рядом с Фридошкой, босые ножки потрутся друг о друга и завернут медленно под Фридошкино одеяло...

И что же! От этого человека одна за другой родились две волшебные прекрасные девочки! С бледно-золотистыми кудряшками, огромными карими глазками, с крошечными губками и тоненькими, не по-детски длинными золотистыми бровями, придающими их лицам ангельски-отрешенное выражение — такое же, как у бабки, игравшей с листа на пианино и умершей вскоре после свадьбы сына. По правде сказать, вовремя. Жаль только, что не успела полюбоваться на внучек, особенно на старшую, на Лилечку. Возможно, со временем красивее стала бы Симочка, но для младенца ее черты были чуть островаты и непривычно определенны. К тому же она была смуглее сестренки, не так лучезарна. Фридошка любила ее меньше. Лилечка была первым ребенком. Желанным. Единственным смыслом постылого, нелепого брака. Ее красота оказалась ошеломляющей неожиданностью. И Фридошке было достаточно этого чуда: она знала, что такого красивого ребенка среди Манечкиных детей нет.

Это был ее триумф. Фридошка взяла верх, отыгралась за безрадостное свое детство, прошедшее в Манечкиной тени. От этой гордости, от любви, от быстро прибывающего молока Фридошку постоянно бил озноб. Может, в ее любви и в самом деле было что-то нездоровое, о чем постоянно твердил Яков, которого никогда и никто не слушал. И напрасно. Вечерами, укладываясь на неудобном кожаном диванчике и не глядя на младенца, занимающего место Якова на супружеском ложе, он тихо бубнил: «Сделать операцию, пока она не понимает, и забыть об этой пленочке...» Фридошка так и вскипала от негодования: она и представить себе не могла, что ребенка придется отдать в чужие руки, «под нож». Речь шла о

небольшом дефекте в горлышке, который врачи советовали устранить, ибо «пленочка» при любом воспалении в гортани затрудняла дыхание. В таких случаях Фридошка укладывала малышку в своей постели и ночи напролет не спала: слушала, как ребенок дышит. Яков безропотно перебирался на диван. По правде говоря, Фридошка этим злоупотребляла. Тем не менее она снова забеременела, что вовсе не входило в ее планы.

И без того было трудно разрываться между двумя страстями: ребенком и аптекой. Теперь к этому добавлялись тошнота и страх перед тем, что ребенок может родиться похожим на нее или на мужа. Фридошка ждала этого ребенка, как ждут возможного позора. Но когда оказалось, что страх ее был напрасным, она не только не испытала облегчения, а даже почувствовала некоторое разочарование, будто с самого начала была уверена, что второй ребенок будет еще лучше первого.

Всех этих тонкостей она не осознавала. Она была счастлива и горделиво, даже с некоторым нетерпением поглядывала в сторону границы. Над Фридошкой проплывали облака, быстро удалялись к горизонту, и казалось, что там, вдали, они опускаются все ниже, прижимаются к самой земле. Фридошка думала, что вот эти же облака видят сейчас и Генрих, и Манечка, и Анчила...

В то время Анчила уже не было в живых. Юдифь работала учительницей в небольшом местечке под Винницей, куда однажды убежала от Анчила и где очень рады были ее возвращению. Старые приятельницы грозились, что если она снова помирится с развратником-мужем, они потеряют к ней всякое уважение. Юдифь рассказывала, что муж бросил ее и укатил куда-то на север с некой инженершей. Эту историю сочинил Генрих в тот день, когда Юдифь с ребенком и двумя рыхлыми узлами прихваченных на даче вещей появилась на рассвете у домика Манечкиной хозяйки. Он же снабдил ее живыми и убедительными подробностями. Инженерша, например, была русская и на восемь лет моложе Юдифи. Последнее Юдифь всегда опускала. В остальном же она свято слушалась Генриха.

Возможно, Генрих был одним из немногих, кто прозревал в сумасшедшей несуразнице жизни некую тайную логику. Неглупый, опытный человек Заваров советовал Юдифи затеряться в большом городе, где ее никто не знает. А Генрих велел ехать туда, где знают все о ее характере и отношениях с мужем, где не станут выяснять, кто она и откуда. Генрих приказал Юдифи забыть правду. Правду знали только он и Манечка. Даже для Мирры не сделали исключения. Та с трудом придавала своему римскому профилю горестное выражение: рада была, что симпатяга-шурин бросил, наконец, свою припадочную. Смотрела в окно, чтобы скрыть улыбку, дымила длинной папирской. Под окном солидный, важный Ким учил маленького Шурика кататься на велосипеде. Они громко смеялись. Мирра бросила им сверху два яблока. День был хороший...

Впоследствии, когда Юдифь была совсем старая и громоздилась на прицерковной лавке, как кучка небрежно брошенного тряпья с затеряв-

шимся в складках крестиком, она говорила другим старухам, что муж ее жив. Что хитрый шурин обманул ее, заморочил голову. И приводила множество доказательств из далекого прошлого. «Когда они узнали, что Зюня (их старший брат) погиб, они целый день плакали и убивались, а когда я рассказала им про Анчила, они как воды в рот набрали!..» Старухи недоверчиво прислушивались к чуждому звучанию имен. Генрих... Ну да. Наверное, плохой человек...

Вот такая благодарность... Такой же благодарностью ответила Генриху и Фридошка, единственная из «частных собственников» городка, кого не отправили в Сибирь.

В июне сорокового года, когда еще не успели открыть границу между Украиной и Бессарабией, Генрих выбил себе какую-то командировку на возвращенную территорию. По дороге к назначенному месту он сделал крюк и за какие-то два-три часа разыскал дом, где жили мать и сестра.

То была странная, неправдоподобная встреча. Бася увидела, как черная машина затормозила у ее калитки и оттуда вышел пожилой грузный человек с широким лицом, трудно измятым буграми и морщинами. Разве Бася могла узнать в нем своего курного мальчика? Да и Генрих чуть не прошел мимо шупленькой старухи с костлявой круглой спинкой...

Фридошка — вот кого он сразу узнал! Она осталась точно такая же, какой была в три года, в семь, в десять лет: широкая, ножки раскорякой, локотки, неуклюже прижатые к пояснице, короткие темные кудряшки. Она смотрела на мать, которая рыдала и билась на неудобной груди Генриха, и, ожидая своей очереди, редко моргала и нетерпеливо дышала приоткрытым ртом. И только выражение этого неизменившегося лица стало совсем новым: у Фридошки было чем похвастать. Во-первых, дети, во-вторых, аптека... От детей Генрих просто ошалел, чуть не плакал, целуя их парные пяточки, их затылки, пахнущие сном, и все повторял: «Маня сойдет с ума, когда увидит эту прелесть!» Дети смотрели на него во все глаза и боязливо отстранялись. Они не привыкли к такому бурному вниманию. Да и к такому шуму вообще. Говорили все разом, громко, со слезами, не успевая что-либо осознать: столько всего обрушилось на каждого из них за каких-то полчасца.

Оставаться дольше Генрих не мог. И только тогда, когда черная машина растаяла в степной дымке, когда опало разом счастливое возбуждение встречи, они остались наедине с новостями, привезенными Генрихом, как хозяева с подарками после праздника, и обнаружили, что в подарках этих хорошего очень мало. Главное — Манечка. Как такое могло случиться?! Манечка, которая уже в пять лет могла спеленать младенца не хуже, чем взрослая женщина, которая вела себя, как мать, с каждым ребенком, если он был моложе ее на два года... Бездетная! В это невозможно было поверить. Фридошка просто онемела на какое-то время.

Впоследствии она часто вспоминала это мгновение немоты и... Нет! Она действительно тогда была потрясена! Кажется, даже сердце схва-

тило... Но порой, когда Фридошка судила себя самое так же трезво и жестоко, как всех прочих людей, она говорила себе, что наказана за тот триумф, за ту тайную, раздирающую душу радость, которую лукаво определила как сердечную боль. Что делать... Так оно и было. И, может быть, только эта тайная радость помогла Фридошке пережить главный удар. В сущности — крах.

Аптека. Главный источник ее самоуважения. Ее сбывшаяся мечта, ее многолетний труд... И что же?! По словам Генриха выходило, что это беда, страшная опасность, и от нее следует немедленно избавиться. Генрих сам составил заявление и приказал Фридошке срочно отнести его в первое же учреждение, над которым вывесят красный флаг.

Впервые Фридошка с нетерпением ждала, когда муж ее возвратится с работы. Она бросилась ему навстречу, когда услышала неторопливый хлопок калитки, и стала, сбиваясь, рассказывать. На что она надеялась? На то, что Яков отменит приезд Генриха? И всю эту надвигающуюся новую жизнь?

Яков Скрипник то ли слушал, то ли нет. Он вытирал ноги, мыл руки так спокойно, будто каждый день к Фриде является брат, с которым та не виделась больше двадцати лет, будто им каждый день предлагают отдать самое дорогое, нажитое годами. Он сел за стол и положил кулаки на скатерть. Так река не меняет своего течения, так продолжают идти часы в доме, где случилось горе. И заплаканная старуха поспешила поставить на законное место тарелку борща. Фридошка говорила и смотрела на его равномерно движущийся вниз и вправо подбородок, на вялые пальцы, вымакивающие соус со дна тарелки — и дыхание ее пресекалось от раздражения. Наконец он закончил. Рука его, привычно скользнув по тому месту, где полагалось лежать газете, вернулась, разочарованная, и Яков сказал: «Ему лучше знать. Он оттуда. Надо делать, как он говорит». От его спокойного голоса Фридошкино раздражение перешло в ненависть.

Однако она послушалась. На следующий же день переписала своим почерком заявление и отнесла его... в милицию. Сначала его не хотели принять, потом пообещали передать куда следует. На обратном пути Фридошка обнаружила, что красный флаг развеивается уже и над зданием бывшей городской управы. Фридошка подумала — и отправилась туда. Там тоже не сразу сообразили, что с нею делать, продержали попусту полдня, но в конце концов вызвали в какой-то кабинет, и уже оттуда в сопровождении двух деятелей из приезжих она отправилась в свою аптеку «проводить инвентаризацию».

До конца дней Фридошку грызла досада: ну что ей стоило накануне перетаскать домой венецианское зеркало, занавески, вешалку, ну хоть коробку самых необходимых лекарств, хоть бутыль спирта! Она стояла и смотрела. На вещах, которые были ей дороги, как живые существа, малевали масляной краской инвентарные номера. На урне... На кадках с пальмами (это особенно ее поразило). Только с портретом королев

Елены вышла заминка. «Инвентаризаторы» сняли его и, пошептавшись, сунули в угол. Фридошка, не имевшая еще опыта советской жизни, почему-то струсил — и страшно разозлилась на Генриха, который не захотел пойти взглянуть на ее аптеку. Хотя она понимала, конечно, что Генрих не мог предвидеть каждую мелочь. И зачем ему было смотреть то, что больше не принадлежало Фридошке, даром что кредит она почти выплатила. Еще бы года два-три...

«Теперь сами платите, если вам надо! А я тут ни при чем!» — злорадно бубнила про себя Фридошка, возвращаясь домой. Она шла, легкая от нищеты. Или от того, что упал с ее плеч этот привычный груз — кредит.

Именно в тот день зародилась несносная Фридошкина привычка — ругать Генриха за все плохое, что происходит вокруг, будто эту новую жизнь он завез, как заразу, на колесах своей черной «эмки». Ругала, хотя каждый день убеждалась в том, что Генрих спас ее. И месяца не прошло, а в городке самыми популярными из русских слов стали «обыск», «конфискация», «арест». Людей выводили растерянных, кое-как одетых. Кричали женщины, стояли затравленными стайками у дверей тюрьмы, составляли какие-то «просьбы»... Все это были люди Фридошкиного круга. Она знала, что избежала общей с ними судьбы лишь благодаря Генриху — и все же злилась на него. И такое навязчивое, такое нездоровое было это чувство, что однажды вылилось в нечто невообразимое. Когда настала Фридошкина очередь вздрогнуть от утреннего стука в дверь, когда она расписалась на повестке и, проходя через сени, осталась на секунду наедине с матерью, Фридошка быстро шепнула: «Ну что?! Помог мне твой Генрих?!» И Басю поразило страстное злорадство в ее лице и голосе.

То была ложная тревога. Напрасно голосила Бася, прячась от перепуганных внуков, напрасно соседи смотрели вслед Фридошке сквозь отогнутые уголки занавесок, смотрели — и прикидывали, что лучше: э т о или Антонеску, «железная гвардия»... Фридошку вызвали для того, чтобы предложить ей место провизора в бывшей ее аптеке. И она, конечно, согласилась.

В аптеке все осталось по-старому, только в Хивину раму вместо портрета королевы вставили портрет усатого военного. Узнав, кто это, Фридошка не удивилась: Елена Гогенцоллерн имела к фармакологии не большие отношения, чем Семен Буденный.

Работать стало легко. Незачем было вставать до рассвета. Теперь полы мыла уборщица Бузя. Шуровала шваброй прямо по ногам покупателей, причем сзади можно было свободно любоваться ее чинным бельем. Фридошку вообще смешило, что четыре человека толкуются на том месте, где она столько лет справлялась одна. При этом изводились горы бумажек. Фридошка расписывалась в трех местах, получая от заведующего товары, которые она же закупила еще весной. Ничего нового не завозили. Это были ее бутылки, ее весы, ее ступки.

Фридошка никак не могла найти нужную манеру поведения. Прежний ее тон, полный величественного достоинства и одновременно радушный, теперь не годился. Ей было неуютно, неловко... Как женщине, которая столкнулась в гостях с бывшим мужем.

Наверно, потому она так легко согласилась перебраться к Манечке.

Манечкин приезд ничуть не напоминал лихорадочный наезд Генриха. О нем знали заранее. Все плохое уже было высказано и успело стать привычным. К тому же в Манечкином изложении вперед выступало множество радостных подробностей, так что весь разговор пестрел восторженными вскриками. И вообще все походило на праздник. Манечка появилась нарядная, свеженькая. Конечно, она отличалась от той семнадцатилетней девушки, которую помнили мать и сестра, но не так сильно, как можно было ожидать. В соседних домах уже к вечеру заговорили о том, что «Фридошкина младшая сестра» куда интереснее Фридошки, что в ней «море обаяния», что окна в доме Фридошки никогда так не блестели и что крыльцо так чисто выскоблено впервые за много лет. Фридошка не уставала объяснять, что Манечка старше ее — и намного, а выглядит молодо, потому что бездетная, не имеет семьи и связанных с этим тягот. Соседи кивали, но, встречаясь с Басей, упорно повторяли: «Младшая у вас более удачная». Как двадцать с лишним лет назад... Но теперь что-то в их словах огорчало Басю. И могло ли быть иначе? Фридошка — хорошая, плохая ли, вспыльчивая, медлительная — все эти годы жила рядом, была единственным родным человеком, единственным смыслом существования. А лучезарная добрая Манечка обитала где-то далеко и недоказуемо, как Бог. И Бася научилась жить с этим. Отвыкла от Манечки, хотя и помнила о ней каждую минуту. У нее даже привычка такая сложилась — непрерывно говорить с Манечкой, сообщать ей о каждой мелочи, а главное — жаловаться на Фридошку. И вот наконец Манечка была рядом, Бася обращалась прямо к ней, а не к закопченному дну кастрюли. Она торопилась высказать ей все обиды и огорчения, накопившиеся за годы разлуки. И так ей было сладко жаловаться и плакать...

Манечка не поняла всех этих тонкостей и жалобы матери восприняла слишком буквально. Тем более, что их подтверждали и ее личные впечатления. Действительно Фридошка ничего не хотела знать, кроме работы, действительно понятия не имела, где лежит в доме половая тряпка, действительно, возвращаясь из аптеки, брала на руки Лилечку и ходила с ней без толку туда-сюда — вместо того, чтобы искупать ребенка, выстирать детские вещички, сварить кашку. «Когда она даст покой моим рукам!» И Бася протягивала кверху свои изувеченные трудом и старостью руки. «Я хотела бы хоть год пожить для себя! В тишине! В покое!» — причитала она библейским голосом.

Что ж, ей действительно не под силу было бегать, согнувшись, за детьми. Манечка тайком перестирывала за ней детские платица и белье. Она решила, что заберет мать к себе, тем более, что и обстоятельства

сложились для этого очень удачно. Манечку перевели на работу в Черновцы, где требовалась немедленная перестройка румынской буржуазной школы в новую, советскую. Многие семьи уехали из города, бросив свои квартиры, и Манечку вселили в хоромы с шелковыми обоями, с музейным кафелем. Она просила подыскать ей квартиру поскромнее, но вместо этого к ней подселили соседку, тихую старушку из местных.

Манечка горячо хвалила соседку, говорила, что она очень образованная, интеллигентная женщина. Но именно эта лестная характеристика и отпугнула Басю. Ходить по дому и чувствовать на себе насмешливый взгляд... Об этом Бася помалкивала. Она приводила другой аргумент: детей никак нельзя оставлять на Фридочку. «Они у нее будут ходить грязные и голодные. Старшую она хоть приласкает, а к младшей вообще не подойдет! Ты же видишь, что это за мать!»

Да, Манечка видела. И это глубоко возмущало ее в сестре. Но надо сказать, что она слишком доверилась своему первому впечатлению и жалобам матери. Конечно, Фридочка была ленива и к тому же неумеха. Но Бася, отводя душу перед Манечкой, и не заикнулась о том, как Фридочка маялась, пока выучила злополучный румынский, как тайно мыла аптеку в пять утра, как ездила на телеге за товаром и в снег, и в дождь, как собирала копейку к копейке, чтобы выплатить кредит, как... Да что там! Могла ли понять Манечка, какую катастрофу пережила ее сестра, потеряв в один день свою аптеку, Манечка, у которой в жизни не было вещи дороже, чем швейная машинка?! Ну, еще колечко с сиреневым камешком, переданное сентиментальным Аркадием Исааковичем...

Проницательная Фридочка догадывалась об этих разговорах. Были и мелкие доказательства: покрасневший нос и заплаканные глаза матери, быстро отведенный взгляд. И, как в детстве, на Фридочку от этого находил столбняк упрямства. Конечно, она не надувала губы, не косилась исподлобья — просто не делала и того, что обычно входило в ее домашние обязанности. Да к тому же Манечка сразу взяла в свои руки хозяйство, справлялась с ним играючи, так что медлительной Фридочке и вклиниться было некуда.

Манечка и этого не поняла. Она решила: раз уж Фридочка не в состоянии сама справиться с детьми, она заберет ее к себе в Черновцы и даст возможность матери пожить одной в тишине и покое.

Те, кто не знал Манечку, решили, что это великая жертва с ее стороны. На самом деле начался самый счастливый год ее жизни. Об этом счастье трудно что-нибудь рассказать. Манечка больше не задерживалась до вечера в школе. Радуюсь каждой выигранной минуте, прибежала домой, отпускала приходящую няню. Пока дети спали, готовила обед, кормила их и уводила гулять в парк. Завязывала бантики. Засовывала в резиновые ботинки упирающиеся ножки, натягивала рукавички. Потом стаскивала их, проверяла, не попал ли в ботинки снег, вытирала и целовала вспотевшие шейки... Что можно понять из всего этого? Мелкие, докучные

хлопоты. В них ли был источник счастья, разламывающего Манечкину душу? Или это мир ее обрел, наконец, свою сердцевину и объединился в нечто целое и осмысленное, как некий вечно распускающийся цветок? Так хорошо, так... правильно Манечке было только в детстве, когда каждая мелочь имела свое законное, незабываемое место.

Манечкиной любви хватало на всех. Она по-прежнему два раза в неделю писала письма Киму в военное училище. Посылала посылки ему и Шурику. У нее, как всегда, были «обожаемые» ученики и десятки просто «любимых». При первой же возможности она выезжала на день-два к матери, убирала, стирала, запасала продукты. Сама Манечка думала, что именно мать, вновь обретенная — центр этого ее «душевного цветка». Но Манечка заблуждалась. И постоянно благодарная ей Бася тоже заблуждалась, не позволяла себе осмыслить тайную досаду на Манечку, которая поспешила исполнить ее заветное желание, вздорный ее каприз. Не вышло никакого «отдыха». Бася была никому не нужной и одинокой, и уставала от этого больше, чем от работы. Теперь ей казалось, что она с удовольствием бегала бы за детьми, кормила бы и обстирывала их — а заодно и Фридочку с Яковом. При них она чувствовала себя человеком, а с Манечкой — ненужной развалиной, хотя и боготворимой. Скопившееся раздражение срывалось теперь на Анчиле. Пусть ты разошелся с женой, рассорился с сестрой и братом — но мать здесь при чем?!

Бася решила, что встретит его холодно. Скажет ему, что ребенок — это святое, и ради него можно вытерпеть даже самую плохую жену. Но время шло, Анчил все не появлялся, и Бася втайне плакала от нетерпения и обиды. А заготовленные заранее упреки приходилось выслушивать Манечке.

— Конечно! Если он родную мать бросил — что ему стоило бросить и жену с ребенком?

— Мама! — вздыхала Манечка. — Юдифь действительно очень тяжелый человек.

И никогда при этом Манечка не осознавала, что обманывает мать — так глубоко была похоронена в ней правда об Анчиле.

Подобными же разговорами Бася донимала и Генриха, но, в отличие от Манечки, он верно почувствовал главную причину раздражения матери — одиночество. Генрих предложил Басе переехать к нему. Бася отказалась: она благоговела перед невесткой, но боялась ее. Да и самого Генриха как-то побаивалась. Решено было, что на лето к ней привезут внушек, а осенью она переберется к Манечке.

Ах! Как начиналось это лето! Манечка купила отрез крепдешина с белыми цветами на лимонном фоне и сшила себе платье у известной портнихи. Ткани было гораздо больше, чем нужно, и из остатков получились два платяльца для девочек. Лето было раннее, свежую листву хотелось целовать и гладить. Манечка вела за ручки племянниц. Все трое излучало веселое бело-желтое сияние. Каждый, кто видел их, растроганно улыбал-

ся. И когда Манечке говорили, что у нее очень красивые дочери, она не вступала в объяснения.

Фридошка смотрела на сестрину блажь со снисходительной иронией. Она была благодарна сестре и часто повторяла, что у Манечки железное терпение, что она может часами болтать с детьми, читать им, даже играть в куклы. И добавляла с самоосуждением: «Это же мои дети, но я так не могу, хоть убейте!» Она не ревновала, видя, как девочки — особенно младшая — все сильнее привязываются к тетке. И лишь изредка ставила Манечку на место, неожиданно и вздорно. То была месть, неосознанно поднимавшаяся из глубины детства, из керосинового полумрака, где все еще стоял между пасхальными подсвечниками белый плюшевый мишка... Фридошка вдруг останавливала в дверях Манечку и детей, тепло одетых для прогулки, и заявляла: «В такую погоду гулять вредно!» Или после целой недели сборов отменяла поход к фотографу. «Не хватало еще, чтобы мне их сглазили!» И прочее в таком же роде.

Манечка никогда не спорила, у нее только становилось лицо, как у послушного ребенка, которому велели вернуть чужую игрушку. Она взбунтовалась лишь раз, в самом начале. Как-то Симочка долго плакала ночью. Манечка понимала, что сестра не спит, но на всякий случай постучала в дверь: «Фрида, что там у вас такое?» «Ничего, — спокойно ответила Фридошка, читавшаяся педагогических брошюр. — Не надо потакать ее капризам!» Симочка действительно была ребенком беспокойным. Но в этом крике Манечка слышала не злость, не каприз, а боль. Она постояла немного под дверью — и наконец толкнула ее, прошла в угол комнаты, отворачивая лицо от супружеского ложа, и унесла ребенка к себе.

Это была одна из трех Манечкиных историй о Фридошкиных детях. Все они рассказывались, разумеется, в отсутствие Фридошки. «На ней вся рубашечка была мокрая! И холодная, как лед. А в паху такая опрелость, что у меня сердце остановилось! Просто две глубокие язвы! Ты понимаешь, какую дикую боль терпело это дитя?! И пока я ее вымыла, пока масло вскипятила — она не издала ни звука! После этого случая она ко мне как-то особенно привязалась. Она была совсем крошка, но я ясно видела, что она мне благодарна! Вообще я должна сказать: хотя они мне были одинаково дороги, но младшая была гораздо умнее. Я учила с Лилечкой стишок по несколько дней, а Симочка запоминала его буквально сразу! Скорей всего, со временем она стала бы и красивее. Хотя та была красива, как Бог!» И дальше обязательно следовала вторая история — о том, как где-то на узловой станции, где надолго застрял товарный поезд с эвакуированными, к ним пристал черный старик, железнодорожник. Сначала издали смотрел, как спускают с детей штанишки, как желтые бисерные струйки опадают на рельсы. Потом подошел поближе и, подозрительно глядяваясь в усталые перепачканные лица взрослых, грубо спросил: «Вы где это таких детей взяли?» И все шел за ними и бубнил: «Не ваши это дети, сразу видно! Это панские!»

Манечка говорила, что в ту минуту, когда она услышала эти слова, ей стало ясно: детей они не довезут. Что Фрида была права. Им не следовало трогаться с места, обречать детей на неизвестность, грязь и дорожные сквозняки. В набитом товарняке, прижимая к себе головку спящего ребенка, Манечка проклинала невероятное стечение обстоятельств. Их поездку в Каменец на несостоявшийся юбилей Генриха — с матерью, с детьми, со спящим на ходу Яковом. Свою встречу с бывшим директором, который не побоялся сказать ей правду. «Уезжайте! Бегите отсюда, Марья Давидовна! И семью увозите! Я вам лошадь дам на полдня! Сюда вот-вот войдут немцы!» Господи! Пусть бы Фрида уехала на этой телеге к матери! Или осталась бы в квартире Генриха! Она ведь хотела!

Манечка утешала себя только тем, что в тот страшный день все решения принимал Генрих. В сутолоке, среди крика и дальнего буханья первых бомб, он один не утратил своего мрачного спокойствия. И даже более того — несколько раз прикрикнул на Мирру, пыгавшуюся сунуть в набитый чемодан какие-то безделушки. Генрих, который всегда обращался к жене с рабски-ласковыми интонациями, вдруг хлопнул крышкой и рывкнул: «Наш сын неизвестно где! Возможно, уже погиб! А ты съешь в чемодан веер!» И Мирра взвизгнула — неожиданно резко, как базарная торговка.

Манечка всю жизнь не могла забыть этот вскрик. И прикушенный крышкой угол крепдешинового платья. Еще она ясно помнила, как Генрих говорил Фриде: «Можешь ехать, куда хочешь, можешь оставаться — но детей я увожу с собой!»

Потом все как-то путали, не могли вспомнить, кто сказал эти самые слова. Фрида уверяла, что это сказала Манечка. То же самое говорила и Мирра. Манечка стояла на своем, но всегда при этом уточняла: «Если бы это не сказал Генрих, это обязательно сказала бы я». И еще она добавляла: «Конечно, никто не смог бы забрать у нее детей! И никто не потащил бы ее насильно! А теперь она ищет виноватых! Почему она не рассказывает, как мы все отговаривали ее тащить детей в этот клуб? Дети были хорошо одеты и укутаны в одеяльца. А сверху еще был брезент! Я ей сказала: «Фрида! Там столько людей! Там может оказаться инфекция... Через день-два мы будем уже на месте... Что решает какой-то час в тепле?»

Тут, разумеется, не было ни Манечкиной вины, ни Фридопкиной. Тут — судьба. Они могли опоздать на поезд, и тогда Фридочка пошла бы в одной колонне с моим дедом, и дети ее лежали бы в той же яме, где лежат мои двоюродные сестры и братья. А могла Фридочка уехать к матери, за Днестр, и оказалась бы в одном из гетто Транснистрии. Разве там она наверняка сохранила бы детей? Скорее всего нет. По всем рассказам получается, что в этих девочках, нежных, как ангелочки, с самого начала было что-то обреченное. Будто они ненадолго показались для чего-то в этом мире — и тут же исчезли. Как на секунду появляется и исчезает

солнце в пасмурную погоду. Не осталось воспоминаний о каких-то их поступках, о смешных детских словечках. Не осталось никакого явного следа, даже фотографий. Только два одеяльца — малиновое и голубое.

Эти одеяльца пожилая медсестра вынесла в приемный покой, где просидела всю ночь Манечка, и объяснила, что вообще-то вещи из инфекционного не выдают, но эти совсем новые, их жалко...

Одеяльца за год до того подарила племянницам Манечка. Фридошка выбрала для старшей малиновое. Теперь Манечке возвращали ее подарки, поблекшие после санитарной обработки. Подошла врачиха с валерьянкой в мензурке. Манечка что-то толковала ей про пленочку, про сестринскую безответственность, но врачиха отвечала, что и без пленочки было бы то же.

Бабка на воротах, пропуская Манечку, перекрестилась на одеяльца: «Детки?» — «Хуже», — ответила Манечка.

Она шла по дороге. Редкие попутные машины сигналили ей, останавливались. Манечка делала отрицательный жест головой. Она не торопилась. Ей хотелось, чтобы эта пыльная дорога тянулась без конца. Хотелось свернуть в сторону и уйти в степь, заблудиться. Впервые в жизни она завидовала. Завидовала сестре. Ах! Какой отрадой казалось ей предаться горю, отчаянию без этой невыносимой примеси вины! Она была бы счастлива, если бы свершилось чудо и все перевернулось бы наоборот, и это умерли бы ее, Манечкины, дети. И пусть бы Фридошка была действительно в этом виновата. Никогда, никогда Манечка не упрекнула бы ее, даже в мыслях!

Но Фридошка... Манечка знала, что сестра ее не пожалеет. И хотелось вспомнить какую-нибудь страшную Фридошкину вину, которую она простила ей и забыла. Ей казалось, что была такая! Но... В голову приходили одни мелочи. Лужа под ванной... след от утюга на соседкином кухонном столе... А плюшевый белый мишка со своей изуродованной мордочкой и повисшей лапой благоразумно прятался в туманных закоулках прошлого.

Садилось солнце, и в его закатном свете голубая и малиновая ткань набрали вдруг немыслимую радужную яркость. Манечка положила одеяльца на сухую траву у обочины. Но, отойдя немного, передумала и вернулась за ними. Натертые ноги страшно болели, но Манечке казалось, что время летит слишком быстро. Она не плакала, но плакали и корчились от горя бредущие следом ее нерожденные дети.

— И я пришла домой с одеялами. «А где, — она говорит, — Лиля и Сима? Что ты мне, — говорит, — эти одеяла принесла? Детей моих погубила, а тряпки принесла?!» И что я могла ответить? Разве она была не права? И то, что она потом сделала — разве это не была совершенно нормальная реакция? Я так и говорила врачам. Я никогда не отдала бы ее в больницу. Но меня никто не слушал.

По правде говоря, Манечка слегка кривила душой. Она действительно настаивала на том, что сестра ее в здравом уме, но была благодарна вра-

чам, которые не торопились выписывать Фридочку из психбольницы: ей было страшно оказаться с Фридочкой под одной крышей. А тут еще и Мирра без конца повторяла, что Фридочка опасна для окружающих, что она в тот ужасный вечер непременно убила бы Манечку, если бы Генрих ее не оттащил, что забрать сейчас Фридочку из больницы безответственно прежде всего по отношению к ней же самой, потому что в тот раз ее спасло от смерти чудо, но чудо два раза не повторяется, и если Фридочка снова попытается покончить с собой, вряд ли снова подвернется крик, готовый выломаться из стены. «И виноваты будем мы.»

В одном Мирра оказалась права: Фридочка еще не раз пыталась наложить на себя руки. Что же касается чуда, то оно повторялось с необъяснимой регулярностью. Так что в конце концов все и удивляться перестали. Перестали бояться за Фридочку, знали, когда этого можно ждать. Обычно такое случалось в канун какого-нибудь крупного семейного торжества. У Фридочки становился подчеркнуто отсутствующий вид, мстительная тень улыбки мелькала на пасмурном лице. «Боюсь, что она мне не сегодня-завтра устроит...», — шептала, поглядывая ей вслед, Манечка и продолжала взбивать белок, выкладывать этаж за этажом высокий именинный торт: знала, что ничего особенного не будет, только шум, беспорядок, дурной запах. Приедет скорая, промочет желудок — вот и все дела. Могла и к столу потом выйти, посидеть с гостями, восхититься по-детски тортом. «Только у Мани хватает терпения на такую возню!» И прибавляла доверительно, будто и собеседник ее — тоже жертва настырного Манечкиного жизнелюбия: «Конечно! Ей-то что! У нее в голове одни праздники!» После чего громко вздыхала, будто прорычал зверь.

Предатель-собеседник ускользал на кухню к Манечке. «Вы железная, Манечка, если можете выносить все это! Неужели правда, что вчера она снова...» — «Да.» — «Счастье, что вы вовремя успеваете захватить...» — «Я ждала этого.» — «Доктор Фарбер сказал, что она вам десять раз обязана жизнью!» — «Ерунда! — Манечка отрывалась от розеток с десертом, на которые укладывала вишенки и лимонные дольки. — Видно, у нее организм не воспринимает отраву, приспособился. Или она дозы берет слишком большие. Если бы я была верующая, я сказала бы, что Бог ее не принимает. Она же и вешалась дважды! В первый раз крик вырвался из стены, второй раз ремень не затянулся. — Непонятно было, к чему именно относится Манечкина досада. — А мне она ничем не обязана. Наоборот — это по моей вине с ней случилось такое горе.» И будто какая-то тяжесть проламывала Манечкино лицо, над верхними веками углублялась старческая темнота. Гость начинал убеждать Манечку в том, что никакой ее вины нет. Она оставалась при своем, а затем подхватывала поднос со своим удивительным десертом, вносила его в комнату и, встреченная восхищенным гулом гостей, мгновенно расправлялась и светлела.

Общая волна восхищения захватывала и Фридочку. Рот ее открывался, глаза оживали от любопытства, она оглядывалась вокруг, как соучастница триумфа... но внезапно застывала в возмущенном недоумении, будто застала себя на чем-то позорном, и, отодвинув с шумом стул, уходила, не оглядываясь, в свою комнату. Тут только и начинались задушевные тосты, анекдоты. Стена была «некапитальная», Фридочка слышала каждое слово, каждый удар ложечкой по стакану. Особенно прислушивалась она к голосу Манечки, азартно охотилась за каждым всплеском ее смеха, радостного оживления. И шептала удовлетворенно себе под нос: «Конечно! Разве это были ее дети?» Она лежала в темноте и накручивала на палец прядь волос у левого виска, будто заводила до отказа старый механизм своего горя и ненависти.

Эта привычка появилась у нее давно, еще в Самарканде, в психбольнице. Начиналось всегда с сестры, которая «влезла» в ее, Фридошкину, семью и отбивала у нее детей, как бесстыжая женщина отбивает мужа. Потом эту ненависть и гнев она обращала на себя, потому что если бы она не позарилась на легкую жизнь под крылышком хозяйственной сестры, ее дети были бы живы. То же и с эвакуацией. Никто не тащил ее волоком. Это она, Фрида, сама себе настолько не доверяла, что даже детей отвезти в больницу позволила Манечке, вместо того, чтобы ехать с ними и быть с ними до конца. Ведь Маня одна справилась — справилась бы и она. И уж во всяком случае не притащила бы в дом... одеяльца!

Одеяльца... Малиновое и голубое. Манечка воспользовалась ими вместо слов, и это доводило Фридочку до бешенства. Но тут все было глубже и сложнее: от них дорога шла к самому сердцу отчаяния, к самой глубокой вине... Пушистые, мягонькие, они лежали на столе среди вороха подарочной бумаги, и Фридочка не могла выбрать, какое лучше. Потом решила, что все-таки малиновое, и застелила им кровать Лилечки. И тут Манечка сказала ей: «Фрида, я знаю, что сердцу не прикажешь. Ты больше любишь старшую — хорошо. Но младшая не должна это чувствовать. Она уже многое понимает...»

Фридочке и прежде говорили о том же, но она раздражалась, спорила, толковала о пленочке, хотя и знала, что не права. И когда в душном товарняке, сидя на узлах, шестеро взрослых передавали друг другу на руки спящих детей, Фридочка подолгу не отдавала старшую девочку, хотя и онемевшие руки, и спина болели невыносимо. Она уже знала, что потеряет этого ребенка. В наказание за свою чрезмерную любовь, за тайное свое пренебрежение к младшей. И это предчувствие, перерастающее в уверенность, доводило ее до того, что она едва ли не с ненавистью смотрела на свою младшую дочь. Она знала, что ей останется Симочка. Но когда сестра вернулась из города и положила перед нею о б а одеяльца, Фридочка поняла, какую страшную месть вынашивало это ревнивое, скрытное дитя...

В больнице Фридочку остригли наголо. К тому времени, когда волосы начали отрастать, она уже не бесновалась. Лежала и думала, накручивала на палец ускользающую щетинку. Все, что творилось вокруг, не задевало Фридочку. Шла война, сдавали город за городом, немцы стояли у Москвы. Потом их наступление отбили. Калуга, Смоленск, Ленинград... Все эти слова ничего не значили для Фридочки, и она с недоумением созерцала общее горе и общую радость. Впрочем, она и к смерти матери отнеслась довольно равнодушно. Слегка поплакала... Манечка видела, что плач ритуальный.

Эту утрату Манечка и сама перенесла с пугающим внутренним безразличием. Она говорила себе, что всему виной двадцать лет разлуки, отдавшие ее от матери. И еще она понимала: самое страшное, что могло случиться с ней, — уже случилось, и хуже, чем есть, ей стать не может. Ее горе стояло над нею, как крыша, и под этой крышей умещался и Ким, о котором ничего не удавалось узнать, и Шурик, по-видимому, застрявший с матерью в Виннице, и торжественный ужас сводок Информбюро, и невыносимый быт в чужом доме, где они всем мешают, и внезапное превращение матери в беспомощное, лишенное разума существо.

Все, все это было ужасно, но ни в чем этом не было Манечкиной вины, ей не в чем было себя упрекнуть. Она ухаживала за матерью почти без посторонней помощи. Мужчины не знали, как обращаться со старухой, а Мирра брезговала к ней лишний раз прикоснуться. Каждый день, торопясь с работы, Манечка знала, что застанет мать ненакормленной и в промокшей постели. Но оставить работу Манечка не могла. Она была устроена лучше всех: мыла посуду в рабочей столовой и сверх зарплаты и карточек получала бесплатный обед и еще обедки. Все это она уносила в баночках домой. Чистая порция полагалась Мирре: ее грызла язва желудка, вдобавок она была патологически брезглива. Из обедков Манечка готовила вполне приличные густые супы. Иногда, поднося ко рту ложку, она вспоминала вдруг какой-нибудь окуроч со следами зубов и спокойно говорила себе: «Я — биолог, я знаю, что кипячение убивает инфекцию».

Манечка еще и подрабатывала: вязала кружевные воротнички. Сначала белые, потом — цветные, специально подобранные к рисунку на платье. Жизнь продолжалась, женщинам хотелось быть нарядными, а купить новую вещь было невозможно. У Манечки появилась постоянная клиентура. Особенно ценилась ее «художественная вышивка», скрывающая дыры и пятна. Это были, конечно, гроши, но их хватало на передачи для Фридочки.

Сначала Фридочка отказывалась от Манечкиных передач, но однажды соблазнилась кулечком сушеной дыни: она видела, как что-то похожее ест с чаем соседка по палате, и ей стало любопытно. Потом она начала заказывать кое-какие мелочи. Но если бы не смерть матери, Манечка не решилась бы к ней войти.

Она чувствовала, что сестра ждет ее, и знала, какими словами встретит. Так оно и было бы, если бы Манечка не начала с порога: «Мужайся, Фрида, у нас новое горе...» Так проинструктировал Манечку старенький доцент-одессит. «Не жалейте ее! Новое потрясение ей только на пользу!» Потрясения, как уже упоминалось, не было, но старый врач оказался прав. Позднее Манечка не раз наблюдала, как Фридошка, едва знакомая с соседями, ковыляет вслед за другими в какой-нибудь двор, откуда доносятся истошный женский крик. Она не рвалась утешить, обнять несчастную, получившую похоронку, — стояла в стороне, смотрела, скорее с пониманием, чем с сочувствием, по-детски забывая прикрыть рот. И было видно, что сейчас она не помнит о себе, о своем несчастье. Потом этот интерес в ней угасал: будто на каких-то внутренних весах она взвешивала чужое горе и свое собственное — и каждый раз приходила к заключению, что ее горе намного тяжелее. Фридошка полагала, что, чем старше человек, тем легче родным перенести его смерть. Что двадцатилетнего жаль гораздо больше, чем двадцатипятилетнего. Что страшнее всего потерять ребенка, затем — братьев, родителей и уж после всех — мужа (хотя она и повторяла не раз, что не все мужья такие, как ее Яков).

Фридошка овдовела в сорок третьем. Как-то утром Яков Скрипник проснулся и сообщил, что плохо себя чувствует. До вечера пролежал лицом к стене, а ночью умер. Выяснилось, что у него был обширный, старый рак. Никто не мог понять, как человек терпел молча такую боль. Только тем он и запомнился.

Генрих чуть ли не на второй день после похорон стал обещать Фридошке, что найдет ей хорошего человека и у нее еще будут дети. Фридошка сердито отворачивалась, но слабый оттенок доверия смягчал и украшал ее лицо. Она перестала избегать Генриха. И даже помогала Манечке ухаживать за ним, когда у Генриха ампутировали ногу. Сердито отсылала Манечку: «Иди полежи! Смотри, на кого ты похожа»

Манечка и вправду выглядела ужасно. Но такой она стала еще в тот день, когда вернулась домой с одеяльцами. Ее курносый нос, длинные губы, круглые скулы, светлые, далеко раздвинутые глаза, лишённые обычного для них выражения энергичной радости, выглядели уродливо. Фридошка никогда не замечала этого, а тут осознала как-то вдруг, неожиданно — и вся зашлась от возмущенной ревности: это были ее, только ее, Фридошкины, дети, и никто не имел права становиться старым, серым, уродливым от ее, Фридошкиного горя! «Даже это она забирает у меня!» — бормотала Фридошка.

В те дни она вела себя тихо. Понимала, что вся семья держится на Манечке. Фридошка, конечно, помогала, чем могла, но ей не хватало ловкости для того, чтобы ухаживать за таким тяжелым больным. Да и вообще ей требовался час на то, с чем Манечка легко справлялась за пять минут. Фридошка все это трезво сознавала. Однажды Манечка случайно услышала ее разговор с ночной няней. Та считала, оказывается, что Манечка —

жена Генриха, Фридошка — сестра, а Мирра — просто хорошая знакомая. Фридошка вывела ее из заблуждения. Она не поскупилась на семейные подробности, причем о Манечке говорила очень хорошо — пожалуй, даже хвастала ею. Няня все повторяла: «Вишь ты! Сестра — а лучше, чем жена!»

Фридошка любила вспоминать этот ночной разговор с простодушной няней. Как только кто-нибудь из знакомых начинал восхищаться Миррой, ее римским профилем и тонким образованием, как Фридошка тут же доставала свой заветный козырь: «Когда Генрих попал под поезд, она даже...» Но права она была лишь отчасти. Мирра действительно оказалась тогда как бы в стороне, но это объяснялось не столько ее несомненным эгоизмом, сколько трусостью и здравым смыслом. Мирра боялась вида свежей культи. С нее стало бы и в обморок рухнуть, и не сдержат приступ тошноты. Да и вообще весь ее облик, хоть и несколько слинявший, был крайне неуместен в тесной палате, где стонут, мучаются от жары и ходят на утку восьмеро мужчин... К тому же Миррина язва вовсе не была выдумкой, а денег не хватало даже на соду.

Ах, эта сода... Было в Мирре одно необычное качество: все ее неприятности воспринимались окружающими с каким-то преувеличенным трагизмом. И когда заходил разговор о Гольдиных, начинали почему-то не с того, что пропал без вести Ким, и не с того, что у Генриха отрезали ногу, не с того, что Фрида потеряла мужа и детей — а с того, что встретили Мирру, постаревшую, в деревянных колодках вместо обуви. И что Мирра не может купить себе соду — не то что папиросы. И передавали друг другу знаменитую Миррину историю о том, как она расплакалась на базаре, когда увидела, что женщина выменяла на пакетик соды точно такой же веер, какой Генрих когда-то выбросил из ее чемодана.

Эта история дошла даже до Сибири. Ее рассказал маме земляк, Изя Кац, приехавший в Омск в командировку. Мама попыталась представить себе Мирру без греческого узла, без духов, без педикюра... Земляк взялся передать Гольдиным соду и немного денег. В письме мама сообщала о том, что муж ее погиб, что родители не успели выехать из Каменца и были расстреляны вместе с дочерьми и внуками, что по дороге в Сибирь она родила недоношенного ребенка, который тут же и умер, так что из всей семьи остались в живых только она и Зоя...

Изя Кац жил на другом конце города, и когда Манечка возвращалась от него с посылкой и письмом, уже стемнело. Она вдруг остановилась среди дороги: ей пришло в голову, что она торопится домой с подъемом, с нетерпением, будто несет счастливую весть. «Что же это такое! — подумала она. — Я превратилась в стервятника! Я радуюсь чужому горю, как будто оно оправдывает меня перед Фридой! Погиб Иосиф. Погибли его девочки. А я сейчас думаю только о том, что если бы я силой не увезла Фриду из Каменца, и с ней случилось бы то же самое.»

«Господи! — обмирала Манечка. — Неужели и я такая же? Неужели и мне все на свете безразлично, кроме собственного горя?» Она пыталась припомнить личики внуков Иосифа. Что-то всплывало в памяти — но то были лица его дочерей, только маленьких, и сам Иосиф виделся ей мальчиком, с длинным добрым лицом... и всех их били по голове палками, сталкивали в ямы... ходила холмами насыпанная над ними земля. И Манечке казалось, что в этой же земле погребены ее нерожденные дети.

В тот день Манечка решила, что жизнь ее кончена, что душа ее выгорела изнутри и больше не способна плакать или радоваться. Но именно вскоре после этого вечера произошел перелом. Толчком послужила мелочь: статная вдова московского академика, возвращая поднос на окошко раздаточной, вдруг задержала взгляд на Манечкиных руках, ловко окунающих тарелки в таз с дезинфицирующим раствором, и пропела приятным дамским баском:

— Какая жалость! Портить в этой гадости такие красивые руки!

Манечка выпрямилась и в изумлении покрутила перед собой мокрыми кистями.

— Вы считаете? — спросила она недоверчиво.

— Конечно! Хлорка разъедает кожу. Обязательно надо чем-то мазать. Ну хоть хлопковым маслом. Это же богатство — такая безукоризненная форма, такие ногти...

Манечка с детства была избалована похвалами. Но впервые в жизни она слышала, что в ней есть нечто красивое и даже «безукоризненной формы». По дороге домой она заметила, что прохожие здороваются с ней как-то по-новому. И хотя, переступая порог своей комнаты, Манечка невольно сникла, чуткая Фридошка сразу уловила перемену и весь вечер посматривала на сестру со злорадным удовлетворением. Случилось то, чего она ждала: Манечкино горе действительно оказалось недолговечным!

Фридошка была права. Не то чтобы Манечкино горе потускнело. Просто жизнь начинала брать над ним верх. Но и с самой Фридошкой, как ни отталкивалась она от этого, происходило нечто подобное. И когда Генрих говорил ей, что она еще молодая и может снова выйти замуж и родить детей, она грубо обрывала его, но сладкая надежда сотрясала ее, как любовная страсть. Она вдруг стала замечать очарование чужой весны. Кончалась война, и в голосе диктора, чуть плывущем в ясном подвижном воздухе, клокотало торжество победы. Близилось возвращение на родину.

В ту весну все для них стало складываться как-то невероятно удачно. Перед самым отъездом пришло письмо из Сибири от Лизы. Лиза писала, что они с Петенькой здоровы, что он стал совсем взрослый, но по-прежнему помнит и любит свою «маму-Маню», что она получила письмо от Мирона Шульмана, преподавателя физики. Что Мирон воюет в Венгрии и недавно на перевязочном пункте встретился с Кимом. Что Ким уже капитан и награжден несколькими орденами...

Из всего этого следовало, что четыре месяца назад Ким был жив. И хотя война продолжалась, никому не верилось, что с человеком, которого так долго считали погибшим, может что-то случиться. Мирра покрасила волосы и снова начала пудриться.

Следующее чудо произошло по дороге домой. На одном из последних азиатских полустанков, где Манечка приценивалась к кружке кислого молока, она заметила двух мальчишек, бегающих вокруг деревянного мостика, обвалившегося в неглубокую канаву. Младший, одетый в солдатскую форму, был щуплый, но дрался умело и омерзительно зло. Оба уже устали, бежали вяло, медленно. Младший, догоняя старшего, цеплялся ногтями за его серую фланелевую куртку и кричал едким дискантом: «Повтори, что ты сказал!» «Жид! Жид!» — орал старший почти мужским голосом, готовым вот-вот перейти в детский рев, и маленький бил его кулаком в лицо, от носа до подбородка перепачканное кровью.

— Прекратите сейчас же! — закричала Манечка, съезжая на дно канавы в последнем своем платье. — Что же ты делаешь! Будь умнее! — ухватила она за локоть солдата.

— Хватит! Четыре года терпел! — он высвободил свою руку и обернулся к Манечке. Две быстрые струйки спускались из его ноздрей, аккуратно, как восточные усы. Это был Шурик.

Об этом случае — когда находился в особо благостном настроении — любил рассказывать Генрих. Манечка же старалась не вспоминать искаженное бешенством лицо с кровавыми усами. Глядя на четкие вдохновенные черты Шурика, на светло-серые, широко раздвинутые глаза, как бы отуманенные далью, она представляла себе, какие унижения, какие издевательства должен был вынести Шурик в этом своем военно-музыкальном училище, чтобы в нем вызрела такая уродливая злость. И даже много лет спустя она ловила себя на том, что всматривается в его лицо, боясь обнаружить следы этой злости. Манечке казалось, что именно поэтому к ней не возвращается та беззаветная любовь, которую она когда-то испытывала к Шурику. Она корила себя за «Вылитый Анчил! Как будто я живого Анчила увидела!» Шурик сердился. Он не хотел быть похожим на отца, который бросил их с матерью и, судя по всему, ни разу о них не вспомнил. Манечка и Фридошка, слушая запальчивые обвинения Шурика, опускали глаза, а Юдифь улыбалась той загадочно-скабрёзной улыбкой, с какой взрослые слушают рассуждения детей о капусте и аистах.

В старости, когда в помраченном разуме Юдифи окончательно перепутались правда, вымысел и ревнивые догадки, она рассказывала всем о том, что Анчил уже после войны тайно встречался с сестрами и братом, что Фридошка несколько раз проболталась об этом при ней, при Юдифи. Юдифь искренне удивлялась, когда Фридошка в ответ на такое обвинение хлопала дверью и переставала с ней разговаривать. Манечке с трудом удавалось их мирить. Ей было не привыкать. Сразу же после возвращения в Черновцы она взяла на себя роль буфера между Юдифью — и вздорной Фридошкой, вспыльчивым Генрихом, капризной высокомерной Миррой.

К счастью для всех, Манечкина квартира, где собирались поселиться одной семьей, оказалась занята, так что Манечке, Генриху и Юдифи, сразу принятым на работу, выделили сначала временное, служебное жилье, а вскоре и постоянное. Манечке досталась огромная, как зал, комната в самом центре города. С очень симпатичными соседями. Люди, занявшие прежнюю Манечкину квартиру, оказались порядочными и вернули ей мебель и все сохранившиеся вещи. Комнату, по решению Генриха, тут же разделили надвое, причем Фридошка настояла на том, чтобы дверь из ее половины выходила не на Манечкину территорию, а непосредственно на лестничную площадку. В результате появились, конечно, ненужные сложности с кухней и туалетом, но Фридошку это не смущало. Ее комната получилась несколько просторнее и светлее. Туда же снесли и вещи получше. «Я должен ее устроить! — как заклинание повторял Генрих. — Пока она не выйдет замуж и не родит ребенка, она не даст тебе жить!»

Манечка смотрела на брата умоляюще. Она хотела жить. Красить губы, красиво укладывать волосы, приглашать на чай новых сотрудниц — и не ожидать этого удовлетворенно-мстительного взгляда! не бояться этого удара в стену, этого бурчания за неплотным слоем штукатурки: «Конечно! Угробила моих детей, а теперь...»

Генрих искал. Он занимал довольно высокую должность. Конечно, все знали о том, что Генрих не был на фронте и что всю войну он проработал на железной дороге, где и потерял ногу, заброшенный рывком ветра под идущий состав. Но человек без ноги в то время, как ни крути, вызывал особое уважение. Громоздкий Генрих казался на костылях еще крупнее и внушительнее. Его поставили на работу «с людьми». Приходили к нему по большей части вдовы. Доказывали свое право на пенсии, на жилплощадь. Попадались и мужчины. Иногда подходящего возраста и положения. С такими Генрих говорил без обиняков. «Есть хорошая женщина. С квартирой. Обеспеченная. Работает в аптечном управлении...» Но, по-видимому, слухи о Фридошкиных странностях и психбольнице ходили по городу, несмотря на все предосторожности. Желающих познакомиться с ней было не так много, и ни одному из «женихов» Фридошка не понравилась. На нее тоже ни один из претендентов не произвел впечатления. Однако она была готова выйти замуж за любого из них.

Генрих постепенно снижал требования. Однажды он принялся обхаживать совсем уж местечкового еврея — вдовца с тремя детьми, который вдобавок хлопотал о том, чтобы забрать из детдома племянника. Без официального усыновления ребенка не отдавали, а при усыновлении мальчик терял право на пенсию.

— Так где же тут правда? Почему ребенок должен потерять пенсию за погибшего отца?

Говорил посетитель много, с невыносимым акцентом, резко впадая то в трусоватую пришибленность, то в брызжущее возмущение.

— Мой брат не заслужил, чтобы его ребенок оставался в детдоме! Но если я не имею чем кормить своих детей, как я могу взять еще и этого?! Вы поставьте себя на мое место! Мы с братом были близнецы и тоже, можно сказать, сироты. Мать растила нас без отца...

— Скажите... — тихо перебил Генрих, приглядываясь к лысине, похожей на острый конец яйца. — Ваш отец случайно не Моисей Гольдин?

— А что? — испуганно заморгал посетитель...

Уже через день Манечка с новообретенным братом ехала по хотинскому шоссе. Она давно не вставала так рано. Солнце поднималось ей навстречу, быстро согревая холмистые дуга. Казалось, что это славное утро всем обещает новую жизнь. Манечка была рада, что не послушалась Генриха. Хватит! Она и так слишком долго откладывала. Больше она не хочет обворовывать себя! Если бы не Генрих, она давно взяла бы на воспитание ребенка. Все сложилось бы по-иному. И не было бы этой вины перед Фридой. Она хочет жить. И больше никто ей не помешает. Уже сегодня вечером у нее будет свой, собственный сын. И от этой мысли Манечкина душа будто раздавалась непрерывно виришь и, слишком большая для ее тела, насилась отдельно, невысоко над холмами, опережая старенький автобус.

Наум Гольдин тоже трепетал от радости и старался оправдаться — не то перед собой, не то перед Манечкой, не то перед погибшим братом.

— Чужому я бы ни за что не согласился его отдать! Но вы же родной человек! А самое главное — учительница! Вы же понимаете, что в гетто его никто не учил... Он целый год вообще сидел на одном месте, не мог вставать, потому что у него украли штаны! Что я мог сделать? Я мог разделить на четыре части еду, но штаны я не мог разделить. Правда? Он потом месяц учился ходить, когда нас освободили. А меня сразу отправили на фронт. Я их просил: «Моя жена умерла. Брата жена умерла. Дети истощенные, племянник — калека. Дайте мне их поставить немножко на ноги! Зачем вы нас освобождали, если они все равно пропадут?» Куда там! Не стали даже слушать! Детей — в детдом, племянника — в больницу. Но вы не бойтесь. Теперь он ходит нормально. Ему только надо дать хорошую специальность. С хорошей специальностью везде хорошо! Даже в гетто было хорошо!

Все это он уже говорил накануне. И про специальность, и про гетто. Хотя Генрих просил его при Фридошке о гетто не говорить. Более того, желая, по-видимому, польстить Фридошке, Наум вдруг заговорил о том, как хорошо там было аптекарю, который лечил «людей и начальство» своими травками и смолами, а также ведал лекарствами из посылок королевы Елены, так что вся семья его не только была сыта, но жена еще и расхаживала в шелковом халате...

Фридошка слушала спокойно, так что Генриха больше смущали частые и опасно-теплые упоминания гостя о королеве Румынии, возможно,

доносящиеся в коридор и на общую кухню. Ночевать у Манечки Генрих остался не из-за предчувствия, как рассказывал впоследствии, и не для того, чтобы «дать жене свободу», как уверяла всеведущая Юдифь. Просто одионый пожилой человек, засидевшийся допоздна, решил переночевать у сестры.

Как бы то ни было, это спасло Фридошке жизнь. Манечка с Наумом уже тряслись в автобусе, когда Манечкиных соседей разбудил страшный грохот и рев Генриха: Генрих выламывал спиной дверь ванной. Растрепанный, в огромных черных трусах, он скакал на высокой тонкой ноге, а белая култя его торчала вперед и беспомощно билась...

Впоследствии и Манечка говорила о предчувствии. Доехав до места и ступая по желтой немошеной дороге, она вдруг осознала, что счастливое нетерпение покинуло ее. Возможно, тут сказалась бессонная ночь. Было тихо. Ветер выносил навстречу Манечке полные детских воспоминаний запахи запущенных садов. Они чуть не прошли мимо калитки детдома, упрятанной за глухим кустарником. Наум оставил ее на скамейке у центрального корпуса, а сам зашагал, пружиня, вниз, по крутой дорожке. Вдали, за деревьями, виднелось длинное, свежесбеленное здание. Наум исчез и как-то неожиданно скоро показался снова. Легонько подталкивая в спину, он вел мальчика лет двенадцати. Походка мальчика выглядела чуть странно. Впрочем, подростки часто ходят так: загребая ногами, с руками, висящими спереди и чуть оттопыренными в локтях... Бритая голова только начинала обрастать очень черной щетинкой и выглядела мелковатой, а ухо, напряженно наставленное на дядю, казалось несуразно большим. Наум что-то горячо говорил, помогая себе убеждающими жестами. Но мальчик смотрел только на Манечку, издали неуверенно ей улыбался, оголяя крупные, выпирающие зубы. В этой улыбке, в блеске больших темных глаз было что-то сонное и одновременно умоляющее. И чем ближе он подходил, тем заметнее становилась его старческая худоба, как бы нарочно подчеркнутая растянutoй майкой. Манечке казалось, что подмышки у него глубокие, как пещеры. Она ободряюще улыбалась ему и уже знала, что никогда не сможет полюбить этого ребенка.

Надо сказать, что Иося тоже не полюбил Манечку. Манечку, обожаемую всеми соседями, квартирными хозяйками и учениками. Даже первоклашки, встречавшие ее в школьных коридорах — и те знали, что Картошка веселая и справедливая. Ее предмета никто не боялся. Манечка умела быть одинаково приветливой с любимыми и нелюбимыми учениками. И дома, с Иосей, она вела себя точно так же. По-своему Иося ценил ее, как ценил бы в детдоме хорошую воспитательницу. Привязываешься, но понимаешь, что главная жизнь ее протекает где-то в ином измерении. Какие-то Фридины дети... Какой-то там Ким, который «хочет жениться на женщине с ребенком», Шурик, который без конца ссорится со своей чудаковатой матерью...

Все это Иосю находил естественным: они родные племянники, а он — двоюродный. У него есть свое место — не такое почетное, но гарантированное. А в общем... свой переезд к Манечке он воспринимал, как перевод в новый детдом, где еда и постель лучше, но жизнь в целом скучнее и слишком много обременительных правил. Чего только стоил этот тазик с водой, который Манечке не надоедало ставить перед ним каждый вечер. «Ну посмотри, у тебя же земля между пальцами! Вот скажи: разве так не приятнее?!» А это сидение за уроками! Этот несносный звук ее терпеливого дыхания прямо над головой! И за всем этим — вечный, настырный взгляд Фридошки, может быть, и не враждебный по отношению к самому Иосю, но со злорадным удовлетворением отмечающий каждый его промах.

Казалось, что Манечка не замечает этого злорадства. Она вообще как бы не видела того, чего не хотела видеть. Например, неудовольствия своих знакомых, чьих детей она навязывала Иосю в друзья...

Иосю к этим умненьким мальчикам совсем не тянуло. Исключение составлял только Шурик. Но Шурик, ничуть не смущаясь, откровенно заявлял Манечке, что ему некогда и неохота возиться с Иосей. Манечка обижалась, напоминала Шурику, что Иося — его младший брат и он обязан уделять ему внимание. На Шурика Иося не сердился — скорее на Манечку, которая была недостаточно настойчива.

Пару раз Шурик доставил Манечке удовольствие: сходил с Иосей в кино. А потом нашел решение проблемы: он соглашался взять Иосю на прогулку, они выходили вместе, но, оказавшись за углом, где умиленный взгляд тетки не мог больше следовать за ними, Шурик дружески хлопал Иосю по спине: «Лети, дружок, отныне ты свободен!» Иося восхищенно хихикал, показывая, что очень рад, хотя взрослого Шурика с его насмешливым взглядом и непонятной речью он предпочел бы даже своей уличной компании.

Ах, эта компания... Они называли себя пугающим словом «банда». Он «лез» к ним, и они лупили его в подъездах, а он снова «лез», и так продолжалось, пока они не увидели крошечный кинжалчик, выточенный им из Манечкиной серебряной ложки. Тогда его приняли. Стали ходить с ним в обнимку по городу, искали на мусорниках подходящие для кинжалчиков железки. Другие «банды» очень завидовали им на эти кинжалчики.

О своих уличных знакомых Иося Манечке не рассказывал. Хотя ничего такого уж плохого они не делали. Ну, плевались по-особому. Делились случайно добытой информацией о женской физиологии и деторождении. Бегали к «дальному» парку, где жили нищие. Зажимали носы и подходили к самой решетке, смотрели, как умирающие люди в гнилой деревенской одежде бессмысленно копошатся под высокими деревьями, среди мраморных изваяний героев Шиллера. Кто-то спал прямо на земле

с натянутой на лицо рубахой, кто-то тащился к решетке и протягивал без надежды руку.

Почему-то один старик выбирал из всех именно Иосю. Будто чувствовал, что у него есть хлеб. Иося всегда носил в кармане корку. На всякий случай. Он никогда не вытаскивал эту корку, только сильнее сжимал ее в кулаке. Но одна знакомая доложила Манечке о том, что ее приемыш ходит в Шиллеровский парк и дразнит нищих. Манечка пришла в ужас и впервые отругала Иосю. Иося не понимал, с чего это она разошлась до слез. Он с вялым испугом доказывал, что никого не дразнит. Что этого старика он как раз знает: его двор был рядом с гетто, и старик наступал им на руки, когда они из-под забора тянулись за зелеными яблоками, упавшими в траву. И в доказательство показывал красно-белые шрамы на косточках рук. Кстати, он действительно был убежден в том, что это тот самый старик. Но к парку бегал вовсе не потому. Ради запаха... Он только для вида затыкал нос. На самом деле запах этот волновал его, как волнует людей запах родного дома. Так пахло в гетто.

Вместе с тем Иося старался забыть свое прошлое. Не столько из-за страшных снов, преследующих его, сколько из стыда перед новыми друзьями. Иося говорил им, что «по нации» он — бессараб, а Манечка ему совсем чужая. Просто она бездетная. Пришла в детдом и выбрала его. Что это она дала ему фамилию Гольдин, а на самом деле он — Федорчук.

Манечке и об этом доложили. «Ну что? Получила, что хотела? Завела себе сыночка?» — спрашивала Фридошка. «А что тут странного? — воинственно отвечала Манечка, и каждое ее слово было слышно Иосе через перегородку. — Если бы я взяла его в младенчестве и он не помнил бы своих родителей, я могла бы огорчиться. Я и не ждала, что он признает меня матерью! Мне совершенно не нужно, чтобы он называл меня мамой!» — «Это ты кому-нибудь рассказывай, кто тебя не знает!» — усмехалась Фридошка.

Фридошкина правота подтвердилась много лет спустя, когда Манечка к прочим своим историям прибавила еще одну. О том, как Рая, средняя дочь Наума Гольдина, накануне своего отъезда в Израиль встретила в городе Иосю. И как на ее вопрос, почему он тоже не уезжает, Иося ответил, что, во-первых, он платит двум женам алименты, а во-вторых, не может оставить Манечку. «Ведь она была мне мамой — как же я могу ее оставить!»

— «Она была мне мамой!» Он не заглядывал к нам уже четыре года! — иронизировала Манечка, но сквозь ее иронию выбрызгивало нечто восторженное, сильно раздражавшее Фридошку.

— Мама... — невнятно бурчала Фридошка, передразнивая воодушевление сестры. — Мама! — Голова ее отворачивалась набок и глубоко присаживалась на плечо. — Мама...

— Я сказала ему, чтобы он не смел ко мне приходить пьяный! — продолжала Манечка, будто сестры не было в комнате. — Что ж, видно, водка ему дороже, чем я...

Знаменитую фразу Иоси Манечка могла повторить и три, и пять раз за вечер, хотя склероза у нее не было и в помине. Не задумываясь ни на секунду, она наизусть диктовала рецепты сложнейших пирогов и солений. Ее знакомым и соседям проще было позвонить Манечке, чем полистать поваренную книгу. Но она по-старчески позволяла себе повторяться. В один из моих приездов Юдифь, у которой дела со склерозом обстояли куда хуже, сделала ей замечание. Забыла о том, что критиковать Манечку — исключительное право ее сестры. И получила. Фридошка все ей напомним! И то, как Шурик из-за нее чуть не выбросился из окна, и как он жил неделями у Манечки и не соглашался вернуться домой, к своей сумасшедшей матери, и как Юдифь поссорила его с одной женой, а потом с другой. И еще много чего.

Юдифь, не отвечая, повязала голову шарфиком и ушла. Я хотела бежать за ней, но Фридошка пообещала, что она вернется. Не успеет и до угла дойти, как забудет о причине ссоры. Огорченная Манечка отправила отпертую дверь, захлопнутую Юдифью согряча. А Фридошка, проведив ее немигающими круглыми глазами, доверительно зашептала:

— «Не приходи, когда ты пьяный!» Как тебе нравится? Он же всегда пьяный! А виновата, между прочим, она. Хорошо еще, что он бандитом не стал при таком воспитании! Он и с шайкой связался, и ложки воровал, и еду таскал у соседей, но моя дорогая сестра ничего не хотела слышать! А я не вмешивалась, меня это все не интересовало!

Во всем, что касалось воспитания Иоси, Фридошка действительно держалась подчеркнуто в стороне, но нельзя все же сказать, что совсем не вмешивалась. Сквозь тонкую перегородку Иося не раз слышал, как она с лестницы зазывает к себе Манечку и докладывает ей о том, что Иося съел пряники, отложенные для Шурика и Кима, стащил недожаренную котлету с соседской сковородки... И все пугала: «Люди подумают, что ты его голодом моришь!» Иногда Манечка не выдерживала и взрывалась: «Ничего люди не подумают! Люди знают, что этот ребенок пять лет голодал! Что на его глазах умерли от голода мать и сестры! Люди знают, что я им все верну!» Иося удовлетворенно кивал и слгатель подступающие слезы, будто рассказывали кино о чужом несчастном мальчике. Кино, которое Иося когда-то видел, и потому удивляется, что пропустили самый жалостливый кусок: как мальчик в одной рубашке бежит по снегу от барака до выгребной ямы, прикрывая ладошкой свой срам...

Чтобы как-то отблагодарить Манечку, он быстро раскрывал книгу на первом попавшемся месте и упирался в страницу самозабвенным, невидящим взором. Входящая Манечка с одобрением кивала издали и двигалась по комнате на цыпочках. От этого бессмысленного сидения, от тишины Иося страшно устал. Он развлекал себя воспоминаниями о детдоме, где

борщ был всегда одинаковый, и каша... и в супе не плавала эта зажаренная Манечкина трава, и никто не нависал над Иосиной головой и не пытал его: «Какое действие первое?» — «Сложение?» — «Подумай!» — «Вычи... умножение?» — «Молодец!»

Эту сценку очень смешно изображал Шурик. Манечка обижалась, а Иося — ничуть. Он даже жалел Шурика, которого заставляли «подтягивать» его по русскому языку и литературе. А когда Шурик треснул его однажды учебником по затылку, почувствовал, наконец, что они все-таки братья.

Ким ему тоже нравился. Такой важный, степенный, он внимательно выслушивал Манечку, которая просила его позаниматься с Иосей немецким. Ким клялся, что немецкий начисто забыл. При этом черепаший глаз его, невидимый для тетки, подмигивал Иосе совсем по-блатному. «Вот если бы латынь была нужна...» — скрипел он прокуренным голосом.

Манечка любовно досадовала на него. Она была рада, что Ким поступил на медицинский, хотя и жалела слегка о его офицерской форме. А уж как жалел о ней Иося! Хоть и был он «бессарабом», но мундиром и орденами Кима во дворе хвастал. А в один прекрасный момент вдруг понял, что больше не хочет вернуться в детдом. Случилось это после очередных Фридопкиных смотрин.

Торжественный ужин уже закончился. Иося лежал в своем «кабинетике» за шкафом и с грустью прислушивался, как за тонкой перегородкой продолжают пить чай. Манечка, как всегда не в меру радушная, скормливала очередному Фридопкиному жениху остатки своего орехового торта, и это мешало Иосе заснуть. Оживленно бухал голос Генриха, аккуратно рокотал жених, что-то редко и невнятно вставляла Фридочка, которую Манечка все старалась втянуть в общий разговор. Вот так же она заставляла иногда его, Иосю, читать гостям стихотворение. Иося лежал и думал, что это первый жених, который всем понравился, — даже ехидной Юдифи, заскочившей к Манечке по какому-то делу, да так и оставшейся на весь вечер.

Иося был совершенно прав. Натан действительно всех очаровал. Вдобавок каждому казалось, что Натан испытывает особую симпатию к нему лично. Такова уж была повадка Натана, свойственная этому редкому типу еврейских мужчин. Он был очень высокий, худой и крепкий, как корень хрена. Его лицо, внизу невозможно узкое, внезапно расходилось в висках, а затем снова сужалось, уходило в залысины, увенчанные неседущим гребешком. Подобный тип лица был бы комичен, но ему, как правило, сопутствуют ироничный, изящно вырезанный рот и чарующие голубые глаза, не по возрасту проникновенные и смелые. Женщины под таким взглядом хорошеют.

В этом взгляде, по-видимому, и заключалась причина противоречащих друг другу легенд, возникших в родне. Впоследствии Мирра, например, намекала на то, что Натан тайно и платонически был влюблен в

нее. Юдифь утверждала, что в тот первый вечер именно она произвела на Натана наибольшее впечатление, и если бы не давление всемогущего Генриха, все повернулось бы по-другому. А когда Юдифь дожила до того, что стала называть Шурика то «Анчилом», то «папочкой», к ее идее прибавился новый поворот: что Генрих поплатился за свое вмешательство, что лучший друг наставил ему рога и что Генрих вообще был импотентом и потому смотрел сквозь пальцы на похождения своей Мирры. Вылезла, наконец, скопившаяся за долгие годы обида на Генриха, который ни разу не попытался устроить личную жизнь Юдифи, хотя прямо-таки «сидел» на женихах, как кто-то на продуктах или лекарствах. Если бы Генрих предложил ей с кем-нибудь познакомиться, она отказалась бы с гневом и презрением, но Генрих ничего такого ей не предлагал.

Неудивительно, что и Мирра, и Юдифь заблуждались относительно Натана. Ведь даже у Генриха было на этот счет небольшое заблуждение: он полагал, что на решение Натана отчасти повлияла мгновенно возникшая между ними «крепкая мужская дружба», особое доверие и взаимопонимание, которое оба почувствовали, как только воздушно-галантный Натан вошел в кабинет мрачного тяжеловесного Генриха.

Натан имел право на комнату в общей квартире, до войны целиком принадлежавшей ему, но добиваться ее не хотел: понимал, что не сможет жить в доме, где каждая мелочь напоминала бы ему вымершую в гетто семью. Генрих тут же предложил ему решить проблему неординарно. Он описал Фридочку, ничего не скрывая — разве что чуть сместил акценты. Натан тоже был откровенен. Он предупредил, что вырос в обеспеченной семье, где постоянно работала служанка, и он не знал, что такое повесить или снять с вешалки пальто, не говоря уж о том, чтобы сполоснуть за собой чашку или почистить обувь. Что даже при всех кошмарах последних нескольких лет подобные замашки не прошли бесследно и могут быть крайне неприятны в совместной жизни.

Генрих, человек, который сделал себя сам, был очарован манерами и речью нового знакомого. Ему казалось, что даже бледная кожа Натана выбрита и ухожена стараниями нескольких поколений. Перечисленные Натаном недостатки — и те приводили Генриха в восхищение. К тому же эти недостатки, наряду с отсутствием жилья и имущества, а также значительная разница в возрасте существенно повышали шансы Фридошки.

Рассказывая сестрам о новом женихе, Генрих допустил ошибку: слишком нажал на эти самые недостатки, так что Фридошка приняла горячность Генриха за уговоры. Она и без того не собиралась капризничать или артачиться, но как-то слишком расслабилась, восприняла всю ситуацию как абсолютно надежную. Манечка, вспоминая о том трагическом сватовстве, всегда и как бы заново раздражалась на сестру, которая весь вечер просидела, как клуша. Даже не подумала хоть раз для видимости выйти на кухню, переставить блюда или передать кому-то сахарницу. Она выглядела гостьей в большей степени, чем Натан. Казалось, и ей

никогда не приходилось вешать пальто и ополаскивать чашку... Круглыми детскими глазами она со скупым одобрением сопровождала снующую туда-сюда Манечку, глядела на ее ловкие руки, с некоторых пор всегда уложенные и открытые до локтя. Это уж потом она придумала, что с первой же минуты распознала коварные Манечкины маневры.

Разумеется, у Манечки и в мыслях не было ничего подобного. Она действительно очень старалась — ибо жаждала освободиться от прошлого, от своей вольной или невольной вины перед сестрой, от ее упреков, все более однообразных и механических — и все более невыносимых. Только замужество, только новые дети могли отвлечь Фридочку и принести Манечке избавление. Она мечтала об этом! И видела, что Фридочка не нравится Натану и окончательно портит все своим нелепым поведением. Фридочка не понимала знаков, которые ей делала сестра, и наивная Манечка полагала, что хоть немного исправляет положение, демонстрируя жениху домовитость и общее расположение к нему семьи. Возможно, под ласкающим взглядом Натана она и перестаралась... но... Бог мой! Разве нужно быть таким мудрецом, как Натан, чтобы сразу увидеть разницу...

Впоследствии о них говорили с умилением, что то была любовь с первого взгляда, особенно удивительная при таком зрелом возрасте. Генрих любил вспоминать, как после чая пошел провожать Натана, и тот прямо на лестнице выразил ему свое полное уважение к Фридочке, но жениться на ней отказался категорически. Зато тут же и неожиданно пылко попросил руки старшей сестры. С терпеливой улыбкой выслушивал он доводы Генриха о Фридочкиной завидной должности, о Манечкиной неспособности родить ребенка, об Иосиных двойках, о том, что этот брак, несомненно, усугубит семейную драму...

Генрих так боялся новых осложнений, что был вполне способен принести в жертву счастье Манечки. Но упустить Натана... Это было выше его сил. Когда, распрощавшись с Натаном, Генрих вернулся, Иося уже спал, но тупанье протеза разбудило его, и он слышал, как ужасалась Манечка, как она плакала и отказывалась и как Генрих после долгих уговоров стукнул костылем и предъявил ей ультиматум: либо она выходит за Натана, либо навсегда отказывается от брата и его семьи.

— Можешь тогда считать, что мы для тебя умерли! Выбирай! Фриду я устрою, не волнуйся!

— А ребенок его не смущает? — пролепетала из-за своей ширмы Манечка.

Иося замер без дыхания, ожидая ответа. Манины странные супчики, закоулок за шкафом, даже тупое сидение над учебником, даже вечернее мытье ног показались ему такими нестерпимо желанными!

— Не смущает! — удовлетворенно буркнул Генрих, отстегивая протез. — Куда его теперь денешь?

Через неделю Иося рассказывал приятелям, как Натан перетащил к Манечке свои чемоданы, и как Фридошка, узнав об этом, всю ночь выла и стучала в стену: требовала, чтобы Манечка вернула ей мужа. «Тебе, — кричит, — смолу надо лить раскаленную в твою пустую утробу, а ты мужей забираешь! Мне он нужен, чтобы детей рожать, а тебе для пакости! Отдай!»

Иося чуть не захлебывался слюной от возбуждения. Настоящей подростковой чувственности в нем еще не было, но было желание возвыситься таким образом в дворовой иерархии. Возможно, это и удалось бы ему, пойми он и запомни страшные Фридошкины проклятья. Но он перестарался. Принялся на ходу сочинять, как Фридошка выломала дверь и ворвалась с палкой в комнату, «а они оба голые, и все видно, что делают! а она их палкой — туда! сюда! — и тащит его к себе! а сама тоже голая! соседи прибежали и стали их растаскивать! Вызвали машину, и ее забрали в сумасшедший дом!»

Мальчишки дали ему досказать, а потом обозвали «брехлом» и оставили одного. Были среди них двое-трое таких, что выбежали с родителями на лестницу, когда ночью поднялся крик, и видели, как Натан вышел из квартиры в брюках, с ровными, как линейка, стрелками и в белой рубашке с галстуком. Он так вежливо, с таким объяснением извинялся перед соседями, что те расходились по домам с некоторой даже неохотой: не прочь были еще поговорить, оказать помощь. Они и оказали ее. Когда утром вместе с Натаном ломали Фридошкину дверь. Тогда же и скорая приезжала, но это уж весь двор видел, как врачи возвращались потом в машину одни, без Фридошки.

Иося вдруг испугался, что кто-то из мальчишек разболтает о его байке матери, а та нажалуется Манечке... Он перестал ходить во двор. Правда, на учебе его это не отразилось. Натан, свободно говорящий по-немецки, отказался помогать Иосе. Он наткнулся как-то на выточенный Иосей кинжальчик и объявил, что у Иоси талант, золотые руки, что с осени он пойдет в ремесленное училище — и нечего ему наукой морочить голову.

Иосю не стали ругать за испорченные ложки. Натан притащил ему обрезки металла с завода, где работал главным бухгалтером. Манечка носила Иосины поделки в сумочке и всем показывала. Наконец и в Иосе обнаружилось нечто достойное похвалы и восхищения.

Разумеется, это не шло ни в какое сравнение с тем религиозным обожанием, с которым она относилась к Шурику и Киму. Племянники по-прежнему часто забегали в гости. Барственный Натан не отпугнул их. Наоборот, они неожиданно горячо привязались к новоявленному дяде. А он — к ним.

Как-то все в этом браке и вокруг него устроилось ловко, вроде кубиков, быстро сложившихся в картинку. Несомненные сложности в характере Натана были совершенно неощутимы для Манечки, она не давала мужу делать в доме даже те мелочи, к которым он был готов. Зачем, если

для нее было праздником ежедневно наводить стрелки на его брюках? При этом у Натана как бы и не было интересов вне Манечки, Манечкиных родных и друзей. Его отношения с собственной родней скоро совсем захламлялись. Натана искренне беспокоил тромбоз флебит Генриха, желчный пузырь Мирры, нервы Юдифи и ее постоянные скандалы с Шуриком, неуважение Шурика к памяти отца, связь Кима с пикантной, не очень молодой вдовой, оставшейся с двумя детьми...

Из-за этой самой вдовы у них с Манечкой произошла даже небольшая размолвка: Манечка считала, что Мирра с Генрихом противятся женитьбе Кима из-за детей, и бурно негодовала. Натан же считал, что Ким еще слишком молод, чтобы брать на себя заботу о чужих детях.

— А мы на что?! — горячилась Манечка. — Разве мы не можем взять часть забот на себя?

— Конечно! — кричала из-за перегородки Фридошка. — Разве она о Киме думает? Она о себе думает! Она думает, что снова кто-то будет говорить ей «мама-Шманя!» Может, она угробит еще пару детей!

— Ты пойми! — продолжал Натан, не обращая внимания на Фридошкин крик, как не обращают внимания на звук соседского радио. — Разве тебе не хочется, чтобы у Кима были собственные дети? А у нее уже есть двое. Если она даже решится в своем возрасте рожать, то Ким, скорее всего, потеряет интерес к ее детям. Начнутся конфликты...

Возможно, что нечто подобное приходило в голову и Киму. Себе он в этом не сознавался и считал, что брак его сорвался из-за родителей. Он даже перебрался на какое-то время к Манечке. Притащил свой громадный чемодан, несколько связок книг. Манечка с Натаном передвинули мебель, так что получился очень уютный уголок возле окна. Но долго Ким у тетки не продержался. Диван, на котором он спал, был ему коротковат, нельзя было курить в комнате... А главное — каждую ночь скандалила Фридошка. Ким в общем-то знал, что тетка устраивает регулярные сцены, но не представлял себе, как это выглядит на самом деле. Всякого навидавшийся на фронте и в прозекторской мединститута, Ким изумленно ухмылялся в темноте, дивясь, где тетка набралась таких слов, таких изощренных проклятий. Он боялся громко рассмеяться. За Манечкиной ширмой было тихо. Он не знал, какую из теток ему больше жаль. Ким понял, наконец, и оценил упорство отца, который стремился пристроить сестру ценой любых жертв и унижений. «Да, — думал Ким, — хоть за борова, хоть за козла — ее нужно пристроить как можно скорее...»

То была грандиозная удача. Не козел и не боров — инженер, математик с двумя дипломами Венского университета! Свободно владеющий пятью языками! Муню Финкельштейна доставили Генриху, как на блодечке, прямо в его рабочий кабинет. Эта история была особой гордостью Генриха, его жемчужиной. Он изображал в лицах, как «малохолдная дама из местных», едва владеющая русским, вошла — и расцвела от счастья,

обнаружив, что в кресле начальника сидит еврей. Она без обиняков выложила ему, что уже три месяца кормит родственника покойного мужа, что этот родственник вернулся из Сибири, раздетый и разутый, и теперь он целыми днями лежит на раскладушке в прихожей ее коммунальной квартиры к общему неудовольствию соседей...

— Я не могу его выставить! — доверительно шептала дама. — Это порядочнейший человек! Ни за что отсидел почти десять лет! Он же добровольно сдал все свое состояние, а его все-таки посадили! Если бы вы знали, что это была за семья! И все до одного погибли в гетто! Его можно понять! Но я-то в чем виновата? Что же мне — кормить его пожизненно?!

— Не понимаю, — перебил Генрих, начиная подрагивать от охотничьего предчувствия. — Чего вы добиваетесь? С жильем сейчас очень сложно! У меня у самого вдова родного брата со своим сыном живут в одной комнате с совершенно чужими людьми, а я ничем не могу помочь!

— Что вы! Я знаю, знаю, что квартир нет! Но хоть заставьте его пойти работать! Понимаете: он поклялся памятью своих жены и детей, что ни дня не будет работать на них...

— Я сказал ей: «И не надо! Пусть не работает!»

И каждый раз при этих словах Генрих победно откидывался в кресле и расстегивал воротник рубашки, как тогда, в кабинете.

Свадьбы, разумеется, не было. Муня перебрался с раскладушки на Фридошкин диван из черной кожи. Ночные скандалы прекратились. Правда, теперь заснуть мешали свист и треск приемника с обрывками иностранной речи сомнительного содержания, но понимал их только Натан, лишенный советского инстинкта самосохранения. Он даже подумывал о покупке собственного приемника, но на отложенные деньги купил аквариум и дорогих рыбок. Вообще деньги у них не держались. Манечка просто-таки изощрялась на кухне. Обедали почти всегда с гостями. Если гостей не было, Натан посылал Манечку «взять напрокат» соседскую Светланку. Часто брали ее с собой на прогулки. Держали за две ручки: высокий тонкий Натан и небольшая стройненькая Манечка водили девочку взад-вперед по аллее, радостно раскланивались со знакомыми.

Изредка навстречу им выходили маленькие крепенькие Фридошка с Муней. Он держал руки за спиной и поглядывал с недоумением, бодливо выставляя вперед крутую баранью голову. Фридошка ступала гордо, постоянно помнила о двух дипломах и о пяти языках. Несомненно, по части образования ее муж превосходил Манечкиного. А уж покойного Якова превосходил по всем статьям. Тем не менее Фридошке никак не удавалось забеременеть. Вроде бы она хотела этого страстно, но, заглядывая в самую свою глубину, туда, где, возможно, гнездилась болезнь, она понимала, что надеется родить тех самых детей — Лилечку и Симочку... Знала, что ничего похожего на их красоту, все более растворяющуюся в сумерках прошлого, не подарит ей Муня Финкельштейн с его венскими дипломами... Она боялась, что будет сравнивать — презирать, как

презирает всех этих беспородных детей, копошащихся в парке, эту Светланку, избалованную Маней и Натаном... Нет, уж если у Фридошки родятся дети, Маню она к ним и близко не подпустит! Не даст подойти к коляске, не даст поцеловать, не позволит взять из ее рук ни конфетку, ни куколку. Эта мысль, пожалуй, была самой определенной и радостной.

После трех лет опасений, разочарований, надежд и страхов Фридошка явилась в женскую консультацию с устоявшимся мрачно-нерешительным выражением на лице и услышала бодрый голос врача: «Успокойтесь, это у вас не беременность, а климакс!» И она вспомнила тогда и про коляску, и про конфетку, и про куколку.

В то время мне было лет пять. Я, как сейчас, вижу уставленную на меня култю дяди Генриха, слышу его непонятные слова о том, что Фридошка «снова пыталась наложить на себя руки». Он отвез ее в «нервный санаторий» под Киевом. Говорили, что они не заехали по пути к нам, потому что не хотели, чтобы Фридошка увидела меня. Все это было очень странно, и я стала бояться Фридошку. Потом она вдруг нагрянула к нам в гости на целое воскресенье, и мама тайком приколола булавку к моему платью. Я знала, что так делают, когда боятся, что ребенка станут сильно хвалить и сглазят. Но Фридошка едва смотрела в мою сторону. Она была маленькая, толстенькая, вся в темно-синем и... без «выражения лица». Не кривлялась, не кричала, как положено сумасшедшим. Меня заинтересовала в ней только мудреная пластмассовая брошка на воротнике. Она дала мне потрогать эту брошку и стала что-то объяснять, почему не может мне ее подарить, и еще что-то, о каких-то двух девочках... так что я решила, что такую брошку носят те, у кого потерялись дети.

Еще я поняла, что у Фридошки в Черновцах живут две тетеньки. Одна — Маня — очень хорошая, и все этим пользуются. Какой-то Наум сбыл ей своего племянника Иосю и знать ничего не хочет. А Манечка уже три раза ездила к этому Иосе в армию. Еще она бежит к Мирре мыть окна и вешать занавеси, потому что считается, что Мирра красавица и очень больная. А Ким чуть что уходит жить к Манечке и прожиг ей все простыни своими папиросами. Манечка носится туда-сюда и всех мирит. И никто не хочет знать, что, может быть, Манекиному мужу все это не нравится и что, может быть, он недоволен, когда Манечка ухаживает за парализованной географичкой. А теперь еще Юдифь не разрешила Шурику жениться на девушке с пороком сердца, но Шурик не послушался и привел жену к Манечке за шкаф. А соседки молчат, потому что Манечка убирает за всех на кухне и дает им свои рецепты...

Но есть там вторая тетенька — «моядорогаясестра» — и это человек страшный. Забрала у Фридошки детей и мужа, подсунула бедному Анчилу бесноватую Юдифь, из-за которой тот и пропал. А теперь устраивает вечеринки, и ее муж поет песни под гитару, хотя у него жена и дети погибли в гетто. Сначала она прятала Кима от невесты, которую Генрих привез ему из Симферополя, а теперь она по всей комнате развесила портреты

этой невесты и пишет им с Кимом по три письма в неделю. И если бы не она, не женился бы Шурик на больной девушке, которой нельзя рожать. Ее муж знает не пять языков, а только три, и не учился в Вене. Она всю жизнь повсюду лезла и старалась быть первой, так что даже родная мать из-за нее не любила Фридочку. И все лучшее всегда достается ей, а сама она не даст вам даже паршивую плюшевую игрушку...

Вскоре за тем приехала Манечка. Она оказалась еще лучше, чем я ожидала. Некрасивая, правда, но ловкая, всегда оживленная. У нее даже руки были веселые. Даже ноги! Находившись по городу, она хлопалась на диван и легко стряхивала с маленьких ступней лаковые черные босоножки. Худой высокий Натан каждый жест ее сопровождал одобрителем взглядом. Они всегда были развернуты друг к другу, как приоткрытая книга. Мне не приходилось видеть такого уверенного, радостного согласия между взрослыми.

Они жили у нас долго. Сначала Манечка проходила исследования в институте гинекологии, потом ей назначили какое-то лечение, но со стороны все выглядело, как увеселительная поездка. Каждый день они водили меня в парк. Мы прогуливались по крутым широким аллеям. Манечка давала мне поносить свой зеленый китайский зонтик и золотистый веер с хризантемами и попугаем. Веер я, сама не знаю как, сломала, но Манечка не позволила меня ругать. Вообще они непрерывно баловали меня. Хвалили, исполняли любые капризы. Однажды я услышала, как Манечка уговаривает маму отдать меня на лето в Черновцы. Я испугалась, потому что там, в Черновцах, проживала страшная «моядорогаясестра».

Поездка моя сорвалась. Манечку вызвали на переговорный пункт. Оказалось, что у Сашеньки, жены Кима, в самолете начались преждевременные роды. Они летели в Черновцы из Томска, где работали после окончания института. Молодые родители со своими недоношенными близнецами застряли в чужом городе. А у Мирры, которую они просили выехать на помощь, как назло, началось обострение желчно-каменной болезни. К тому же Манечка с Натаном были почти на полпути...

Все эти аргументы были Манечке ни к чему. Я помню ее лицо в возбуждении сборов, эту фанатическую радость достигнутой цели...

Много лет спустя, когда Ким с детьми и внуками уехал в Америку и увез с собой расслабленную, глухую, капризно боящуюся смерти Мирру, Фридочка утверждала, что не было тогда у Мирры никакого обострения, что она просто не хотела ехать. И вообще никогда особенно не возилась с этими младенцами.

— У нее же была прическа! У нее же был маникюр! А теперь они ее увезли, а нас бросили! Я о себе не говорю, — уточняла Фридочка, — я ничего особого для них не делала. Я давала подарки, деньги, а так — ничего. Но Маня — Маня же вырастила этих детей! Ким с Сашенькой ничего не знали, кроме работы. Ким вообще мог несколько суток не приходить домой, если у него был больной после тяжелой операции. А

когда он оставался дома, то читал газету или спал. У Сашеньки дети тоже были на втором месте, хотя она была самым средненьким врачом. Она любила ездить на всякие курсы, семинары, чтобы показывать там свои наряды, а детей бросала на Маню с Натаном.

— Ничего она мне не бросала! — доносился из кухни голос Манечки. Манечка вытирала руки и спешила к нам наводить справедливость. — Конечно, покойная Сашенька была не такая мать, как твоя мама, но это было солнце, а не человек! Такая красавица имела право везде быть первой! А у них в доме всегда на первом месте была Мирра! Ты же знаешь, я очень люблю Мирру, но это был нелегкий человек. Вот мне Фрида не даст соврать: Сашенька ни разу в жизни на нее не пожаловалась! А ей было на что. Я тебе скажу: Ким тоже вел себя с ней не так, как она заслуживала. И я старалась делать для нее все, что было в моих силах. Но дети... Сашенька прекрасно знала, что для нас с Натаном это был не труд, а радость! Они просто придали смысл нашему существованию!

— Ну да... — вяло перебила Фридошка. — Моих детей она угробила и сразу нашла себе другую игрушку...

С некоторых пор Фридошка стала нападать на Манечку, не дожидаясь, пока та выйдет на кухню или в магазин.

— А сейчас, — продолжала будто оглохшая Манечка, — мне нечем жить. Они нам пишут, звонят каждую неделю, я рада, что они так хорошо устроились... но я не могу им служить! Ты понимаешь: для меня это главное. Мне нужен бог...

Фридошка слушала, поджав губы.

В тот день, когда Манечка прилетела в Черновцы с двумя младенцами, упакованными в вату, Фридошка испытала облегчение: дети были похожи на спеленутых крысят, красных, влажных, с нераскрывающимися закусками глазками. Легкая улыбка освещала лицо Фридошки, когда она представляла себе, как полная радостного энтузиазма Манечка ринулась на Урал — и наткнулась там на такое... Она напрягала память, с усилием пробиралась в прошлое, вглядывалась в немладенческие личики своих новорожденных детей. То была чужая, странная красота. Разве их можно было сравнить с этими, вызывающими лишь гадливость и страх за свое ненадежное существование?

Вместе с тем эти Фридошкины чувства распространялись только на сестру. За детей она переживала. Доставала для них марлю, редкие лекарства, каждый вечер звонила Генриху. Но заходила редко, и всех это устраивало. Считалось, что ей тяжело видеть детей. А главное — боялись глаза. Мирра говорила, что у Фридошки, когда она входит к детям, делается странное лицо, будто она не ожидала их увидеть, а после ее ухода дети капризничают. Сашеньку мистические выкладки свекрови смешили. «Они плачут всегда. А удивляется тетя Фрида потому, что давно их не видела.» И Манечка благодарно подхватывала: «Конечно! Когда она

была в в прошлый раз, Юлечка и Анечка только начали сидеть, а теперь уже играют!»

Малышки возились на ковре, как медвежата, неразличимые, кудрявые, с длинными смешными ротиками. Их простодушные, черные, как у Са-шенки, глазки были по-гольдински широко расставлены. Фридо-чка смотрела на них издали и как бы нехотя, затем взгляд ее постепенно оживлялся, расплывался от умиления и любопытства. Так она сидела расслабленная, с открытым ртом — и вдруг собиралась, сжималась мгновенно, как будто кто-то поймал ее за неприличным занятием: ковы-рянием в носу... или чесанием подмышки... Манечка видела все это и жалела сестру.

Фридо-чку и в самом деле тянуло к детям, но то был сложный сгусток чувств: они особенно привлекали ее тем, что очень напоминали Манечку в детстве. Но этим же они ее и отталкивали. И сверх всего было еще веч-ное желание затмить Манечку, взять над ней верх. Делалось это исклю-чительно посредством подарков. Заметив, что Манечка вяжет для девочек кружевные воротнички, она отправлялась к знакомой, для которой когда-то доставала сигмомицин. Эта дама, получавшая посылки из-за границы, заказывала для Фридо-чки воротнички, нейлоновые, гофрированные, с тончайшими кружевами. На целлулоидных Манечкиных пупсов Фридо-чка отвечала двумя немецкими куклами с перманентом, в шубках и в кожа-ных ботиночках, так что Манечка не раз плакала, и Натану приходилось утешать ее, как ребенка. Зарплата у Натана была приличная, но угнаться за Фридо-чкой он никак не мог.

Дело в том, что Муня, назло советской власти пролежавший на Фри-до-чкином диване восемь лет, вдруг оказался родным племянником нежад-ного американца, владельца какой-то крупной компании, который был счастлив узнать, что хоть один из членов его многочисленной буковин-ской родни остался жив.

На самочувствии Муни неожиданное благосостояние никак не отрази-лось. Он заказал себе костюм у хорошего портного. А Фридо-чке — паль-то. Главной же покупкой стал портативный радиоприемник. Просыпаясь, Муня ставил его на свою крепенькую грудь и крутил весь день с неболь-шими интервалами.

Зато Фридо-чка вполне вошла в роль богатой тетки. Ее замужество, считавшееся несколько сомнительным, превратилось в необыкновенно удачный брак, и теперь она везде и по-всякому подчеркивала свое новое преимущество перед сестрой. Вместе с тем она по-прежнему сторонилась Натана и до самой смерти Генриха вспоминала брату давнее предатель-ство. Что делать... Да, Натан уступал и в деньгах, и в образовании, но во всем прочем... Не только в семье — по всему городу ходили истории о каких-то удивительных поступках Натана, о его благотворном вмеша-тельстве в чьи-то неразрешимые конфликты. Некоторые его выражения даже цитировали, как афоризмы. Может быть, и не подошли бы для

сборника «Золотые россыпи», но то, что он говорил, всегда было искренне и кстати. Речи, которые он произносил на юбилеях, свадьбах и похоронах, не забывались годами.

Ироничный Шурик, в общем-то далекий от проблем родни, не раз рассказывал о том, какое сильное впечатление произвели на всех слова Натана в день похорон Генриха. Генрих, огромный, тяжелый, лежал среди комнаты, и каждый, кто стоял рядом, испытывал чувство испуганного сиротства — может быть, похожее на то, что испытывали растерянные люди, рыдавшие на похоронах Сталина. «Я никогда не смогу занять в семье место Генриха, — сказал вдруг Натан в сумрачной тишине комнаты, завешенной массивными темными шторами. — Но я хочу, чтобы вы знали: все то немногое, что я могу, я всегда для вас сделаю». И от его слов, от самого голоса всем стало чуть легче, будто Натан принял у Генриха ответственность за семью.

Но лучше была история о том, как вскоре после похорон Генриха Натан сказал Манечке: «Конечно, ты очень любишь свою работу. Я тоже люблю свою, люблю коллектив. Но мы уже немолодые. Неизвестно, сколько нам еще суждено прожить на свете... Давай оставшееся время проведем вдвоем». И Манечка согласилась. В школе ее долго отговаривали, а затем устроили проводы, с цветами, грамотами, с глупыми стихами и искренними слезами, с пышностью, никак не соответствовавшей игрушечной учительской пенсии.

И Манечка с Натаном стали жить друг для друга. Эти несколько лет прошли быстро и тихо, как одна неторопливая прогулка по майскому парку. Прохаживались, беседовали, смотрели, как подрастают и хорошеют девочки. Натан больше любил Аню, и Манечку это чуть-чуть обижало. В остальном же все было замечательно хорошо. Манечка пекла пироги, начищала створки высоких окон до такого сияния, что они казались вовсе без стекол. Натан читал ей вслух газеты, возился со своими рыбами. Не приспособленный ни к какому физическому труду, он, тем не менее, содержал их в замечательном порядке. Все полочки и столики были уставлены аквариумами с прозрачной зеленоватой водой. В солнечные дни тени рыб плавали по стенам, и казалось, в самом воздухе комнаты сонно колышались вуалевые хвостики и плавнички.

Знакомые уговаривали Натана сдавать излишки рыб в зоомагазин. Полученные деньги складывали на сберкнижку. Отсюда и возникли знаменитые «три тысячи Натана», которыми он так неожиданно распорядился перед смертью.

О смерти Натана по городу вообще ходили легенды. Ким, хирург и циник, привычный к подобным вещам, признавал, что Натан умер очень красиво. Он будто совершал нечто такое, что делал уже много раз. Точно угадал свой час и попросил родных прийти проститься. Элла, жена Шурика, говорила, что у всех присутствующих были удивительно просветленные лица. Ни Мирра, ни Юдифь не нарушили благочиния какой-

нибудь глупой фразой, вроде «даст Бог, ты поправишься» или «врачи находят, что тебе сегодня лучше». Лишь бедная Манечка портила этот возвышенный строй, не в лад суежилась, поправляла постель, приставала с лекарствами — словом, отказывалась видеть очевидное. Аня и Юля вспоминали потом, что Манечка казалась им тогда чем-то инородным, лишним. И еще они рассказывали, что сперва боялись войти в палату умирающего, а потом отказались уйти и остались там до самого конца. Натан, приподнятый на подушках, выглядел, как никогда, длинным и плоским. Окно в палате было настежь открыто. Шумели листья, пели птицы.

Сначала Натан поблагодарил всех за то, что они столько лет были ему доброй семьей. Затем он обратился к Манечке и попросил ее не опускаться. «Крась губы. Одевайся нарядно. Обязательно сшей себе зимнее пальто. Мне очень не хочется, чтобы ты ходила по городу жалкая, чтобы люди расстраивались, когда увидят тебя». Памятник он велел заказать прочный, недорогой и сразу для двоих. Оставшиеся деньги он велел Манечке поровну разделить между Аней и Юлей. «Они нам подарили в жизни столько радости, что наш подарок по сравнению с этим — мелочь. Пусть каждая истратит их, как захочет. Позволь себе такое удовольствие». Еще он просил родных не щадить Манечку из ложной чуткости, не нянчиться с ней, как с больной. Делить с ней все проблемы и неприятности. Она каждому сможет чем-то помочь, и это для нее наилучшее лекарство...

Можно подумать, что эти самые неприятности Натан предвидел. Они вдруг так и посыпались. Манечка связывала все это со смертью Натана, но она, конечно, ошибалась. Нет ничего странного в том, что пожилые люди один за другим становятся беспомощными стариками. У Мирры вдруг заклинило бедро, так что она едва ковыляла по комнате. К тому же она почти оглохла, и вкупе с ее привычкой блистать и верховодить это было невыносимо. Домашние были с ней героически кротки, но она постоянно на что-то обижалась. Страх смерти, истерически дребезжащий в ее голосе, отталкивал даже терпимую Манечку, а уж Фридошка — та просто закатывала глаза и выразительно кричала, когда Мирра начинала заламывать свои ручки и причитать: «Маня! Что будет? Что со мной будет?!» «Что будет... То, что со всеми, кому за восемьдесят...» — бестактно отзывалась Фридошка, не понижая голоса.

В то время Манечка ходила в дом Кима, как на службу. Перетирала посуду в буфете, выбивала на балконе пыль из книг, при случае норовила вымыть пол или приготовить обед. Совестьливую Сашеньку это очень огорчало. Она предпочла бы позвать человека из дома быта, но была предсмертная просьба Натана — не щадить Манечку, загружать ее работой. Сашенька считала это разумным, хотя, по правде говоря, не видела благотворных результатов: Манечка ни на минуту не забывала о своем горе. Она вообще вся как-то померкла. И дело было не в том, что

она перестала красить губы и нарядно одеваться — все-таки перестала! — а в постоянном выражении незаслуженной обиды, которое не сходило с ее лица.

Во всем остальном она исполнила наказы Натана. Киму отдала золотые часы, Шурику — Большую Советскую Энциклопедию, Иосе — каракулеву шапку и все мужские вещи, которые выбрала в шкафу его жена. Поставила памятник, сшила пальто. Оставшиеся деньги отдала Юле и Ане. Но обещанной радости от этого не получила. Все испортила Фридошка, которая тут же, неизвестно зачем, подарила близнецам по полторы тысячи, так что Манечкин подарок как-то безлико канул, рассеялся в общей бесполокковщине.

Деньги не принесли ни радости, ни особой пользы. Даже наоборот, вызвали несколько мелких и крупных ссор. Целый скандал вышел из-за вещей Натана. Неряшливая Бэба, жена Иоси, засунула эти вещи, ухоженные, пахнувшие чистотой, в старый диван, где их пожрала моль, а потом стала всем рассказывать, что такими они и были с самого начала. Иося бегал к Манечке и доказывал, что он тут ни при чем, что он вообще собирается развестись с Бэбой и вернуться к первой жене...

Ко всему прочему вдруг обиделась Юдифь. Надо сказать, что странности ее уже несколько лет бурно разрастались, как неведомые тропические цветы. Теперь же она выставила счет за всю жизнь. Она припомнила родным какие-то невыполненные обещания Генриха, обноски Кима, в которых рос Шурик, два детских одеяльца, подкинутых на бедность... А заодно и энциклопедию, которая не дает ей подойти к буфету и за которой Шурик не спешит приехать из Москвы.

Шурику в то время было не до черновицких книг. Неожиданно для всех он развелся со своей красавицей-женой. Слабенькую Эллу в родне очень любили и жалели. Но втайне каждый был рад за Шурика: появилась надежда, что у него еще будут дети от другой женщины.

Надежда эта оправдалась — и даже чересчур быстро. Вдруг выяснилось, что Шурик женится на собственной студентке. Юдифь срочно выехала в Москву и как раз поспела к родам. Новая невестка ей не понравилась. Вернувшись, она рассказывала всем по секрету, что эта самая Ирина вне всякого сомнения забеременела от одного из своих дружков, а Шурика соблазнила для того, чтобы он заплатил за аборт, а он, дурак, взял и женился.

Манечку всегда раздражала эта знаменитая «проницательность» Юдифи, которой повсюду мерещился разврат. Она не верила ни одному ее слову, тем более, что та присоединяла к своему рассказу полную уж око-лесицу: будто Шурик крестился и ходит в церковь, а Юля и Аня, которым Юдифь поручила в свое отсутствие поливать цветы, украли у нее синюю хрустальную вазу. Главное же — на фотографии, которые привезла с собой Юдифь, беленькая студентка Шурика, прижимающая к груди младенца, вовсе не выглядела ни развратницей, ни интриганкой. Манечка готова

была ее любить. Она выставила фотографию Ирины в своем буфетном иконостасе, симметрично портрету Эллы, первой жены Шурика. Фридочку эта симметрия очень развеселила, но Манечка, не смущаясь, ответила ей, что с Эллой развелся Шурик, а не она. Что она не собирается из-за этого терять Эллу, которую всегда считала совершенством — не только за ее красоту, но в первую очередь за благородство и ум.

Однако на письмо, которое Манечка сочиняла целую неделю, Элла не ответила. Манечка написала и Шурику. Тот откликнулся нескоро, но письмо его было очень подробное и неожиданно для Манечки полное глубокого понимания. Он писал, что Манечка напрасно себя упрекает в том, что когда-то вмешалась в его жизнь. Что если бы она и не пустила их с Эллой в свою комнату, они все равно поженились бы. Что красота Эллы была для него тогда наркотиком, а брак их распался вовсе не из-за того, что не было детей. Ира лишь слегка прикоснулась к тому, что давно уже готово было разрушиться. И хотя она добилась своего не самым достойным способом, винить ее нельзя. Он тоже был хорош: сыграли-таки свою роль «беспутные папочкины гены»...

Слова Шурика об отце очень расстроили Манечку. Это была еще одна ее вина. Слишком поздно Шурику рассказали, как все было на самом деле. Добродушное презрение к отцу, въевшееся с детства, уже ничем нельзя было искоренить.

Манечка вспомнила тот день. Шел легкий дождик. Справа от нее семенила Юдифь, слева — Фрида. Почему-то запомнилось, что у всех у них были одинаковые черные сумки. Впереди широко шагал высокий, совсем взрослый Шурик. Иногда он оборачивался к ним, и Манечка видела, что их торжественное поведение его страшно смешит. А она обмирала, уверенная в том, что сейчас произойдет грандиозное таинство, которое разом все перевернет и поставит на свои места. И наивно думала, что Шурик, услышав от Генриха несколько слов правды, забудет то, с чем рос, с чем свыкся за столько лет... и начнет благоговеть перед памятью отца...

В конце своего письма Шурик просил Манечку приехать на некоторое время в Москву — помочь Ирине. Манечка совсем было собралась, но как раз в это время начались новые неприятности в семье Кима. Аня и Юлия, вечно держащиеся за руки, вечно прижимающиеся друг к другу боком, похожие на сказочного двуглавого олененка с двумя вытянутыми шейками и двумя парами раскосых глаз, моргающих в ожидании чуда, — влюбились в одного и того же парня. Добродушный и симпатичный Миша был очарован как-то всем сразу: остроумием Кима, шармом Сашеньки, аристократизмом Мирры и совершенным сходством хорошеньких двойняшек. Но надо было выбирать — и он наобум выбрал Аню. Подавленная Юлия сгоряча приняла предложение давно надоедавшего ей аспиранта — внука профессора Файнфельда. Файнфельд когда-то преподавал Киму курс общей патологии. Мирра, огорченная непрестижным

браком Ани, была вознаграждена. Она помолодела на двадцать лет и непрерывно говорила, писала, звонила по телефону, получая чувственное наслаждение от звука имени великого ученого. Имя это она произносила в два приема: «Файн-Фельд!» И вот на фоне всеобщей эйфории к Манечке явилась бывшая ученица, рыженькая Фаня Лернер, и рассказала, что в шестнадцать лет, во время послевоенного голода, она стала любовницей великого Файнфельда, причем — в самом прямом смысле слова — за кусок хлеба: ровно на это и хватало денег, которые выдавал не по годам бодрый профессор. Фаня просила предупредить Кима, который прооперировал и выходил ее мать, что девочка попадает в семью неблагородную, вздорную и жестокую, что, если этот брак уже невозможно предотвратить, то надо по крайней мере постараться, чтобы Юля не жила в доме Файнфельдов.

Бедная Манечка пришла в отчаяние, но, помня о своем неудачном вмешательстве в дела Кима и Шурика, решила промолчать. И снова она ошиблась: через пару месяцев беременная Юля прибежала ночью домой, с рассеченной бровью, без пальто... Сашеньке, которая до этого никогда серьезно не болела, стало плохо, причем настолько, что пришлось вызвать скорую помощь и увезти ее в больницу. Прожила она еще три дня.

А через неделю умер Муня. Фридошка проклинала Файнфельдов и уверяла всех, что Мунин инфаркт также на их совести. После катастрофы, которой оказалась для всех Сашенькина смерть, тихая кончина Муни никого уже не способна была поразить, тем более, что в семье он всегда выглядел зрителем, причем довольно рассеянным и не очень вникающим в происходящее. Но, как выяснилось, это было не совсем так.

За день до смерти он попросил Фриду оставить его наедине с Манечкой. Он лежал на своем диванчике, такой же, как всегда, задумчиво уперев в грудь кругленький подбородок. Разве что без приемника.

— Маня! — сказал он, и Манечке показалось, что он по-детски неуклюже пытается скопировать умирающего Натана. — Маня! Я понимаю, что прошу у тебя невозможного. Ты же знаешь свою сестру... Она неряха, она не хозяйка. Соседи ее терпят только благодаря тебе. Но ты старый больной человек, не сегодня-завтра умрешь. Что тогда будет с ней? У нее отдельный лицевой счет, отдельная квартира. Соседи тут же перестанут пускать ее к себе. Как она тогда будет жить? Ходить с третьего этажа в дворовую уборную? С крысами? Я прошу тебя найти маклера и обменять ваши две комнаты на маленькую отдельную квартиру в районе попроще. Хорошо бы возле какого-нибудь садика. Я знаю, что она отравит тебе остаток жизни. Что делать... Старайся не слушать, что она тебе говорит. Потерпи сколько там тебе осталось. Пообещай мне это, чтобы я мог спокойно умереть.

Манечка смотрела в окно. Солнце ярко освещало их нарядную улицу. Внизу непрерывно рокотала, шуршала по булыжнику подошвами вечно праздничная толпа.

— Обещаю, — сказала Манечка.

Муня вздохнул и вытянулся. Но сразу умереть у него не получилось. Не так это было просто, и он водил по комнате глазами, виновато и растерянно, не зная, что дальше делать. Манечке было его нестерпимо жаль — так жаль, что ее усталая душа никогда не вытерпела бы такой жалости, если бы кто-то невидимый не присоединился к ней...

А потом Манечка и Фридошка пятнадцать лет просидели под вишнями у дверей своего нового дома. Вроде львов или сфинксов. Улыбались входящим — каждая отдельной улыбкой. Сидели, конечно, не постоянно, но так уж казалось. Квартирка была на первом этаже: поставишь чайник — и выйдешь посидеть на своем посту, пока он не засвистит, пока из кухонного окна не потянет созревающим бисквитом, медовиком. Можно было прямо со двора проверить, не погас ли огонь под кастрюлей. А как легко было мыть низкие квадратненькие окна! Манечка нарадоваться не могла. И вообще эта квартирка ей была как раз по силам. Вся она, вместе с кухней, ванной и передней могла бы уместиться в прежней комнате. Манечка часто повторяла, что уже не в состоянии была бы поддерживать там былую чистоту без посторонней помощи. Фридошка же, напротив, жаловалась знакомым, что совершила большую ошибку, когда согласилась переехать в одну квартиру с сестрой. Она говорила, что в своей комнате была полной хозяйкой, а в этой квартире хозяйка — Маня, она же при Мане стала девчонкой на побегушках.

Разумеется, Фридошка была неправа. И всегда-то не слишком ловкая, к тому же полноватая для этих комнатушек и коридорчиков, она выглядела скорее гостьей, которая иногда великодушно помогает хозяевам в их ежедневных хлопотах. Просыпалась Фридошка очень рано. Не затрудняясь открыть глаза, ставила себе на грудь Мунин приемник и начинала наугад крутить ручки. От треска и свиста просыпалась Манечка и шла откидывать творог, который делала сама, — главным образом ради сыворожки. Приняв стакан этой целебной жидкости, она отправлялась в палисадник, где разбила несколько грядок: морковь, петрушка, укроп, пряные корешки и травы, без которых Манечка не мыслила себе супов, а главное — маринадов. На общей кухне Манечка считала неудобным разводить «консервный завод» и теперь на собственной отводила душу. С июня по ноябрь чуть не каждый день закатывала в банки клубнику, черешню, огурцы, баклажаны... По испытанным и сочиненным на ходу рецептам.

Фридошку тоже захватывал этот заготовительный азарт. Она стерилизовала посуду и кипятила крышки. А расставляя разноцветные банки на полках в погребе, испытывала настоящее удовольствие, в чем стыдилась, впрочем, себе признаться. Демонстрируя погреб любопытствующим соседям, говорила с сарказмом: «Моей дорогой сестре делать нечего! Вы думаете, она будет это есть? Все пойдет племянникам! Ничего, она увидит, как они ее отблагодарят за труды! Мне даже крошки из всего этого не надо! Утащила моих детей на погибель и хочет откупиться компота-

ми!» И Фридошка издавала свой особый стон, будто воздух с трудом пробился из котла, уже готового разорваться.

Люди опускали глаза, но сочувствовали почему-то не ей, а Манечке. Во-первых, все видели, что Фридошка компоты ест, во-вторых, не отличали этот стон от множества других Фридошкиных стонов.

Манечка же все эти звуки различала. Она знала, с каким стоном Фридошка садится на стул, с каким — на диван. С каким надевает туфлю, с каким натягивает сапог. Она по звуку определяла вес сумки и даже вид продуктов, принесенных Фридошкой из магазина. Заслышав беспорядочное кряхтение, понимала, что Фридошка забирается в ванну, и кричала: «Осторожно, Фрида, не поскользнься!» «Осторожно! — передразнивала Фридошка. — Поломала мне всю жизнь, а теперь...»

Привычка сестры звуками оповещать мир о каждом своем действии всегда утомляла Манечку. Но тот самый, особый стон был для нее совершенно невыносим. Чаще всего он означал, что Фридошка лежит в постели и накручивает на палец прядь волос у левого виска. Так лежать она могла часами. И если при этом Манечке приходилось зачем-нибудь зайти в ее комнату, она ощущала на себе такой тяжелый, завистливый взгляд, что, казалось, он способен был проникнуть в самый ее мозг.

Манечка не знала, что именно в тот период ее сестра сделала одно ужасное открытие. Фридошка вдруг обнаружила, что забыла лица своих детей. Она хорошо помнила три платья, лимонных с белыми цветочками — большое и два маленьких. Помнила, какой рисунок был на голубом одеяльце, а какой на малиновом. Но лица, которые возникали в ее памяти, не были лицами ее детей. Это были маленькие Аня и Юля. И если она напрягала память еще сильнее, то на месте этих кудрявых головок оставались два серо-сиреневых пятна, таких, какие появляются на испорченных фотографиях. И при этом она была уверена в том, что Манечка ясно помнит лица ее детей! За это она теперь особенно ненавидела Манечку — и вечно боялась за нее, ибо понимала, что Манечкина память — это последнее прибежище, где еще могут существовать ее дети.

Манечка видела только одно: что жить с Фридой становится все тяжелее. Она часто вспоминала последний разговор с Муней. Да, она понимала, что именно так все и будет, но никак не рассчитывала протянуть столько лет! Ведь у нее еще в институте пошаливало сердце. А язвенный гастрит и гипертония начались сразу после войны.

— Это просто поразительно! — как-то пожаловалась мне Манечка. — Я же биолог! Я знаю, что мой организм совершенно разлажен! Почему он так долго держится? Пару месяцев назад я перенесла опоясывающий лишай. Все правое плечо было поражено. — Фридошка кивнула, как бы удостоверяя слова сестры. — Представляешь себе: в моем возрасте постоянные перепады давления — и вместе с тем нестерпимая боль! Это было невыносимо! Роды! Настоящие роды!

— Какие роды? Какие роды?! — вдруг заорала на нее Фридошка. — Ты что — рожала? Ты знаешь, что это такое? Зачем ты выставляешь себя на посмеище?!

Манечка дрогнула и виновато сжалась. Я впервые видела ее такой. Но и в выходке Фридошки мне померещилось что-то необычное: будто она старалась защитить от меня Манечку, будто учуяла глубоко упрятанный смех, который вызывала во мне трогательная и жалкая Манечкина привычка сравнивать с родами любую боль.

Я вспомнила, как однажды Юлия рассказывала Киму о том, что у Манечки сильно болит ухо, а участковый врач никак не может поставить диагноз. Ким, сильно подвыпивший, развел руками и мрачно сказал: «Наверное — роды!» Все расхохотались. Но в тот же вечер Ким повез к тетке своего друга-отоларинголога.

Ким навещал теток редко. Он сильно уставал на работе и вообще был домоседом. Ими занималась Сашенька. После ее смерти гораздо чаще стали приходить Аня и Юлия. Делали они это не по обязанности: просто хотелось рассказать о плохом и о хорошем, а подруг у них не было. Но поскольку Манечка при каждом посещении нагружала их консервами и пирогами, а то и трехлитровыми банками со сваренным на три дня борщом, Фридошка говорила, что только за этим они и приходят.

— Давай-давай! — кричала она, взмокая от пара, подавая Манечке стерилизованные банки. — Увидишь, как они тебя отблагодарят за твой пот!

— А я помогаю им не ради благодарности! Они сироты! Они света белого не видят! И работа, и дети! Если бы я могла сделать для них в сто раз больше, я бы сделала! Но я, кроме этой мелочи, ничего не могу! Мне от них нужно только одно: чтобы они были счастливы!

За всеми этими перепалками скрывалась проблема совершенно конкретная: Америка. Разговоры о ней начались еще при жизни Сашеньки, но долгое время это был лишь застольный юмор. Предлагали уехать в Америку, когда кому-то не нравился суп, или длинные очереди, или обувь местного производства. Грозилась удрать туда от всех во время мелких семейных стычек. Всерьез об этом заговорили только после того, как второго Юлиного мужа уволили из его института. Он вроде бы не прошел конкурс, но все в городе знали, что причина в другом. Считалось, что на квартире Кима собираются «диссиденты». Все это выглядело совершенно безобидно. Приходили элегантные ироничные люди. Много пили. Как саранча, уничтожали Манечкины кабачки и баклажаны, около одиннадцати от политических анекдотов переходили к неприличным. Случалось, что кто-то кому-то передавал папочку с прозой, бледно напечатанной на папиросной бумаге...

Самолюбивый и нервный Юлин супруг не стал унижаться поисками нового места. Пошел и сдал документы в ОВИР. Ему отказали. Он снова подал. На жизнь не хватало. Алиментов у первого мужа Юля принципи-

ально не брала, и долгое время Файнфельдов это вполне устраивало. Но когда стало известно, что Юля собирается эмигрировать, Файнфельды вдруг вспомнили о ребенке. По почте пошли денежные переводы. Недалеко от дома стали появляться синие «Жигули» внука профессора. Было ясно, что если не уехать как можно скорее, ребенок узнает, кто его настоящий отец, а этого очень боялись. Мальчика прятали у Манечки. И как-то сразу прекратились споры, надо или не надо ехать. Все свелось к тому, чтобы любой ценой добиться у Файнфельдов разрешения увести ребенка.

Даже Манечка, для которой отъезд семьи Кима обещал стать полным крахом, со страстью и нетерпением ждала развязки. И когда разрешение наконец-то было получено, она в честь победы испекла «вишневу пирамиду» — очень трудоемкий и эффектный пирог.

В тот же вечер она достала с антресоль старый учебник естествознания и вытащила из-под корешка пожелтевшую бумажку. Это был нью-йоркский адрес дочери покойного Зюни, мелко переписанный Манечкиной рукой. Манечка рассказала, что сразу после войны получила письмо из Америки, от дочери несчастного Зюни, застреленного должником. Та каким-то чудом разыскала Манечку. Генрих тогда страшно испугался, заставил Манечку тут же письмо уничтожить и взял с нее клятву никому об этом не рассказывать.

— Постарайтесь ее найти! Она вам обязательно поможет! — сказала Манечка. — Я помню, она писала, что неплохо обеспечена и сумеет нас там устроить. Как хорошо, что я сохранила хотя бы адрес!

— Может, ее уже давно нет в живых! — сказала Фридошка. — Она уже тогда была немолодая!

И, покряхтев возле комода, вытащила из ящика адрес Муниного дяди, того самого владельца большой компании.

Ни Ким, ни его дети не стали разыскивать Зюнину дочь. Богатого дядю Фридошкиного мужа они нашли, но так и осталось неясным, сыграло ли это в их жизни какую-то роль. Во всяком случае, в Америке они очень быстро стали на ноги. Их необычайными успехами гордилась даже Фридошка. А уж Манечка! Перед каждым гостем она вываливала горы цветных фотографий. С машинами, с бассейнами, с ресторанами и океаном, с американскими непроницаемо-радостными улыбками. Манечка любила рассматривать фотографии и без гостей, выискивая какие-то ускользнувшие подробности. Чего-то ей не хватало, но Манечка не понимала — чего. Ведь дети выглядели такими уверенными и счастливыми!

Порой Манечке становилось не по себе: не она ли и была тенью, легким пятнышком вины на сияющем фоне их успеха? Да, дети предложили Манечке ехать с ними, но, конечно же, всем было ясно, что она откажется. Достаточно было с них и полуживой, несносной Мирры. Не хватало только ее, да еще с Фридошкой впридачу!

Фридошка, по обычаю своему, говорила то, что думала, не жалела ни себя, ни других.

— Им было бы спокойнее, если бы мы тут уже умерли, — рассуждала она. — Но, к сожалению, нельзя умереть по заказу. Кому нужна такая жизнь? Две брошенные старухи...

— Тебя ведь звали! — страстно возмущалась Манечка. — Ты сама отказалась!

— Отказалась... — голова Фридошки наискось уходила в плечи. — Отказалась, чтобы не унижаться! Я знала, что меня зовут для блезиру!

— Я не обижаюсь на них, — сказала мне Фридошка, когда однажды мы с ней доставали варенье из погреба. — Что я? Я могла им что-нибудь принести на день рождения... А любить их... Мне тяжело было видеть детей. Но Маня им всю душу отдавала! Разве ты знаешь, что она для них делала! Она и Натан — вот кто воспитал детей, а не Ким и не Сашенька! Мирра вообще была пустое место. И что же? После этого взять и бросить ее! А она была им предана почти как моим детям! — и Фридошка издала свой страшный стон. — Ты пиши ей почаще. Ты же видишь: ей нечем жить. Раньше она хоть на кладбище к Сашеньке могла бегать. Каждый день находила там какую-нибудь работу: то сажала, то красила, то поливала... И меня тащила за собой. А теперь мы можем туда попасть, только если кто-то подвезет нас на своей машине. Но я даже рада. Я всегда расстраивалась, когда видела этот ужасный портрет на памятнике. Она была красивая, Саша, а на этом портрете получилась какая-то уродина...

Мы как раз входили в переднюю. Манечка услышала последние слова и поспешила к нам, придерживаясь рукой за стенку. Ноги переступали трудно и неуверенно.

— Если бы бедная Сашенька воскресла и увидела, как ее изобразили, она бы снова умерла!

Глаза у Манечки покраснели, она часто задыхалась.

— Не расходишь! — шикнула на сестру Фридошка. — Давно к тебе не вызывали скорую помощь?

— Днем раньше, днем позже... — небрежно отмахнулась Манечка.

— Хорошо-хорошо! — мстительно пообещала Фридошка. — Только учти: если ты умрешь раньше, то не надейся, что я твоего дорогого сыночка пропишу в этой квартире! Знаешь, — обратилась она ко мне, — он снова объявился. Третья жена его выставила, и ему теперь негде жить. А Маня думает, что это у него к ней появились «чувства»...

— Ничего я не думаю, — буркнула в окно Манечка. — Какой бы он ни был, я хочу, чтобы квартира досталась ему, а тебе, наверно, будет лучше, если она достанется государству.

— Вот когда я умру, — сказала Фридошка, — можешь прописать его хоть в тот же день. А пока я жива, его здесь не будет. У него четверо детей от разных жен, начнут сюда бегать, а я не могу видеть детей после того, что со мной случилось.

— Это случилось пятьдесят лет назад! — неожиданно грубо оборвала сестру Манечка.

— Для тебя — пятьдесят! А для меня — не пятьдесят!

— Конечно, она права, — говорила чуть позже Манечка, расчесывая клюкой спутанную траву. Мы сидели на лавке за палисадником. Заходящее солнце светило нам прямо в глаза. — Иосифу я совершенно не нужна. Но чего от него можно требовать? Он же видел, что я всех люблю больше: и Кима, и Шурика, и Сашеньку... А как я любила Фридиных детей! Ты знаешь, я почти забыла их лица, но хорошо помню свои ощущения... Мне кажется, сильнее любить вообще невозможно. И что же! В результате я же их и погубила!

— Да что вы такое говорите, тетя Маня! Тетя Фрида — больной человек. Зачем повторять ее бред?

Она посмотрела мимо меня. Две морщины между ее бровями как-то болезненно искривились и сделались глубже.

— Возможно, в Лилечкиной смерти я и не виновата, — сказала Манечка. — Это Фрида не удалила ей пленочку из горла. А Симочка, скорее всего, на моей совести. Мне не надо было брать ее на руки в той проклятой бане...

— В какой бане?

— Неужели Фрида никогда не говорила тебе, как все было? Я упала с ребенком на руках. Там было страшно скользко, но я должна была сообразить, что лучше держать ее за ручку. Не был бы такой сильный ушиб. Видимо, из-за этого у нее потом и получился менингит. А я, дура такая, когда они заболели, давала им красное вино. Выменяла полбутылки за свое единственное колечко, подарок одного очень дорогого мне человека. Тогда детям при всех болезнях назначали красное вино... А при менингите вино ни в коем случае нельзя было давать, мне врач потом сказал.

Голос ее дрогнул, она надолго замолчала. Солнце красиво освещало ее пышные серебристо-русые волосы. И так ощутил, так приятен был закатный покой вокруг нас, запахи майских трав, редкие шорохи пустого полудеревенского двора.

— Фрида думает, что ей хуже, — неожиданно продолжила Манечка. — А я так завидую ей! Лучше родить детей и потерять их, чем вовсе не иметь. Я всю жизнь лезла в чужие дела, потому что у меня не было ничего своего! Мне казалось, что без моей помощи все пропадут...

— Ну что вы, тетя Маня! — огорчилась я. — Так оно и было! Шурик мне не раз говорил, что только благодаря вам не рассорился вконец с матерью. И если бы не вы, он никогда не узнал бы, что такое семья и домашний уют.

Манечка благодарно улыбнулась.

— Юдифь всегда была тяжелым человеком. Она на каждом шагу рвала с ребенка куски, но зато готова была отдать за него душу. Не то, что наша Мирра. Вот та любила только себя. Она могла забрать еду у Кимушки из тарелки, если ей что-то понравилось. Когда мы прощались, Ким сказал, что я была для него больше, чем мать. Но видишь: свою

плохую мать он все-таки не оставил. А «больше, чем мать»... Ты не подумай только, что я жалуюсь, — спохватилась Манечка, — или обижаюсь на кого-то. Я знаю, что у них не было другого выхода. Просто Фрида непрерывно мне этим колет глаза. Господи, как я ее ненавижу! Как я хотела бы, чтобы она умерла хоть на неделю раньше! Хоть неделю пожить в тишине, без ее упреков, без этих ужасных стонов! Да оно и разумнее было бы, — как-то деловито добавила Манечка, будто решение этого вопроса целиком зависело от нее. — Ко мне хоть старые ученики иногда заходят, Берта, Катя. Тот же Иося иногда забежит, занесет хлеб. Заборчик вот покрасил. А она же пропадет одна! Она даже тех разгонит, кто захочет ей помочь. Ты бы почитала, какое письмо она написала Шурику! Чтобы он не смел ее крестить, если она выживет из ума, как Юдифь... Кстати, ты знала, что Шурик крестил Юдифь?

— Да, — призналась я.

— И как ты на это смотришь?

— Ну... если им так лучше...

— Но объясни мне! Неужели обязательно было принять чужую веру?! Я атеистка, у нас семья была не очень религиозная, но даже меня это как-то... обижает. Все-таки Юдифь была дочерью раввина...

— Мне трудно судить, тетя Маня... У них все обстояло так ужасно... А теперь Шурик пишет, что Юдифь нельзя узнать, что она стала мягче, спокойнее.

— Ну-ну, — сказала Манечка. — Надеюсь, это так и есть, но что-то не верится.

На самом деле Манечке очень хотелось верить в чудесное перевоплощение Юдифи. Она по несколько раз перечитывала письма Шурика, выискивала среди цитат из Библии упоминания о Юдифи. Пыталась представить себе, как Юдифь, совсем беспомощная, выезжает каждое утро на другой конец города, как ласково встречают ее в церкви, как она стоит со свечкой среди русских старух и поет псалмы, успокоенная, просветленная...

Манечка испытывала к Юдифи нечто вроде зависти. В существовании Юдифи вдруг появились цель и смысл, которые исчезли в Манечиной жизни с тех пор, как ей стало не под силу ездить на кладбище к Сашеньке. Она ждала приезда Юдифи с какой-то непонятной надеждой и злилась на Фридочку, которая говорила, что Юдифь исправит только могила, что она просто подражает Шурику, как подражала ему всегда и во всем — даже «акать» начала, когда он переехал в Москву...

В день приезда Юдифи было пасмурно. Такси подогнали к самому палисаднику. Шурик вывел из машины мать и усадил ее на Манечиной табуретке. Манечка и Фридочка с ужасом созерцали Юдифь, не решаясь подойти ближе. Ни обмен квартиры, ни пенсия, скопившаяся за год на почте, не казались им достаточной причиной для того, чтобы сдвигать с места эти рассыпающиеся останки.

Пока Шурик доставал из багажника чемоданы, Юдифь задремала. Большая голова ее косо повисла, как у мертвой птицы, руки касались земли, и казалось, что все это кое-как прищиплено, приколото к большому коричневому пальто. Из глубокого разлома воротника вслед за полосатым шарфиком поспешил выбиться наружу маленький медный крестик.

Шурик жестом успокоил Манечку и Фридочку и понес чемоданы в дом. Закапал дождь. Юдифь приподняла голову, удивленно скосилась на Манечку и прошамкала: «А-а! Это ты, Клара!» И Манечка поняла, что ее ожидания, надежды — все это было пустое.

На следующий день голос Юдифи разбудил Манечку еще до того, как Фридочка включила транзистор. Слышно было, как Юдифь препирается с Шуриком: тот не хотел брать ее с собой на утреннюю службу. Крепкий холодный дождь ломал иконьскую листву, наводил на безумные мысли о скорой зиме. Манечка боялась совершить по своему незнанию какую-нибудь бестактность. Вставать не хотелось. Непонятно было, с чего начинать этот пугающий день. Пока она колебалась, ушел Шурик. Юдифь затихла. Закряхтела Фридочка и потянулась к приемнику. Манечка приложила к губам палец, и сестра послушалась, убрала руку. Но тут же за дверью раздалось бормотание Юдифи, а затем ее пение — резкое и неожиданно сочное. По перепадам голоса можно было догадаться, когда она кланяется и крестится.

Фридочка и Манечка долго стояли под дверью, не решаясь пройти в ванную. Боялись снова столкнуться с этим непонятным огрызком Юдифи, который так испугал их вчера...

Но в то утро выпавшаяся Юдифь их сразу узнала. И вообще рассуждала довольно разумно. Хвастала внуком, целовала его фотографию. Но длилось это недолго. Она вдруг понесла околесицу. Что отец Сережи — не Шурик. Что Ира ворует у нее чулки и лифчики. И даром Фридочка толковала ей про восьмой ее размер, непригодный для тоненькой Иры, которой и нулевки хватит. Влажный взгляд Юдифи лучезарно светлел, без помех уходя в прошлое и извлекая оттуда один за другим все сношенные ею за восемьдесят пять лет лифчики.

— Голубой атласный, черненький с желтой отделочкой... — загибала Юдифь пересохшие пальцы. — Куда они делись?

— С желтой отделочкой! Да ведь это я тебе еще до войны подарила! — попыталась просветить ее Манечка, но Юдифь не слышала.

— А когда я пожаловалась Шурику, он избил меня! Вылил мне на голову борщ! повалил на пол и бил! бил стулом! — голос ее разросся почти до прежней своей мощи. — И это после того, как я предала ради него отца и мать! Предала своего Бога и стала молиться его Иисусу Христу! А он же убивал наш народ, жег нас на кострах, в газовых камерах!

— Ты с ума сошла! — испугалась Манечка. — Если Христос действительно жил на свете, никого он не убивал!

— И ломаться перед нами нечего, — добавила Фридошка. — Никто не тащил тебя креститься насильно!

— А что же мне оставалось делать?! — затрясла воздетыми руками Юдифь. — Это вы можете делать, что хотите, у вас детей нет! Не могла же я допустить, чтобы после смерти меня направили в одно место, а моего ребенка — в другое!

И ясно было, что для Юдифи эти «разные места» так же реальны и обыденны, как какие-нибудь два кабинета в конторе.

— Ей можно только позавидовать! — говорила Манечка, разбалтывая в чашке сахар.

Был вечер. Юдифь давно уже спала, и они сидели вдвоем на тесной кухне.

— Конечно! — горячился Шурик. — Как же иначе? Как можно кончать жизнь без Бога?!

— К сожалению, мы не верим, — вздохнула Манечка, и они с Фридошкой как-то одинаково понурились.

— Но какой же тогда во всем этом смысл? — Шурик даже привстал, и длинные тени его рук беспокойно задвигались по Манечиным полкам с тарелками и чайничками.

— Не знаю, — сказала Манечка. Она обвела ласкающим взглядом свою посуду, цветастые занавески, темные ветви вишен, мающиеся за окном. — Не знаю, какой еще нужен смысл. Мне всегда хватало того, что я вижу...

— Ну, ты — вообще явление особое, — на мгновение смягчился Шурик. — Но подумай о других. О Фриде. Насколько ей было бы легче, если бы она надеялась, что после смерти соединится со своими девочками!

— Да, — вздохнула Манечка. — Но как можно в наши годы измениться? Вдруг поверить во что-то никем не доказанное... Тем более, что я биолог...

Фридошка сидела молча, опустив глаза, — так, будто поручила сестре говорить и за нее, за Фридошку, будто и она, Фридошка, биолог...

— Но сейчас ведь и многие ученые занимаются этой проблемой! Я читал об этом целую книгу — о людях, которые пережили клиническую смерть. Все они говорят, что там их встречали умершие близкие.

— Я думаю, что это галлюцинации умирающего мозга, — задумчиво сказала Манечка. — Что-то наподобие сна. Но если жизнь кончается именно так, этому можно только радоваться...

— Я не хочу с тобой спорить, Маня. Я просто пришло тебе статью на эту тему. У меня где-то должна быть «Литературка»...

Эти беседы, мало чем отличавшиеся одна от другой, повторялись изо дня в день всю неделю, пока Шурик оформлял переезд Юдифи в Москву. Манечка и Фридошка очень устали. От агитации Шурика, от бреда Юдифи, от двух раскладушек и даже от пирогов. Манечка осталась недовольна своим коронным тортом «Роза», а у Фридошки подгорел целый лист ее

«палочек». Обе, не сознавая себе в этом, с нетерпением ожидали отъезда гостей.

Как раз в тот день погода наладилась. Во дворе появились дети. Похоронной стайкой окружили они распахнутое насквозь такси. С пугливым любопытством смотрели, как Шурик выводит из парадного дремлющую Юдифь, как умиливает ее на заднем сидении и подпирает сумками.

Манечку огорчало, что заботливость Шурика лишена тепла. Впрочем — не было в нем и тени прежнего раздражения. Как бы то ни было, Шурик увозил Юдифь, а Манечка стояла в воротах и махала им вслед рукой. Почему-то ей казалось, будто секунду назад выехали из ее двора не только Шурик с Юдифью, но и Ким с Миррой, и дети Кима... Только едут они в разные стороны: одни — в Америку, другие — в то самое место, о котором так обыденно толковала Юдифь. И казалось еще, что место это куда ближе Америки. Где-то за углом.

Манечка постояла и направилась к своей табуретке. Фридошка уже заняла свое место. Она изучала дырявую «Литературку», которую Шурик обнаружил накануне, собирая вещи Юдифи.

Обе уже прочли статью, о которой говорил Шурик, но теперь Манечке захотелось перечитать ее в спокойной обстановке. Она села и стала ждать. Манечка не торопила сестру. Через несколько минут Фридошка задремала, и Манечка подхватила газету, сползающую с ее колен.

На самом деле Фридошка не спала. Она думала. О том, что хорошо бы ей умереть первой. Не дожить до позорной дряхлости Юдифи. Не хлопотать на Маниных похоронах. И дать ей возможность прописать в квартире своего алкоголика-приемыша. Ведь она только о том и мечтает, чтобы возиться с его детьми! А у Фриды есть свои. И скоро она их увидит. Пусть это будет всего лишь одна минута, но скорее бы она наступила. Ничего ей больше не надо — только разглядеть во всех подробностях эти ненаглядные личики. Она боялась только, как бы ей не помешали посторонние. Набегут, поднимут шум... и не от любви, а ради приличия... Генрих, Сашенька, Анчил... А у нее всего одна минута. Хотя... Если времени отпущено больше, Анчила она хотела бы увидеть. И родителей, и Муню. Правда, на счет Муни у нее были сомнения. Ясно, что он вернулся к своей первой жене и детям. Захочет ли он явиться Фридошке? Как посмотрит на это его жена? Что ж, в крайнем случае явится Яков Скрипник. У Манечки и того не будет. Впрочем, с Натана станется притащиться со всей семьей...

Только бы Маня не очутилась там первая! Она с ужасом представила себе эту картинку: Маня идет ей навстречу, держа за ручки детей, и на всех троих одинаковые платья. С белыми цветами на лимонном фоне...

Да и для Мани было бы лучше, если бы Фрида оказалась там раньше. Фрида разыскала бы Иосифа, а главное — его жену, и объяснила бы ей, как все было в тот день, когда они бежали из Каменца. Что Маня никак

не могла успеть заехать и за Фридой, и к ним, на другой конец города. Тем более, что мост уже бомбили. И что если Маня и виновата перед кем-то — то только перед ней, перед Фридой.

Интересно, что Манечка в это время думала приблизительно о том же. Только она не могла решить, кого обвинит первым. Нельзя же обнять всех сразу... Или они сами будут подходить к ней, по очереди? Она знала, что и Натан, и Аркадий Исаакович предпочтут ее своим женам, но собиралась уговорить их вернуться к семьям.

Боялась Манечка только одного: что Фридошка окажется там раньше и не даст ей как следует приласкать детей. С нее станется и вовсе их где-нибудь спрятать.

Манечка успокаивала себя тем, что все-таки она старше сестры на целых шесть лет. Но, поглядывая сбоку на дремлющую Фридошку, она с неудовольствием отмечала, что та выглядит старше, рыхлее, беспомощнее. Так что все может случиться...

Вот так они и скоротали остаток жизни, ревниво отмечая одна в другой признаки одряхления. Фридошка считала, что Манечка нарочно моет на сквозняке окна и без конца подметает полы, низко согнувшись, так что лицо ее становится темным от приливающей к голове крови. А Манечке казалось, что Фридошка назло ей мало двигается и ест слишком много этих самых презируемых ею компотов и солений.

Но первой умерла все-таки Манечка. Еще в час ночи она объясняла соседке, как спасти сорвавшие крышку огурцы. А в пять утра Фридошка застала ее, уже холодную, на коленках перед диваном. Видно, она начала стелить постель, но успела лишь набросить простыню. На эту простыню она и легла лицом. Поворачивали ее со страхом: боялись, что придавленное лицо искажено. Но оно оказалось совсем как живое. И даже больше: никто никогда не видел Манечку такой вдохновенной и счастливой.

Фридошке совсем не пришлось хлопотать. За ней ухаживали, давали валерьянку, когда она начинала кричать. Но что она кричит, о чем бормочет, никто не пытался понять. Не до того было. Вокруг уже слагалась и расцвечивалась подробностями история о Манечиной смерти. Оказалось, что в последний день она чуть ли не каждому успела сказать какие-нибудь приятные и особо важные вещи. Выбила коврики. Навестила слепую учительницу Анну Филипповну, занесла ей обед в баночках и кусок замечательного лимонного рулета. Вспомнили, что утром она угощала этим же рулетом детей во дворе. Смущенно спрашивали у Фридошки, не осталось ли записанного рецепта.

— Она все держала в голове, — безразлично отвечала Фридошка. — Но мне и не нужны ее рецепты. Пироги я печь не собираюсь. А чисто у меня будет. Не хуже, чем у Мани, — пообещала она, как девочка, решившая со среды вести себя хорошо.

— Крепитесь! — говорили ей невпопад. — Выражаем свои глубокие соболезнования! — И торопились к Манечке.

Манечка лежала среди комнаты, нарядно причесанная и одетая в американскую белую блузку с богатыми рюшами, среди горы роз и гладиолусов. Потом цветам стало тесно в доме, их начали ставить на лестнице, во дворе, на Манечиной и на Фридошкиной табуретках.

Людей собралось так много, что не хватило трех присланных гороно автобусов. На кладбище плакали, говорили о Манечке простые хорошие слова. Фридошка стояла в центре толпы, раскорячив толстые ножки, поджав к спине локотки, и редко моргала, занятая собственными мыслями. Она смотрела на счастливое лицо, с которым сестра уходила от нее, и все гадала, к кому же была обращена эта радость. Ей казалось, что для такой радости встреча с двумя маленькими девочками — причина все-таки недостаточная. Фридошка по очереди подставляла одного за другим: Натана, Анчила, маму, Сашеньку... Нет, это был кто-то другой, и Фридошка не могла понять, кто именно.

Когда Шурик привез ее домой, было еще совсем светло. Солнце как раз начинало опускаться, и это был самый красивый час для Манечиной комнаты. Пестрые коврики, тумбочки, вазочки вовсе не выглядели сиротами. Они, как и прежде, нежились в покое и тепле, и, как прежде, плавали между ними вуалевые рыбки Натана.

Теперь все это принадлежало Фридошке. Но внутри у нее что-то шевелилось, саднило неприятным предчувствием. Что-то очень похожее она испытывала давным-давно, в тот день, когда мать, не выдержав хриплого плача Фридошки, сняла с буфета и протянула ей Манекиного плюшевого мишку. Фридошка ясно вспомнила, как все это было. Как Манечка сгибалась от рыданий. Как она толковала о своих обделенных будущих детях, которые так на этого мишку рассчитывали...

И вдруг Фридошка поняла то, что мучило ее весь день. Конечно же, это были не Лилечка и Симочка. И не Натан. Это Манекины нерожденные дети всей гурьбой бежали ей навстречу, это им открыла свои объятия Манечка! И Фридошке так захотелось их увидеть!

Она протянула еще полгода. Сидела на своей табуреточке. Ждала. К ней часто заходил настырный Иося. Фридошка охотно угощала его соленьями и компотами, но в квартиру так и не прописала. Хотя временами, особенно в сумерки, ей бывало жутковато одной в двух комнатах.

Манекины приятельницы и ученицы по очереди навещали ее. Они полагали, что делают это в память о Манечке, хотя на самом деле беседы с Фридошкой доставляли им своеобразное удовольствие. И только предвзятое отношение не давало им оценить по достоинству неожиданные проблески ее трезвого ироничного ума. Впрочем, эти проблески становились все реже. Она будто засыпала, глубже и глубже день ото дня.

Вызванный телеграммой Шурик застал ее уже без сознания, и созревшая в поездке отчаянная его готовность забрать тетку в Москву пропала даром. Около недели он помогал Берте переворачивать ее набок и вытаскивать мокрые простыни. Ел безвкусные супы Берты и слушал ее расска-

зы о том, как угасала Фридо́чка, как она начала заговариваться, и забыла, что Манечка умерла, и без конца бубнила какую-то чепуху: что все, дескать, будет хорошо и что Манечка все устроит, как надо.

Шурик в объяснения с Бертой не вступал. И позднее, вглядываясь в мертвое лицо тетки, пытался угадать, как же они встретились, Манечка и Фридо́чка, какова же была развязка этой длинной горестной истории. Но лицо Фридо́чки ничего не выражало.

Оно было так же непроницаемо, как в тот светлый летний вечер, когда маленькая и толстоногая, со злополучным кружевным воротничком, сдернутым набок, она стояла одна, на чужой улице, по пояс в лопухах...

Похороны были самые скромные. Шурик попытался описать их Киму поподробнее, но его рассказ уместился на половине странички. Он не стал заполнять чем попало оставшееся место, так как совсем недавно отправил в Америку большое письмо.

Вениамин Блаженных СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ



— Здравствуй, мама! — скажу я спустя полстолетия, —
Вот мы снова с тобою сидим-говорим,
И прекрасно пристроены все твои дети,
Кто в раю, кто в аду, только каждый незрим.

И никто о незримых не вспомнит, не спросит,
Каково им теперь без родного лица...
Может быть, стал травой Прекрасный Иосиф
И пасется на травушке свежей овца.



Какой огромный мир я получил в подарок
От нищего отца: и посох, и суму,
И праведной свечи копеечный огарок,
И на исходе лет — узилище-тюрьму.

Как будто он, отец, владел землей и морем,
Как будто он дарил кому-то города, —
Ну, а меня решил порадовать он горем —
Наследство хоть куда...

Какой огромный мир я получил, как щедро
Меня поила даль скитальческих тревог,
Когда я на ветру шел грудью против ветра
И за меня в пути рукой держался Бог...

Он тоже мне отцом завещан был в наследство,
Скиталец, Вечный Жид, не нужный никому,
Тот, на кого мое посматривало детство,
Как смотрят на чуму...



Вот я сижу на ступеньках крыльца,
Мальчик встревоженный и бледнолицый,
Я ожидаю прихода отца,
Должен откуда-то он появиться.

Должен отец появиться в свой срок,
Мне на ладони ладонь его ляжет...
Если в пути задержал его Бог,
Мне и об этом отец мой расскажет.

С Богом беседует он неспроста...
Я замечаю: отец мой все чаще
Шепчет сладчайшее имя Христа...
Люди кивают тревожно: — Пропащий...

Это они говорят об отце...
Что они скажут, когда без опаски
Он подойдет к ним в терновом венце?..
Это ведь был, а не глупые сказки.

Это ведь Бога завещанный дар,
Это ведь вечности дар несравненный, —
Все потому, что он «Михеле-нар»,
Все потому, что отец мой блаженный.



Время все на свете делает седым...
Даже этот русский паровозный дым.

Версты-перегоны, и на всем пути
Грустные ладони, горькое прости...

Чье-то обожанье, отрешенный жест,
Все мы уезжаем от родимых мест.

На свою погибель, на свою беду
Подгоняем время и спешим в бреду.

— Всемогущий Боже, я уже согбен,
Не хочу я больше в жизни перемен.

Дай мне засидеться на развилке шпал
Где-то возле детства, где еще я мал.

Уведи меня ты в невозвратный сон
В стороне от спешки бешеных времен.

Мальчик на рогожке спит, как добрый пес,
Лапкой моет кошка розоватый нос.

Легкими стопами рассекая тьму,
Где-то бродит мама, говорит: — Ау...

И блуждают души... И отец в окне
Всех зовет на ужин, чем-то машет мне.

Чем же он мне машет, «Михеле дер нар»,
Почему стоит он, как какой-то царь?..

Он зовет на ужин всю ватагу душ,
Он припас им грушу, он отец и муж.

И бредут, могилы наспех побросав,
Старший брат Иосиф, средний — Исаак.

Из травы вечерней возникаю я...
Наконец-то вместе вся наша семья.



Мне приснился мальчишеский Витебск.
Я по городу гордо шагал,
Словно мог меня в Витебске видеть
Мой земляк сумасшедший — Шагал.

У Шагала и краски, и кисти,
И у красок доверчивый смех,
И такие веселые мысли,
Что земля закипает, как грех.

Бродят ангелов смутных улыбки,
Разноцветные крылья у кляч,
И наяживает на скрипке,
И висит над домами скрипач.

И Шагал опьянен от удачи:
Он клянется, что внешний мой вид
На какой-то свой холст присобачит,
Только лик мой слегка исказит.

И прибавит и сажу, и блажи,
И каких-то загадочных чар,
И я буду похож на себя же,
И на всех дорогих витебчан.



Ждет отец счастливых дней —
И окурок робко тушит...
Божий страх и божий гнев
Окрыляли ему душу.

С этой нищенской душой,
Что томила на полсвета,
Был соседям он чужой,
Сам чуждался он соседа.

Уходил бродягой в лес,
Было дико и нестрашно...
Появлялся интерес
К самым крохотным букашкам.

Свет таинственный сверкал,
Огневела даль заката...
Кто-то душу умыкал
Мощной дланью Супостата.

И тогда являлся в лес
Местечковый ветхий ангел...
Исчезал могучий бес,
А отец стыдливо плакал.

Ангел в небо его звал —
И груди касался хилой...
Ветерочек обвевал
Горемыку Михаила.



Воскресшие из мертвых не брезгливы,
Свободные от помыслов и бед,
Они чуть-чуть, как в детстве, сиротливы
В своей переменившейся судьбе.

Вот мать; ее постигла та же участь —
Пропел ей смертный каменный рожок...
Испытанная бедами живучесть
В певучий рассыпается песок.

Вот мать; в ее улыбке меньше грусти;
Ведь тот, кто мертв, он сызнава дитя,
И в скучном местечковом захолустье
Мы разбрелись по дням, как по гостям.

Нас узнают, как узнавали б тени.
Как бы узнав и снова не узнав...
Как после маяты землетрясения,
У нас у всех бездомные глаза.

Но почему отец во всем судейском?
На то и милость, Господи, твоя:
Он, облеченный даром чудодействия,
Кладет ладонь на кривду бытия.

А впрочем, он кладет ладонь на темя —
И я седею, голову клоня
В какое-то немислимое время,
Где ни отца, ни мира, ни меня.

О, сухо каменеющие лики!
...Смятение под маской затая,
Воскресшие из мертвых безъязыки,
Как безъязыка тайна бытия.

Селим Ялкуп

Селим Исаакович Ялкуп — киевский врач и писатель. Предложенные редакции рассказы написаны им после поездки в Израиль, который произвел на автора, как принято говорить, неоднозначное впечатление.

ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

У меня было три тетки. Они вспоминаются все вместе, объединенные родством, как цветы в полевом букете, так что скромное цветение каждого усиливает и оттеняет окраску всех остальных. В отдельно взятой судьбе всегда, как кажется, царит случай. Только сопоставив ее с другими, особенно родственными, видишь, что закономерность прячется, как тень, позади случайности, то становясь заметной в беспощадном свете сравнения (тогда мы говорим: этого и нужно было ждать), то исчезая, казалось бы, бесследно, когда критерий для сравнения отсутствует.

Старшая из теток недолго была замужем. Она состояла в партии с двадцать седьмого года и была человеком идейным. Между разводом и партийностью существовала, надо думать, определенная связь. Идеологическая одержимость не знает компромиссов. Она ориентирована на мир героев и соратников по борьбе, в котором мужу с его мелкими слабостями и вульгарным аппетитом просто нет места, как персонажу сказки про доверчивого козлика в поэме Гомера. Различие жанров делает несоизмеримым масштаб действующих лиц. Своего единственного сына Леонида тетка воспитала в том же негиблом духе. Я смутно помню его лейтенантские погоны и уважительное (с голоса родственников) название войск — пограничник. Он, очевидно, был хорошим служакой и много лет отбыл на Камчатке и Курилах. Там, в вечной мерзлоте, еврейская национальность не помешала ему дорасти до майора и даже послужила (зная Леонида, я уверен, что именно так и было) дополнительным стимулом в повышении боевой и политической подготовки. О его сыне — моем племяннике этого никак не скажешь, но речь сейчас не о нем.

Две другие тетки были беспартийными и имели мужей. У одной — Давид, у другой — Лазарь. У Давида в то время, о котором пойдет рассказ, родилась девочка Лина, а у Лазаря такое же событие должно было случиться буквально на днях. Забегая вперед, скажу, что это был Виктор — мой двоюродный брат. Так обстояли семейные дела в августе сорок первого года, когда им нужно было эвакуироваться. Собрались все, кроме тетки-коммунистки, которая отправилась рыть окопы. Уговаривать и гнать ее было не нужно, пошла добровольно, как только позвали, и теперь в городе отсутствовала. А уезжать нужно было немедленно. Штаб военного округа, где служил мой отец, срочно снарядил эшелон для се-

мей сотрудников. Были места, и отец помог родственникам устроиться, причем комфортабельно — всем вместе в одно купе. В отдельный вагон загрузили продовольствие. Штаб выделил со своих складов. Может быть, безнадежная судьба города была известна штабным лучше, чем всем остальным, или сыграли роль родственные чувства, в общем, продуктов не пожалели. Среди общей паники и неумолимо надвигающейся беды они оказались устроены так, что можно было только мечтать. Оставалось выбраться из города.

Погрузились и сидели в вагонах неотлучно. Эшелон мог отойти в любой момент. Дело было днем, мост через Днепр раз за разом бомбили немцы. Приходилось выжидать, чтобы проскочить его между налетами. Паровоз был под парами. В вагонах стояла страшная жара. Только бы немцы не разрушили путь. Тут на станции загремел репродуктор и объявил, что все мужчины девятьсот пятого тире девятьсот десятого года рождения подлежат мобилизации и должны явиться в военкоматы по месту жительства. Давид и Лазарь были в этом временном промежутке. Они сидели друг перед другом рядом со своими женами и наспех собранными вещами и слушали, как репродуктор раз за разом попадает в даты их рождения с точностью, которой не хватило в тот день немецким летчикам. Мост впереди уцелел, дорога была открыта. Репродуктор еще долго хрипел, прежде чем отключился.

Давид встал, потер ладони одна об другую, будто разогревал их перед работой, и стал вытаскивать на свет чемодан. Он был рабочим на мебельной фабрике и успел укрепить чемодан металлическими уголками.

— Ты что? — тихо спросил Лазарь.

— Как что? Ты разве не слышал? Нужно идти. Я удивляюсь, что они нас до сих пор не позвали.

— Куда идти? — заволовался Лазарь и выглянул в коридор. Места были заняты плотно. Слышали все, и их ровесники, наверняка, были и тоже слышали, но никакого движения не ощущалось. Ни звука вокруг, приходилось разговаривать вполголоса.

— Куда идти? — драматически повторил Лазарь. — Мы же уже едем. Едем.

— В военкомат, — упрямо сказал Давид. — Ты же слышал.

— Ненормальный. Какая разница, что я слышал. А если бы я не слышал. Если бы я в туалете был. Или спал. Я очень хочу спать. Если бы не эти бомбы, мы бы уже были там. — Лазарь махнул рукой, показал направление. — Так что, мы виноваты? Нас здесь нет. Ты же видишь, все сидят. Никто никуда не идет. Сколько среди них девятьсот пятого года. Я тебя уверяю.

— Но мы пока здесь, — возразил Давид. — Слушай, я тебя очень прошу. Ты должен остаться. Мужчина обязательно нужен, — он показал на жену, застывшую в странном оцепенении, погладил по голове дочку и кивнул в сторону второй тетки — жены Лазаря. Та сидела, откинувшись,

уперев руки в скамью. Большой живот мешал ей дышать, к тому же — жара, не хватало воздуха. Виктор должен был появиться со дня на день. Давид оглядел четырнадцатилетнего Леонида, который был готов оспорить слова об отсутствии мужчин, но сам говорить ничего больше не стал. Теперь он задумался над чемоданом.

— Ладно, — решил. — Ничего брать не буду. Домой заскочу, а там они дадут все, что нужно.

— Но мы уже едем, — сказал Лазарь с отчаянием. — Ты что? Послушай, у меня идея. Давай подождем полчаса. Если будем стоять, я с тобой пойду. Точно пойду. Договорились. Так или нет?

— Будьте здоровы. — Давид показал, что вопрос решен, поцеловал дочку, а задвигавшуюся жену остановил рукой. — Не ходи за мной. Вы езжайте. Скоро все кончится, через несколько месяцев, я уверен, встретимся.

— Я совершенно мог этого объявления не слышать, — сказал Лазарь, ни к кому не обращаясь, когда Давид вышел. — Я уже давно мог спать. Как только мы переедем мост и не будем нервничать, я лягу. А что еще делать?

И тут же тронулись. Так быстро, что успели увидеть последний раз Давида, он сосредоточенно шел по тропинке рядом с насыпью. Пыльное окно было почти закрыто, он не разглядел их. Встал и махал кепкой, пока эшелон не прошел.

Больше Давида никто не видел, кроме дедушки. Давид зашел к нему попрощаться по дороге в военкомат. От Давида дедушка узнал, что наши уехали благополучно. Все это он написал в единственном письме, отправленном до того, как в город вошли немцы. Дедушка сообщал, что в городе спокойно, много продуктов, и он иногда сомневается, стоило ли уезжать. За себя же он точно рад, что не поддался на уговоры. Тем более сейчас, когда начала спадать жара, бабушка чувствует себя намного лучше, и они, освободившись от заботы о детях, все время проводят вместе. Бабушка болела сердцем и, как выяснилось позже, спустя несколько лет, успела умереть своей смертью. А дедушка почти сразу после похорон отправился на сборный пункт, куда немцы созывали всех евреев для окончательного решения их вопроса. Дедушка был набожным человеком, когда-то он даже преподавал по воскресеньям в еврейской религиозной школе. Я думаю, он собирался спокойно: дети успели уехать, жена умерла. Иегова позаботился, чтобы избавить его от тревоги за близких, а Его волю он готов принять с благодарностью.

Дедушкино письмо, так же как единственная открытка от Давида, пришли до востребования в конечный пункт назначения эшелона. Почта тогда в военное время работала лучше, чем сейчас, в мирное. Давид сообщал, что его определили солдатом, вот-вот будут отправлять, и теперь он, зная, что семья в безопасности, совершенно спокоен за будущее. Эта открытка сохранилась. Чернила порыжели от времени и стали похожи,

как ни банально звучит, на запекшуюся кровь. Вместе с открыткой Лина хранит справку из Министерства обороны — ответ на запрос, где сказано, что ее отец действительно служил в воинской части за номером таким-то и пропал без вести. С открыткой Лине повезло. Там был указан номер полевой почты. А иначе — иди докажи. Так бы Давид и ушел с поезда бесследно.

Тетка, которая рыла окопы, успела выскочить из города буквально под носом у немцев. Она оказалась в Астрахани, куда перебрался и ее сын Леонид, прежде чем подошло его время отправляться на войну. Он успел, захватил три последних месяца. Остальные жили на Урале. Лазарь остался единственным кормильцем, тетки работали попеременно — нужно было нянчить детей. Так что прощальный наказ Давида Лазарь выполнил сполна. На производстве Лазарь сначала был рабочим, но потом выдвинулся и стал начальником участка по производству козырьков для офицерских фуражек. Нужно производство, хотя и не первое, которое приходит в голову при мысли о войне.

Настоящий успех пришел к дяде Лазарю после войны, когда все родственники вернулись из эвакуации. Он стал фотографом. Я думаю, то было озарение свыше. Зная беспокойную натуру дяди Лазаря, ничего лучшего придумать было невозможно. Он неплохо зарабатывал и без конца влюблялся в женщин, которых фотографировал. Мне кажется, он готов был работать бесплатно. Это был непрерывный волнующий процесс, в котором работа с пленкой, реактивами, фотобумагой служила второстепенным дополнением к самому творческому акту, досадной данью за высокие минуты вдохновения. Главное было, конечно, в самих моделях. Тут дядя Лазарь намного обогнал время. Вся витрина его заведения была сплошь завешана фотографиями хороших женщин. Теперь на месте этой витрины стоит огромный дом со скульптурами муз, наклепанными на пустой фасад, а тогда эти места были непарадными, затертыми долгими годами прозябания (дома тоже, как и люди, прозябают в безвременьи), безликими. Давным-давно некрашенные неопрятные дома с сырыми подворотнями и встроенными между ними деревянными павильонами, сапожными будками, приемом старья и именно тут застекленной рекламной витриной на заборе, без всяких современных претензий на шик и дизайн. Те давние фото были как будто прообразом нынешних муз, буквально, на том же месте, сотворенные вдохновением. Как человек, подправлявший самого Творца, дядя Лазарь, бесспорно, мог считаться художником. Он сам, кстати, никогда в этом и не сомневался. Витрина пользовалась успехом, *сняться* у дяди Лазаря считалось делом престижным. Он был тонкий знаток и психолог. На портретах женщины сидели (единственная поза, которую тогда можно было вообразить) удивительно разные, кокетливые, неприступные, надменные, улыбчивые, со строгими косами, уложенными венчиком вокруг головы, с легкомысленным перманентом, с короткой прямой стрижкой, открывающей шею, вернувшей довоенную

моду после трофейных фильмов и одного нашего отечественного. «Секретная миссия», если помните, где холодная красавица в эсесовской униформе оказалась трогательной московской комсомолкой и погибла за рулем авто, пытаюсь вырваться из горящего Берлина. Какие то были кадры. На экране — трогательная весна сорок пятого, предвестница новой, безнадежно забытой, мирной жизни. И такая же весна в душе у дяди Лазаря. Он никогда не говорил: «Я сфотографировал, сделал фото, снимок», а только — портрет. *Сделал портрет*. Не иначе. И он был прав.

Можно представить, как точным движением скульптора он брал в свои руки женскую головку, как касался чуткими пальцами щек и розовой мочки уха, как изменял поворот, наклон лица, приближал подбородок к излишне вытянутой шее или, наоборот, удлинял линию, запрокидывая голову, чуть назад и вбок, от чего сами по себе приоткрывались влажные губы, отходил для прикидочного осмотра, вновь возвращался, выдвигал чуть вперед теплое плечико, не забыв отряхнуть с него невидимые равнодушному глазу пылинки, как пощелкивал пальцами над своим ухом, уточняя и пытаюсь зафиксировать переменчивое направление женского взгляда, как последним жестом, уже прикидочно глянув в глазок аппарата, помогал распусть локон на виске, приглаживал его, отстраняя корпусом, ловил перспективу, еще раз проверял свет, накидывал на голову черную попонку и — внимание, снимаю — изящно отводил в сторону крышку объектива, держа на отлете мизинец с артистическим ногтем, тронутым желтизной проявителя. Можно вообразить, как он создавал свою наивную и самоуверенную фотомоделю и тут же влюблялся в нее и погибал, подобно альпинисту, под вызванным им самим снежным обвалом.

То были его звездные дни. Представляю, с какой неохотой дядя Лазарь возвращался по вечерам домой, в убогий флигель, застрявший в ряду таких же двухэтажных и одноэтажных домишек, выстроившихся вокруг большого шумного двора с его корытами, тазами, развешанным бельем, деревянным туалетом в дальнем углу, где все давно знали друг друга до последней картофелины на дне кастрюли с борщом, где он по-соседски почти бесплатно снимал застолья, свадьбы, похороны, где его тонко организованная натура фотомастера должна была уживаться с пролетарской бесцеремонностью какого-нибудь дяди Коли и даже подыгрывать ему во избежание пьяного скандала.

В единственную комнату нужно было проходить через крохотную кухню, где постоянно гудел примус и запах керосина густо висел в воздухе, так как тетюшка не только использовала его по прямому назначению, но и смазывала горло моего брата Виктора, излечивая его этим ненавистным средством от частых ангин. Что может быть досадней и пошлей для переменчивой природы артиста, чем наш убогий послевоенный быт? Теперь мне смутно помнится, что под влиянием настроения дядя Лазарь несколько раз уходил из дома. Тогда в детали меня, естественно, не посвящали, а

сейчас выяснять уже не у кого, да и незачем. Поэтому я вспоминаю те давние события как бы в отраженном свете, через случайно застрявшие в памяти и непонятые тогда впечатления детства, в частности, обиды моего отца, который нежно любил тетушку и не прощал дяде Лазарю романтических порывов. С годами похождения дяди Лазаря, однако, становились все короче, а сезоны постоянного продолжительнее. Достоинства его интересной внешности стали ослабевать, а тетушкины добродетели проявлялись все очевидней, так что путем вычитания и сложения утвердилась крепкая и устойчивая семья. Наконец, как и положено по закону соцреалистического жанра, счастье полностью восторжествовало, и дело завершилось получением новой квартиры, покупкой телевизора, мебели и, главное — кухни, на которой тетушка могла сполна проявить себя как кулинарное умение. Газовая плита сменила примус, как железный конь — крестьянскую лошадку. Это была одна из примет того давнего времени. Мудрая доброта тетушки и умение выслушивать, не перебивая, привели в их дом множество соседей, знакомых, родственников, сотрудников по кинофабрике, где тетушка всю послевоенную жизнь работала монтажницей. С нашей точки зрения, это было прекраснейшее место, где-то на уровне кондитерской фабрики, а для культурных запросов — намного выше. Тетушка приносила Виктору *кадрики* из Тарзана и других выдающихся фильмов, которые мы раскладывали по спичечным коробкам, а потом пускали через проектор на белую простыню, дополняя пробелы в изобразительном материале устным рассказом. Что говорить, — приходили даже бывшие поклонницы дяди Лазаря, и тетушка, поднявшись над былой драмой, давала советы, чтобы, исправив любовную ошибку с ее легкомысленным мужем, они не повторили ее с кем-нибудь другим — более коварным и жестокосердным. Эти интересные подробности рассказала мне Люда — жена моего брата Виктора, красивая русская женщина совершенно славянского типа. Русоволосая, сероглазая и к тому же учительница русского языка и литературы. Люду Виктор привез из Калининграда, где отбывал срочную армейскую службу. Люда не имела о евреях ни малейшего представления, и первое, оказавшееся удачным, мнение сложилось у нее в результате общения с Виктором. Тетушка закрепила успех. В результате совместной жизни с ней Люда стала горячей защитницей еврейского народа. В школе, где она работала, ближневосточной проблеме уделялось немало внимания, а Людино мнение о евреях отдавало, по мнению некоторых, махровой сионистской пропагандой. Короче, Люда под влиянием тетушки *объевреилась*.

Спустя много лет я встретился с дядей Лазарем в больнице, куда его привезли с желудочными коликами. Подозревали пищевое отравление, нужно было подержать дядю Лазаря пару дней, понаблюдать с пятницы до понедельника. Дядя Лазарь лежал в коридоре. Привезли его *по скорой*, а в таких случаях привередничать не приходится, кладут на первое попавшееся место. В субботу я дежурил по больнице и заглянул к нему.

На дяде Лазаре была шелковая китайская пижама, называвшаяся *Дружба*. Под ней обнаруживалась голубая майка, чуть несвежая, как бывает, когда больного увозят из дома внезапно, неподготовленного. Мягкий живот дяди Лазаря зарос курчавыми волосами и легко поддавался нажиму моих пальцев. Боли он не испытывал, хотя внимательно прислушивался к перемещениям моей руки, как будто мы вместе общими усилиями искали нечто важное там внутри, и, пока я проводил инспекцию, он контролировал результаты органами чувств.

— О, здесь немного болит, — быстро сказал дядя Лазарь, чтобы я не проскочил нужную точку. Моя рука ушла глубоко, почти под грудину. — О, здесь болит. А ну, нажми еще раз. Да-а. Здесь немного болит.

— Все будет в порядке, — сказал я твердо. Мою уверенность следовало передать сейчас дяде Лазарю. Он бдитительно следил за моим лицом, пытаюсь уловить следы сомнения в благополучных результатах осмотра.

— Ты думаешь, ничего нет?

— Все в порядке, — я похлопал его по животу, натянул майку и запахнул пижаму. — Это вы что-то съели.

— Но откуда оно может быть? — Теперь, когда опасность миновала и приобрела новый сладостный оттенок счастливо заверщенного приключения, дядя Лазарь не хотел расставаться с темой.

— Ну, мало ли, — я старался, чтобы мои слова не выглядели чересчур легкомысленно и, вместе с тем, не заронили тревоги за будущее. — Съели, наверно, что-нибудь.

Дядя Лазарь лежал трогательно беспомощный, распластанный на спине и доверчиво смотрел на меня снизу вверх. Испуг еще расплывался, таял в его голубых глазах, не желая уходить окончательно. Обычный румянец покрывал щеки, только слева выполз тонкий склеротический паучок. Дядя Лазарь облизывал языком большие влажные губы, выдававшие гурмана и жуира, как будто проверял устойчивость приятного состояния выздоровления, еще не доверяя ему окончательно, как слишком легко доставшейся победе.

— Ты же знаешь, как она готовит, — сказал он, имея в виду тетушку. — А я ничего не ел. Одни сырники.

Опасаясь, что разговор о здоровье выйдет на второй круг и не желая ставить под сомнение кулинарные способности тетушки, я предположил:

— Ну значит, что-то другое. Не обязательно дома.

— Зачем? — удивился дядя Лазарь. — Зачем я буду где-то есть? Кому это нужно? Я тебе говорю, я ел одни сырники. Свежие сырники.

— Может быть, сметана.

— Сметана? — задумался дядя Лазарь. — Нет, вряд ли. Мы всегда берем сметану у одной женщины. Если б магазинная, я понимаю...

Я молчал, источник отравления установить не удавалось.

— Они тоже ели, — сказал дядя Лазарь с легкой обидой. — И она сама ела. И Виктор, и Люда.

— И что?

— То что видишь. Им ничего. А я здесь. Может, что-то другое?

— Самое настоящее пищевое отравление, — сказал я уверенно. — Которое уже полностью прошло.

Дядя Лазарь лежал, не шевелясь, и доверчиво держал меня за руку, поглаживал ее, а когда его рука замирала, я, в свою очередь, похлопывал по ней, подтверждая, что все действительно в порядке. Седые волосы вокруг лысины дяди Лазаря были подстрижены длинее, чем следовало, выдавая былую принадлежность к творческой профессии, и живописно лежали на подушке. В полосатой пижаме дядя Лазарь выглядел благообразным пожилым джентльменом скромного достатка и смахивал, пожалуй, на Господа-творца в изображении Жака Эффеля, только без нимба вокруг головы, который, если честно, он не очень заслужил.

— Все будет хорошо, — мы расцеловались, и я встал. Дело было зимой, началась эпидемия гриппа и родственников к больным не пускали. Как врач, я по-хозяйски переходил из отделения в отделение. Это придавало моему посещению дополнительную значимость. Я представил дядю дежурной сестре и попросил уделить ему максимум внимания.

— Ты еще зайдешь? — спросил дядя Лазарь на прощанье, чуть беспокоясь, на всякий случай. Свой человек, да еще врач в больнице придает уверенность.

Но в понедельник в отделении его уже не было. Он ушел в воскресенье утром под расписку, что снимает с медиков ответственность за состояние своего здоровья. И мы не встречались несколько лет.

Возвращаясь ко второй тетке — жене пропавшего Давида, можно отметить, что ее послевоенная жизнь оказалась совсем небогатой событиями. Замуж она больше не вышла, сама воспитала мою сестру Лину, много лет работала кассиршей в книжном магазине. Оттуда Лине кое-что перепало. Я, как сейчас, помню первое послевоенное издание графа Монте-Кристо — два блестящих ящеричной зеленью тома с золотым тиснением на обложке. Какое это было сокровище. Сама тетушка ничего не читала. Из всей родни она была самой молчаливой, замкнутой, погруженной в себя. В гостях сидела особняком, почти не участвовала в общем разговоре, отвечала, когда спрашивали и тут же замолкала. Казалось, она так бы и осталась сидеть, если бы ее не тормозили перед общим уходом. Говорили, что моя сестра Лина очень похожа на тетушку в молодости. Вообразить себе это совершенно невозможно, так как Лина — человек веселый и шумный. Я думаю, что тетушка так и не смогла распрямиться под грузом своей потери, так и протасила ее сквозь всю жизнь до самого конца. Конечно, очень многие потеряли за войну мужей. И Давид, как видно, все равно в тылу бы не усидел, не зацепился, пошел бы на фронт, и там, вполне вероятно, погиб. Это так. Но то, что она не отстояла его тогда, в те роковые минуты, не загрозила ему путь, не повисла на шее камнем, не сунула ему в руки орущую Лину, не вцепилась

в него, не продержала его те несколько мгновений, которые только и оставались до отправки эшелона, то, что она не сделала этого, а смотрела, не в силах постичь, что он уходит, — это сломило ее раз и навсегда. Все мы с определенного возраста отсчитываем пройденную дорогу назад, до того перекрестка, где судьба могла сложиться иначе, повернуть не туда. У кого-то таких перекрестков несколько, а тетушки оказался только один, и она так и осталась на нем, застывшая в своем несчастье, как жена Лота. Мне кажется, что перед смертью она должна была испытать облегчение, освободившись от воспоминаний о единственном в жизни августовском дне, через который так и не смогла переступить.

Дольше остальных сестер прожила старшая тетушка — коммунистка. Она была добрым человеком. С годами идеология, казавшаяся когда-то главным делом жизни, ушла куда-то в глубину, пощадив нравственный центр личности. Только в суждениях она, пожалуй, оставалась категоричнее остальных. Постоянный конфликт между здравым смыслом и необходимостью нерассуждающего подчинения партийной дисциплине, оказался для нее чем-то вроде самоедского романа, растянутого на многие годы. Она пережила своих сестер, как бы выполняя некий общественный долг, и ушла из жизни, как уходит капитан с мостика тонущего корабля, убедившись, что все возможное сделано. Последние годы она болела, и жизнь явно была ей не в радость.

Наиболее счастливой, бесспорно, оказалась жена дяди Лазаря. Я хорошо помню ее похороны. Был конец зимы. Свежий холмик посреди затоптанного грязного снега наспех обнесли проволокой. Хоронили густо, впритык друг к другу, и родственникам следовало, не мешкая, позаботиться о некотором пространстве вокруг могилы до сооружения постоянной ограды. Столбы и проволоку привез Линин муж. Он обещал сделать и все остальное, на его заводе постоянно выполняли такие левые заказы. Уже надели шапки, рабочие вскинули на плечи лопаты, все потянулись к автобусу. Как вдруг вперед выступил дядя Лазарь. Это было неожиданно. Еще минуту назад он стоял между сыном и невесткой и, казалось, сам нуждался в помощи. Я заметил, что он сильно постарел. Но тут он неожиданно сорвался с места и, оббегая, стал заворачивать назад к могиле.

— Идите сюда, — кричал он. — Идите все сюда.

Он был в страшном, никогда мной не виданном возбуждении. Встал над самой могилой, внутри ограждения, среди влажной, свежевырытой земли, и не видя, не слыша никого вокруг, достал ветхий рассыпающийся еврейский молитвенник, нашел нужный текст и стал читать. Мало кто понимал, наверно, несколько стариков, остальные языка не знали. Но страстность была неподдельной. Читал дядя Лазарь довольно долго, повышая голос почти до крика, потом чуть стихал, разбавляя рыдание задушевной доверительной нотой, шел скороговоркой, просил, страдал, вновь проникался пафосом. Закончил чтение в полном изнеможении. Виктор взял отца под руку и помог переступить через проволоку, вер-

нуться к живым. И сразу, как будто выпрошенное молитвой, вышло солнце, и снежная кладбищенская поляна под высокими соснами зажглась удивительным розовым светом.

Детали дальнейшего пребывания дяди Лазаря в нашем городе я оставляю за кадром. Они, с моей точки зрения, ничего не добавляют к теме. Единственное ощущение, которое можно передать, и так хорошо известно. Нет ничего более унылого, чем пятиэтажки шестидесятых годов с их затхлыми подъездами, сбитой до штукатурки краской на стенах, шербатыми перилами и дверьми под пыльным дерматином с ползушей наружу грязной ватой. Конечно, и здесь у каждого по-своему, но общее впечатление крайне унылое. Здесь тоскливо жить семьей и почти невозможно одному. Время замирает до полной одури и уходит бесследно, не запоминаясь.

Потом дядя Лазарь с семьей сына переехал в Израиль. Он был уже совсем стар и достаточно инертен. Поселились они в Хайфе в живописном арабском районе посреди города над самым морем. Район этот, уходящий с берега в гору, сейчас наполовину пуст. Большинство жителей сбежало во время войны за независимость Израйля и пока не возвращаются, видно, ждут радужных перемен. Но Аллах, озабоченный проблемой всемирной гармонии, мудр и справедлив не только к собственным чадам, и воля его скрыта за пологом неопределенности. Перемены пока явно не предвидятся. Тем не менее, дома берегут. Собственность священна, и дома должны простоять сто лет, прежде чем право прежнего владельца будет считаться утраченным. Самих домов время касается меньше всего. Серые коробки с пустыми черными окнами и частыми небрежными следами пожаров, как будто растекшейся тушью с женских ресниц, они рассчитаны на вечность. Изящество рисунка окон придает благородство аскетичной простоте стен. У здешнего камня достаточно упрямства стоять, сколько потребуется. Поэтому сами дома кажутся одной из форм горного скалистого склона и близкой пустыни, только более точными — наглядным пособием по геометрии, где, как в пирамиде, знаковый элемент тождественен его архитектурному воплощению. Говорят, ровная линия убивает архитектуру. Вот чего здесь не скажешь. Человек одолжил у Бога прямую и пользуется ею, не доверяя причудливой изощренности природы, размечая пространство для бытия, под жилище и кладбище. Земли здесь маловато, но неба хватает на всех. Квартиры в арабских домах без большого комфорта, но весьма дешевые, так что многие эмигранты начинают новую жизнь именно отсюда. По вечерам на улице темно, малоллюдно и неожиданно шумно. Близкий порт оживляет здешнее захолустье, добавляет перца. Сюда сходятся наркоманы и проститутки — публика нервная и горячая, отоспавшаяся за день, жаждущая теперь денег и кайфа. Недоразумения, впрочем, по местной традиции решаются криком, значит, мирно. Из всех возможных неудобств — это самое безопас-

ное и для эмигранта, романтика поневоле, вполне приемлемое. Только окна нужно закрывать на ночь.

В один из вечеров Люда заметила всплывшую над близкой горой ярко-красную звездочку. Пока звездочка, подмигивая, плыла ей навстречу, Люда успела поразмышлять над природой необычного явления, загадала примету (чтобы все было хорошо) и даже позвала Виктора вместе полюбоваться интересным зрелищем (такие маленькие открытия запоминаются и украшают новую жизнь). Но тут таинственная точка застыла, как будто передумав двигаться дальше, и резко пошла вниз. Раздался сильный взрыв. Завыли сирены. Все объяснялось просто. Они приехали в Израиль во время Персидского кризиса, и точка оказалась иракской ракетой, выпущенной по местному нефтеперегонному заводу. Конечно, это можно было предвидеть, но все равно событие вышло неожиданным. Ракета не долетела до цели, упала, к счастью, на пустыре, но шума наделала много.

— Надевай противогаз, — скомандовал Виктор. Как мужчина, он чувствовал повышенную ответственность.

— Ты думаешь? — усомнилась Люда. Внизу под окном суматошно визжали проститутки.

— Надевай. — Частые войны приучили израильтян к нерассуждающей дисциплине, это была важная часть их патриотизма. Каждый должен беречь себя во имя общего выживания. Люде — русской вольной душе привыкать было тяжелее остальных.

— Надо щель под дверью заткнуть мокрой тряпкой, — распоряжался Виктор. — Объясняли ведь.

— Тогда завтра и противогаз наденем, — сказал Саша — сын Виктора. Он рвался в армию и тяготился скучным тыловым бытом.

— Не умничай, — прикрикнул Виктор, раздавая сумки.

— Сначала на стариков, — напомнил Саша инструкцию.

— Правильно. Давай, на деда натягивай. И ты, Люда, кончай курить. А то газ не почувствуем.

Люда выключила свет и приникла к окну. Луна четко разметила черные квадраты тени. Сирена выла, не переставая. Люди метались между домами, внезапно выпадая из света в тьму.

— Папа, слушай Сашу, — прикрикнул Виктор. — Ну что, все надели? — сам Виктор натянул противогаз последним. Некоторое время сидели, глядя друг на друга. Потом дядя Лазарь стал трясти головой, явно пытаясь избавиться от спасительного устройства.

— Папа, — Виктор показал пальцем в окно, а потом себе на уши. Можно было понять так: — Потерпи. Скоро все кончится. Слушай отбой.

Люда что-то говорила сквозь маску, но слова не были слышны. Только зря размахивала руками.

— Ты чего? — жестом спросил Виктор. Люда отчаялась объяснить и сорвала противогаз.

— Как он может терпеть, когда вы ему воздух пререкрыли?

Виктор глянул дяде Лазарю под маску и торопливо повернул вентиль. Видно было, как грудь дяди Лазаря заходила, жадно втягивая кислород.

Тут сирена утихла. Отбой. Противогазы можно было снять.

— Еще в армию собрался, — недовольно сказал Виктор сыну. — Папа, ты как?

Внизу стало шумно, улица оживилась. Полиция была занята в других местах и не мешала здешней счастливой жизни. А повод, как-никак, был хороший.

— Люди веселятся, — отметила Люда с завистью. — Одни мы тут сидим. Да еще в противогасах.

Тревоги повторялись потом каждый день. Ночные девы снялись дружно хлопотливой стаей и отправились в центр города. В море за несколько сот метров встал на якорь американский авианосец, прогулочную стометровку утюжили бравые говорливые матросы. С ними было спокойнее. Но тише не стало. На горе Кармаль, которая амфитеатром опоясывала Хайфу, американцы установили перехватчики. Теперь иракские снаряды засекали со спутников в момент пуска, и ракеты поднимались им навстречу со страшным скрежетом и воем. Сирена, по сравнению с ними, казалась музыкальной и тоже, конечно, не молчала. Гора Кармаль была местом, известным из Библии. Здесь в пещере жил когда-то пророк Илья, известный огненным восхождением на небо. Теперь времена в чем-то повторились. Впрочем, вполне счастливо. Ни одна ракета больше не упала на город. Правда, двое стариков умерли от разрыва сердца, не вынеся апокалиптического грохота. Семья Виктора дисциплинированно надевала противогазы. Хорошо шутится потом, когда тревожные события позади. Наконец, война кончилась, авианосец ушел, и прежние обитатели улицы заняли свои места. Люда открыла окна и стала приводить их в порядок. Первая счастливая примета мира запомнилась ей еще с младенческих времен.

— Будем теперь спать только с открытыми. Боже, как хорошо.

После войны Хайфа украсилась небольшой, но достойной достопримечательностью. За несколько домов от моря в гору, ближе к перекрестку стоит большой камень, скорее, даже кусок скалы, еще водруженный на фундамент. Каменный бок, обращенный к улице, идет гладкими уступами, вполне подходящими под сиденья, даже со спинками, устроиться в них можно вполне удобно. Тем более, что с утра камень находится в тени дома, а вид с него открывается замечательный: прямо — на море, порт, а если сесть боком, приятно ощутив рукой прохладу скальной поверхности, — на перекресток, всегда оживленный в кипении южной толпы. Утром дядя Лазарь выходит из дома. На нем шорты, аккуратный полотняный пиджак, чистая рубашка и жокейская кепка с большим козырьком и белой строчкой — MONTANA. Из-под кепки спаренными зеркалами блестят очки. Дужка чуть ослабла, и очки скошены на сторону, придавая

облику дяди Лазаря небрежный шик. Дядя Лазарь, помогая себе руками, взбирается на самый верх, занимает место и погружается в приятнейшее созерцание. Сначала он провожает взглядом домашних, которые расходятся каждый по своим делам, а потом с терпением натуралиста отдается наблюдению местной жизни. К морю он — человек сухопутный — равнодушен, зато людской поток изучает с интересом, привычно выбирая хорошеньких женщин и провожая их к перекрестку медленным движением головы.

Следом за дядей Лазарем появляется длинный старик-араб в белой бедуинской одежде. Белая накидка на голове перехвачена черным шнурком. При виде дяди Лазаря араб недовольно и громко ворчит. Раньше это было его место. Но будущее, как известно, за тем, кто рано встает, и потому опоздавший устраивается чуть ниже, на уровне сандалет дяди Лазаря. Араб тут же берется за четки и только так успокаивается. Но и сейчас пейзаж еще не полон. Спустя час выходит старуха-арабка, укутанная, как и муж, во все белое, наружу выглядывает лишь темное резное личико состарившейся дамы-пик. С самого утра старуха занята по дому и только сейчас присоединяется к компании. Старик-араб не жалуется и ее, вновь раздражается недовольным кудахтаньем, но жена, как и дядя Лазарь, не обращает на скандалиста никакого внимания. Ей достается место у ног мужа. Теперь композицию можно считать вполне завершенной. Сидят они долго, несколько часов, в полном молчании, никак не интересуясь друг другом. Первым уходит дядя Лазарь. Люда возвращается с курсов (она учит иврит) и кормит дядю Лазаря обедом. Араб тут же занимает освободившееся место и сидит там до самого вечера. Раз в неделю картина меняется. Араб обнаруживает, что тронное место с утра пустует. Это его день, похоже, что он победил настырного еврея. Араб гордо восседает на самом верху, как символ постоянства и долготерпения старой Хайфы. Но на следующий день дядя Лазарь возвращается. В пропущенный день он сдавал (натошак) кровь и мочу на сахар и теперь (с хорошими анализами) вновь занимает свое законное место. Араб ворчит в этот день громче обычного, но потом смиряется. Жизнь — есть жизнь, ее не переспоришь.

МОНОЛОГ

Слушай, сколько лет мы с тобой не виделись? Лет двадцать? Больше? Двадцать два. Да, точно. Я уезжал, Арику было пять лет. Ицык и дочка родились уже здесь. Арик, между прочим, совладелец фирмы. Какой? Химия. Один из Южной Африки имеет с нашими пару заводов. Так Арик входит в правление. А я? Что я имею? Я — простой наемный труженик. Почему? Я тебе могу объяснить. Знаешь, как встречаются двое? Один имеет деньги, другой — опыт. Договариваются насчет бизнеса. Строят,

организуют, вкалывают без выходных. Потом расходятся. Тот, что с деньгами, уходит с еще большими деньгами, а тот, что с опытом... Ты понял? Правильно, с еще большим опытом. Так вот, я тот, что с опытом.

Ладно, чего мы стоим? Поедем ко мне, посмотришь, как я живу. А потом я тебя назад привезу. Покушаем. Кошерное? Нет, кошерное ты будешь есть в другом месте. У меня ты будешь есть все. Кошерное, не кошерное. Главное, чтобы вкусно. Да, Фаина сама готовит. Ты ее помнишь? Сейчас меньше. Нет, аппетит у меня хороший. Но сейчас мы строим третий этаж для дочки. Она хочет жить отдельно. А Фаина хочет, чтобы она была на глазах. Я не вмешиваюсь. Так что мы для нее строим этаж. Выходи из машины. Сейчас на минутку заскочим в этот магазин со стройматериалами. Сейчас я возьму список. Здесь все есть. Палки-шмалки, вешалки. Только если ты будешь останавливаться, мы не успеем. Ой, откуда я знаю, для чего это, для чего то? Это надо стоять, думать. Я тебе говорю, все есть. А чего нет? Я тебе скажу. Нигде нет, это только у вас. Такой кильки, как я когда-то покупал на Подоле. Три копейки — сто грамм. Конечно, я запомнил. Нигде больше не видел. Еще там были пирожки. С требухой. Тошнотики их называли. Здесь их нет. А в Америке есть. На Брайтоне. Сам видел. Их там продавала одна. И, что интересно, в грязном халате. Как будто она в нем приехала. Вот с таким языком. Я стоял, слушал, как музыку. Одному на русском, другому на английском. Мне? Мне на русском. Я еще спрашиваю, как вы различаете, кому на каком. А она: посмотрите на себя. Что, здесь нужно специально догадываться? Так что пирожки были. А кильки там тоже нет. Как ее еще звали? Хамса? Во-во, правильно.

Я тебе расскажу, в Америке еще был случай. Мы тогда приехали к сестре Фаины. У нее муж умер, надо было поддержать. И вообще, мы каждый год за границей, только эти два года не ездим. Пока Ицък в армии. Идем, гуляем по Нью-Йорку. Я отстал, наблюдаю. Ты же знаешь, я вообще люблю наблюдать. И тут навстречу одна. В меховом мантио. Красавица. Негритянка? Почему негритянка? Нет, как раз белая. Видит, что я стал и смотрю. И улыбается. Я сначала думал, что не мне, чего, спрашивается. А потом тоже улыбаюсь. Мне что, жалко. Она идет прямо на меня и так шубу р-раз. Открывает, а там ничего, совсем. Одни чулки. Ты понимаешь? О-е-ей. Я поворачиваюсь и к своим. Бегом. Слышу она на каблучках за мной. Цок-цок, цок-цок. И быстро так. Догоняет. Я подскочил, влез между Фаиной и ее сестрой, и иду себе. Там еще ее зять был. Он нам Нью-Йорк показывал. Так что ты думаешь? Слышу, берет она меня сзади за воротник и тянет. Я упираюсь, а она сильная. Поворачивает к себе и так пальцем перед носом. Чего смотришь? Я еще виноват. Откуда я знаю, что она мне покажет? Фаина говорит, только с тобой может такое случиться. Ты ей глазки делал. Как тебе нравится? А кильки не было. Ладно, поехали. Дочку привезу сюда завтра, пусть сама выбирает.

Видишь, огни. Это наш университет. Мы когда сюда в Беер-Шеву приехали, знаешь, сколько здесь было. Ну, угадай. Тридцать тысяч. А сейчас двести. Ты сколько там получаешь? Нет, я ваших денег не знаю. Ты мне в долларах скажи. Пятьдесят? И что ты кушаешь? Нет, я не смеюсь, это очень плохой смех. Видишь, как быстро приехали. Не обращай внимания на разгром. Это же строительство. Фаина, ты его помнишь? Да я говорю, он еще неплохо выглядит. Как на его зарплату. Ты знаешь, сколько он получает? Нет, я серьезно. Пятьдесят долларов. Как он живет? Это — вопрос. Сколько это выходит за каждого больного? Не дай Бог, чтобы ты их так лечил, как тебе платят. Давай, закусывай. Между прочим, салат из рыбной печени. Ты помнишь, какой это был деликатес? Нам на заводе дают. За вредную работу. Неплохой. И я говорю.

Знаешь, как я утром захожу в автобус? У нас свой автобус на завод. Я утром захожу и здороваюсь. С праздником. С каким праздником? Ты что? Это мне говорят. А я отвечаю. Ты встал? Встал. А сколько не могут встать? Ты помочился? Помочился. Подожди, Фаина, при чем здесь аппетит, он же врач. Значит, праздник. И я еще в автобусе всегда пою. И в лаборатории пою. Мы там с одной решаем вопросы. Хорошая женщина. Фаина, я тебя прошу. Ты слышишь, она ревнует. Мне начальник говорит. Мы тебе решили зарплату повысить. Повышайте, говорю. А за что? Чтобы ты больше не пел. Не на всех одинаково действует. Ты понимаешь? Я понимаю, говорю. Повышайте за что-нибудь другое, потому что я — счастливый человек. А что счастливый человек делает? Он поет. Я, между прочим, всем новым репатриантам помогаю. Подхожу всегда. Как дела? Один со мной здороваться перестал. Почему? Ты, говорят, его раздражаешь. Действуешь ему на нервы. Хорошо, не хочет — не надо. Но ему уже лучше? Да, лучше. Вот это — главное. Они говорят, ты не Карузо.

Или этот, как его, Александрович. Можно подумать, Карузо придет и будет петь у них в автобусе.

Давай выпьем, чтобы все было хорошо. И у вас, и у нас. Я слежу за вашими делами. А как я могу не следить, если я там родился? И Фаина следит. Дети, конечно, нет. Я тебе скажу, вы помешались на этом государстве. Государство, оно что? Оно, как эта чашка. Оно мне должно служить, и все. Да, я социалист. Государство забирает у сильных и отдает слабым. Потому что слабых больше. А иначе зачем такое государство? Флот-шмот. Вы накормите своих стариков. Я не понимаю. Это же ваши родители. Если старики сыты, вас будут уважать. И на море и на суше. С флотом или без. Посмотри, как у нас. Ты думаешь, я с ними согласен? Нет, но я молчу. Потому что у нас старики сыты. Ты в доме престарелых был? Это же богатые люди, а не нищие.

Фаина, конечно, это их дела. Но я тебе скажу. Вы много политиков слушаете. одного, другого. А политики — все брехуны. Не все? Все до одного, можешь мне поверить. И твои демократы такие же, как и все

другие. Демократы не твои? А что, коммунисты твои? Вот видишь, ты сам запутался. Я здесь двадцать лет смотрю. И я тебе скажу, если он идет в политику, то он хочет брехать. Он еще сам не знает, а я знаю. Это будет брехун. Я не голосую? Почему? Я голосую. Я ищу меньшего брехуна и голосую. В городе здесь я многих знаю. И только за такого голосую, которого знаю лично. Если я вижу, что он совсем забрехался, я могу прийти к нему и натолкать матюков. Лично. А иначе он спрячется, его и через секретаршу не достанешь. Ты сам подумай. Если ты — хороший врач, зачем тебе политика. Когда ты своим делом занят. А если ты плохой врач, тогда для тебя политика — мед. Все говорят, он врач, а он — брехун. Юристы, экономисты, это я еще понимаю. Но как врач может в этом разобраться, если он в своем деле не хочет понимать. Знаешь, как он думает. Выбрали его, идет он, такой гордый и думает, что именно он будет честным. Берет слово, начинает выступать. Видит, никто его не слушает. Почему? Начинает обижаться. Другие выступают. Он думает, они меня не слушали, чего я их буду слушать? Я прав, они нет, значит, они брешут. Почему брешут? Дела свои делают. Смотрит, один, другой делает. А ему, что больше всех надо? Все, думает, раз так, я свое дело делал, вы не слушаете, значит, и я буду брехать. И начинает в два раза больше, чтобы догнать.

Фаина, он не расстраивается. Что он сам не видит? Идем, я тебе дом покажу. Осторожно здесь по лестнице. Видишь, мы еще ступеньки не положили. Конечно, я сам буду делать. Это же удовольствие, строить себе дом. Видишь, сантехника, кухня есть. Сейчас смотри, потому что когда будет готово, дочка тебя сюда не пустит. И меня не пустит. А что делать? Такие дети.

А это наш двор. Видишь. Это — для шашлыков. Это — кладовка. Сварочный аппарат, пила. Все есть. Здесь у меня два света. Смотри, верхний включаю. Так? Становись. Чувствуешь, какая трава упругая. Как матрац. Только на лампочку не наступи. Как луна? Правда, красивая. Что, тебе трудно луну похвалить? Сейчас, подожди, для луны свое освещение. Здесь за пальмой выключатель. Пока нужно шнур тянуть. Потом я по-новому сделаю. Смотри, включаю. Видишь, на столбе гаснет, а в траве горит. Все разноцветные. Теперь не наступишь. Садись и смотри на луну. Только выбрось все дела из головы. Не думай, и все. Просто смотри. Давай отдохнем молча. Ну как?

ЕВРЕЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Из собрания М.Я.Береговского

Среди собирателей и исследователей еврейского фольклора особое место занимает выдающийся ученый, теоретик, музыковед и собиратель еврейского фольклора на языке идиш Моисей Яковлевич Береговский (1892–1961). В его наследии помимо таких памятников народного творчества, как, например, пурим-шпили, сохранилось множество записанных им народных песен. Это лирические, бытовые, сатирические, детские песни — эсепры, наиболее полно представленные в записях, сделанных в двадцатые-тридцатые годы.

В настоящей подборке собраны тексты песен из архива М.Я.Береговского, впервые переведенные на русский язык. По возможности в переводах сохранены ритмические и просодические черты оригиналов.

В оформлении использованы рисунки петербургского художника Геннадия Абрамовича Карабинского (родился в 1955 г. в городе Барановичи. Участник более тридцати выставок в Санкт-Петербурге и четырех зарубежных, в том числе двух персональных, его произведения находятся во многих музейных и частных собраниях).

Тему своих работ Геннадий Карабинский определяет так: «Я хочу говорить о евреях не только для евреев, а для всех, кто может видеть, чувствовать, думать и сопереживать. Я не хочу говорить об исключительности — я просто хочу рассказать всем, что среди сотен народов есть народ, который любит, работает, строит, мечтает. Народ, который создал Библию, который сгорал в газовых камерах, — об этом не надо кричать, это просто нельзя забывать».

Остается добавить, что Елена Баевская — внучка ученого, а Михаил Яснев — ее муж. Оба они известные профессиональные переводчики.



Моисей Береговский — музыкант, педагог, выдающийся собиратель и исследователь музыкального фольклора. Перед Второй мировой войной он записал и тем самым спас от гибели целый пласт еврейской народной музыки.

Судьба его тесно связана с Киевом. Здесь прошли его самые счастливые годы, посвященные любимому делу, и здесь же он испытал гонения и травлю, арест и жестокие издевательства.

Он родился в многодетной семье учителя в селе Термаховка на Киевщине. Очень рано полюбил музыку. Пел в синагогальном хоре и там усвоил первые азы музыкальной грамоты. С 13 лет начал самостоятельную жизнь: без взрослых уехал в Киев и там, зарабатывая уроками, сдавал экстерном экзамены на аттестат зрелости. Одновременно учился играть на виолончели и потом играл в оркестрах. Поступив в 1915 году в Киевскую консерваторию, он параллельно с учебой много и увлеченно работал: преподавал музыку в еврейских школах, руководил самоде-

ятельным хором «Общества еврейской народной музыки», по поручению «Культурлиги» в 1918 году организовал детскую музыкальную школу и руководил в ней хором. В 1922–24 годах, продолжая учебу в Петрограде, преподавал пение в детском доме для еврейских сирот с Украины, переживших погромы.

Главное дело жизни Моисея Яковлевича — собирание и изучение еврейского музыкального фольклора — началось в 1927 году, когда он организовал комиссию для изучения еврейской народной музыки на кафедре еврейской культуры при ВУАН. Став в 1929 году заведующим отдела музыкального фольклора этой кафедры (впоследствии Кабинета), он предпринимал все возможное, чтобы собрать здесь максимум уже записанного материала и пополнить его новыми записями. Каждое лето вместо отдыха Моисей Береговский отправлялся в экспедиции по селам и местечкам Украины и Белоруссии, записывая на фонограф или по слуху еврейские народные песни и инструментальную музыку. Он записывал еврейские мелодии от писателя Давида Бергельсона и слепого нищего, жившего в Киеве с 1915 года, от колхозника из колонии «Шолом-Алейхем» Николаевской области и сапожника из Белой Церкви, от работницы одесской шетинной фабрики и домашней хозяйки из местечка Ушомир Житомирской области, от крымского ткача, перенявшего напев у клезмеров в местечке Богуслав, от херсонского бухгалтера, от артиста Соломона Михоэлса, от флейтиста-парикмахера из Словуты. Он спешил записать все, что сохранила людская память. К началу войны фонотека фольклорной секции насчитывала свыше 1200 фоноваликов — это около 3000 записей, из которых более 600 он фонографировал лично, а также около 4000 нотных записей, сделанных на слух в летних экспедициях.

Война трагически оборвала эту деятельность: в гитлеровских лагерях были уничтожены почти все те, кто напев и наиграл еврейские песни и мелодии. К счастью, драгоценное собрание музыкальных записей уцелело: гитлеровцы, тщательно описав его и пронумеровав, вывезли в Германию. В конце войны оно было найдено и возвращено Кабинету еврейской культуры, который в 1944 году, сразу же после освобождения Киева, возобновил свою работу. В конце 1944 и осенью 1945 годов в фольклорных экспедициях по Винницкой и Черновицкой областям Береговский записал от нескольких уцелевших узников гетто 70 песен, которые пелись в гетто измученными, обреченными людьми.

В течение трех послевоенных лет Моисей Яковлевич работал над завершением своего пятитомного исследования «Еврейский музыкальный фольклор», начатого еще до войны. Но зловещие события 1949 года снова надолго прервали любимую работу. После организованной Сталиным «случайной» смерти С. Михоэлса и уничтожения Еврейского антифашистского комитета пришла очередь Кабинета еврейской культуры: все его сотрудники были арестованы. М. Я. Береговский еще до ареста испытал в полной мере мерзости «антикосмополитической» кампании. Его объяви-

ли «безродным космополитом», исключили из Союза композиторов и выгнали из консерватории. После незаконного жестокого следствия, которое длилось несколько месяцев и подорвало здоровье Береговского, он был осужден за «групповую антисоветскую агитацию» и приговорен к 10 годам заключения в лагерях особого режима. В лагере в Тайшете после года работы на лесоповале ему поручили организовать хор. Он убедился, что поют не только в гетто, но и в концлагере. Отсидев половину срока, Береговский был выпущен в 1955 году по состоянию здоровья. Больше года он потратил, добываясь реабилитации и возможности жить и работать дома. Только после ходатайств Д.Шостаковича и М.Рыльского удалось получить из прокуратуры справку о реабилитации. Оставшиеся ему до смерти 5 лет Моисей Яковлевич прожил, приводя в порядок свои рукописи для сдачи в архив. 2 августа 1961 года он умер от рака легких. Теперь его имя известно во всем мире, но до сих пор труд его жизни полностью не опубликован.

*Из предисловия дочери М.Я.Береговского
Эды Береговской к книге «Арфы на вербах»
(«Призвание и судьба Моисея Береговского»)
Москва-Иерусалим, 1994.*

№ 209

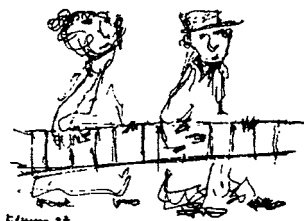
Прыг, скок,
Дрозд-дроздок
Прилетает на порог,
Куточка
Яйцо несет,
Петушок
Кричит-поет,
Бабушка
Приходит с булкой,
Дедушка
Приходит с трубкой,
Мама детей
Зазывает в круг —
А дети булку
Рвут из рук,
Ай, ай, ай, ай,
Ай, ай, ай!

Перевел Михаил Ясноп

№ 198

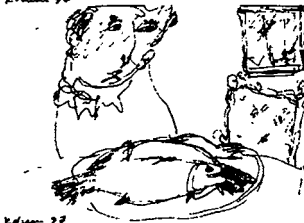
1.

Невесту хотел испытать жених —
Глупа она иль умна:
Построить лестницу ей предложил,
Чтоб неба достала она.



2.

— Построю я лестницу, так и быть,
И неба достанет она.
А ты все звезды мне сосчитай,
Покуда ночь темна.



3.

— Ну что же, все звезды тебе я сочту,
Покуда ночь темна.
А ты за это вычерпай мне
Глубокое море до дна.

4.

— Ну что же, я вычерпаю тебе
Глубокое море до дна.
А ты мне за это вылови рыб,
Да чтоб не ушла ни одна.



5.

— Ну что же, тебе я выловлю рыб,
И не уйдет ни одна.
А ты мне всю рыбу свари да так,
Чтоб живой осталась она.

6.

— Ну что же, всю рыбу сварю я да так,
Что будет живою она.
А ты ее съешь и пускай опять
Ее унесет волна.



7.

— Ну что же, всю рыбу я съем, и опять
Ее унесет волна.
А ты мне роди семерых детей
И будь, как прежде, юна.

8.

— Ну что ж, я рожу семерых детей
И стану опять молодой.
Хоть я не глупа — но ты поумней:
Я буду тебе женой!

Перевел Михаил Яснов

№ 217

1.

Одиножды один —
Вовсе не два.
Я курочку купил —
А как она кричит?
— Тенде-веренде! — курочка лопочет, —
Севере-вевер, севере-вевер,
Севере-вевер, вере-вере-вер.

2.

Дважды два —
Вовсе не три.
Купил я петушка —
А как он кричит?
— Кукареку! — петушок хлопочет.
— Тенде-веренде! — курочка лопочет, —
Севере-вевер, севере-вевер,
Севере-вевер, вере-вере-вер.

3.

Трижды три —
Вовсе не четыре.
Я уточку купил —
А как она кричит?
— Кря-кря, я туточки! — крякает уточка.
— Кукареку! — петушок хлопочет.
— Тенде-веренде! — курочка лопочет, —
Севере-вевер, севере-вевер,
Севере-вевер, вере-вере-вер.

4.

Четырежды четыре —
Вовсе не пять.
Гуся я купил —



А как он кричит?

— Никого я не боюсссь! — шипит мой гусь.

— Кря-кря, я туточки! — крикает уточка.

— Кукареку! — петушок хлопочет.

— Тенде-веренде! — курочка лопочет, —

Севере-вевер, севере-вевер,

Севере-вевер, вере-вере-вер.

5.

Пятью пять —

Вовсе не шесть.

Медведя я купил —

А как он кричит?

— Рразойдись, нарррод! — мишка ревет.

— Никого я не боюсссь! — шипит мой гусь.

— Кря-кря, я туточки! — крикает уточка.

— Кукареку! — петушок хлопочет.

— Тенде-веренде! — курочка лопочет, —

Севере-вевер, севере-вевер,

Севере-вевер, вере-вере-вер.

6.

Шестью шесть —

Вовсе не семь.

Сани я купил —

А как они скрипят?

— Едем-едем сами, — скрипят мои сани.

— Ррразойдись, нарррод! — мишка ревет.

— Никого не боюсссь! — шипит мой гусь.

— Кря-кря, я туточки! — крикает уточка.

— Кукареку! — петушок хлопочет.

— Тенде-веренде! — курочка лопочет, —

Севере-вевер, севере-вевер,

Севере-вевер, вере-вере-вер.

7.

Семью семь —

Вовсе не восемь.

Лошадь я купил —

А как она кричит?

— Ехать-то не сладко! — ржет моя лошадка.

— Едем-едем сами, — скрипят мои сани.

— Ррразойдись, нарррод! — мишка ревет.

— Никого не боюсь! — шипит мой гусь.



— Кря-кря, я туточки! — крикает уточка.
— Кукареку! — петушок хлопчет.
— Тенде-веренде! — курочка лопочет, —
Севере-вевер, севере-вевер,
Севере-вевер, вере-вере-вер.

8.

Восемью восемь —
Вовсе не девять.
Телегу я купил —
А как она стучит?
— На кладбище еду! — стучит телега.
— Ехать-то не сладко! — ржет моя лошадка.
— Едем-едем сами, — скрипят мои сани.
— Ррразойдись, нарррод! — мишка ревет.
— Никого не боюсссь! — шипит мой гусь.
— Кря-кря, я туточки! — крикает уточка.
— Кукареку! — петушок хлопчет.
— Тенде-веренде! — курочка лопочет, —
Севере-вевер, севере-вевер,
Севере-вевер, вере-вере-вер.

Перевел Михаил Яснов



№ 23

1.

Нацеловались да намиловались,
Покуда шли мы на вокзал.
А как на вокзале мы оказались,
Тут мой любимый и пропал.

2.

Ой, вей, мама, утки кричат.
Плещут крыльями по волне.
Где же любимый сердце прячет,
Что же он не придет ко мне?

3.

Ой, вей, мама, ревут медведи,
Ревут медведи не к добру.
Если любимый не придет,
От обмана я умру.

Перевел Михаил Яснов



Кашин 98



Кашин 92

№ 43

1.

Сiju да шью, согнувшись над машинкою,
И грустно напеваю про себя.

Мне на печаль свою пожаловаться некому — ой, некому! —
Никто не знает про нее, лишь Бог да я.

2.

— Ах, дочка, дочка ты моя, родная доченька,
Ты мне печаль свою поверь.
Ведь ты была такая бойкая, веселая —
О чем же плачешь и грустишь теперь?

3.

— Ах, мама, мама, знаешь, полюбила я,
Сама себе накликала беду,
И хоть живую в землю закопай меня,
Я за другого замуж не пойду.

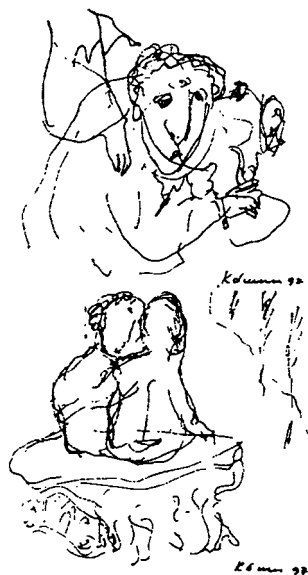
4.

...Рука в руке с тобой вдвоем бродили мы
По мягкой травке, день-деньской...
Не знаю я, за что ты разлюбил меня,
За что ты свел меня с тоской.

5.

Рука в руке, с тобой вдвоем бродили мы
Вдоль по бульвару, до заката дня.
За что ж влюбился ты в другую девушку
И бросил, глупую, меня?

Перевела Елена Баевская



№ 172

1.

Я ставил на десятку, десятку лихую,
Кошечка, пташечка моя, —
Отдал добрым людям шапку меховую,
Кошечка, пташечка моя!

2.

Ставил я на тройку, снова дал промашку,
Кошечка, пташечка моя, —
Отдал добрым людям новую рубашку,
Кошечка, пташечка моя!

3.

Ставил я на двойку, все обдумал крепко,
Кошечка, пташечка моя, —
Отдал добрым людям и часы и цепку,
Кошечка, пташечка моя!

4.

Тут я бросил карты, взялся за лото,
Кошечка, пташечка моя, —
Отдал добрым людям брюки и пальто,
Кошечка, пташечка моя!

Перевела Елена Баевская



№ 150

1.

Яблоки да вишенки —
 Как горьки их зернышки.
 Вдовец на юной женится —
 Та слезы льет до зорюшки.

2.

Пусть вино хорошее —
 Да киснет в бочке липовой.
 Вдовец на юной женится —
 Тоскуй теперь да всхлипывай.

3.

Коль упало яблоко —
 В нем червячок поселится.
 А в сердце у вдовца — обман,
 Коль он на юной женится.

Перевел Михаил Яснов



№ 120

1.

— Ах, до чего ж хороша ты,
В доброй семье уродилась!
Какого, красотка, парня
Взяла б ты, скажи на милость?

2.

— Никакой мне парень не нужен,
Я ведь еще молодая.
Кто рано выходит замуж,
Те рано и умирают.

3.

— Откуда ты это знаешь?
Ведь ты молода и красива.
— Да, я молода и красива,
И жизни хочу счастливой.

4.

Я молода и красива,
Живу, как птичка на воле.
Погожу-ка два-три годочка,
А может, того и поболе.

Перевела Елена Баяевская



№ 124

1.

Четвертый год — четвертый сын:
 Четыре принца-счастливица,
 Ох, четыре таких паршивца!

От венца да от фаты —
 Два шажочка до беды,
 Все уже бывало —
 Все уже пропало.

2.

На пятый годок — ой, пятый сынок:
 Пять голеньких, пять деточек,
 Ой, пять зеленых веточек!

От венца да от фаты —
 Два шажочка до беды,
 Все уже бывало —
 Все уже пропало.

Перевел Михаил Яснов



№ 51

1.

Что стал у моих дверей,
Авремеле-меламед?
Зайди ко мне поскорей,
Авремеле-меламед!
Авремеле, Авремеле, Авремеле-меламед!

2.

Что стал под моим окном,
Авремеле-меламед?
Я грущу о тебе одном,
Авремеле-меламед!
Авремеле, Авремеле, Авремеле-меламед!

3.

Что испугался, увидев кровать,
Авремеле-меламед?
Я хочу тебя приласкать,
Авремеле-меламед!
Авремеле, Авремеле, Авремеле-меламед!

Перевела Елена Баевская



№ 28

1.

Всю ночь я не сплю и горюю,
И все горше мне, все тяжелей.
Ой, когда же часы отсчитают
Все минуты печали моей?

2.

Вот часы уже пробили полночь,
Спать пора мне на самом деле.
Ой, мамочка, слезы все льются,
Гонят сон от моей постели!

3.

Из глаз моих слезы все льются,
Утираю я их, утираю.
Ой, как вспомню тебя, мое сердце,
Так последние силы теряю.

4.

Ой, всю ночь я лежу и горюю,
Ой, зачем тебя рядом нет...
На часах уже скоро четыре,
За окошком уже рассвет.

5.

За окошком уже светает,
И со светом утешилась я.
Вот и птички на ветках проснулись,
И у каждой — песня своя.

6.

Вы летите, птички, взгляните,
Как там мама, сердце мое, —
Веселится она или плачет,
Что заботит, что тешит ее?

Перевела Елена Баевская

№ 22

1.

Как припомню нашей любви начало —
Ой, начало было, как мед.
А теперь погляжу, что с любовью стало, —
Грусть-тоска за сердце берет.

2.

Ты теперь уезжаешь, дружок мой милый, —
На прощанье тебя обниму.
Если судьба нам разлуку судила,
Не скажем о том никому.

3.

Ой, поезд ушел, превратился в точку —
Тебя навсегда-навсегда увез.
Ой, нету меда, нету дружочка —
Лишь много-много соленых слез.

Перевела Елена Баевская



№ 141

1.

— Куда ты ходила, милая дочка?
— К злой моей свекровке.
— Зачем ты ходила, милая дочка,
К злой своей свекровке?
— Пол и лавки отмывать,
Их слезами поливать,
Матушка дорогая.

2.

— А что же ты ела, милая дочка,
У злой своей свекровки?
А что же ты ела, милая дочка,
У злой своей свекровки?
— Посадили в уголок,
Дали рыбы с ноготок,
Матушка дорогая.

3.

— А где же спала ты, милая дочка,
У злой своей свекровки?
А где же спала ты, милая дочка,
У злой своей свекровки?
— На мешке с сырой землей
И лицом к земле сырой,
Матушка дорогая.

Перевел Михаил Яснов



Колос 92



Колос 92



Колос 92



Колос 92



Колос 92



Колос 92

№ 32

1.

Бывали годочки — пропали годочки.
Они улетели, как дым.
Когда я тебя вспоминаю, мой милый, —
Не знаю, что с сердцем моим.

2.

Не знаю, что с сердцем, не знаю, где силы
Прогнать и осилить тоску.
Я девушке каждой теперь пожелаю
Не ведать любви на веку.

3.

Коль девушка любит — в ней все расцветает,
Все в сердце светлей и живей.
Но если бедняжку любовь покидает,
То жизнь обрывается в ней.

Перевела Елена Баяевская

№ 178

1.

Ты прости-прощай,
Батюшка милый,
Пора мне уезжать —
Нас разлучают силой.

Ой, горе мне,
Ой, горе мне, беда:
Я встретил двадцать первый год —
Простимся навсегда!

2.

Ты прости-прощай,
Мамочка-мама,
Как на душе темно,
Не плачь так горько, мама!



Ой, горе мне,
Ой, горе мне, беда:
Я встретил двадцать первый год —
Простимся навсегда!

3.

Ты прости-прощай,
Милый мой братец,
Обнимемся с тобой
Перед дорогой, братец!

Ой, горе мне,
Ой, горе мне, беда:
Я встретил двадцать первый год —
Простимся навсегда!

4.

Ты прости-прощай,
Радость-сестренка,
Была ты всех добрей,
Любимая сестренка.

Ой, горе мне,
Ой, горе мне, беда:
Я встретил двадцать первый год —
Простимся навсегда!

5.

Ты прости-прощай,
Свет мой, невеста,
И в сердце для меня
Оставь немного места!

Ой, горе мне,
Ой, горе мне, беда:
Я встретил двадцать первый год —
Простимся навсегда!

Перевел Михаил Яснов



№ 76

1.



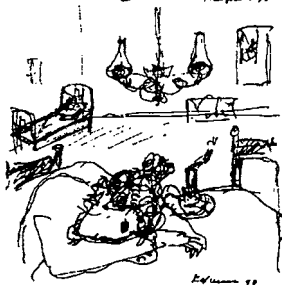
В любые холода, в любую непогоду,
Бывало, ты стоял там, под моим окном.
А нынче лишь меня завидишь, мой любимый,
Проходишь, будто ты со мною незнаком.

2.



— Деточка моя, скажи мне, что с тобою?
Ты таешь, дочка, таешь, как свеча.
Ой, к доктору пошла бы ты скорее —
Пусть он тебе лекарства даст, дитя.

3.



— Ой, к доктору уже я заходила, мама.
К нему я заходила прямо в дом,
Он прописал, чтоб я скорей венчалась, мама,
С тем самым, кто стоял там, под моим окном.

Перевела Елена Баевская



№ 138

1.

— Невестка моя,
Дроги ждут тебя,
Дроги ждут тебя,
Поехали со мной.

Кони ржут и смотрят косо,
Густо смазаны колеса,
Дроги ждут тебя,
Поехали со мной.

2.

— Погоди, постой, свекровка,
Минутку постоим,
Я еще не попрощалась
С батюшкой моим.

Ты прощай, мой родитель,
Ты растил меня на воле
Меня готовил для лучшей доли,
А теперь прощай,
И навсегда прощай!

3.

— Невестка моя,
Дроги ждут тебя,
Дроги ждут тебя,
Поехали со мной.

Кони ржут и смотрят косо,
Густо смазаны колеса,
Дроги ждут тебя,
Поехали со мной.

4.

— Погоди, постой, свекровка,
Ты не гони коней,
Я еще не попрощалась
С матушкой моей.

Ты прощай, моя мама,
Ты меня растила в холе,
Меня готовила к лучшей доле,
А теперь прощай,
И навсегда прощай!

Перевел Михаил Яснов



Гелий Аронов

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ СВИДЕТЕЛЬ

— Что делает у нас еврей? — спросил меня на автобусной станции городка Гракова бородатый старик в картузе, нисколько не сомневаясь в моей национальной принадлежности. А я-то думал, что моя нечистокровность весьма надежно укрывает ее.

— Еврей хотел бы найти тихое пристанище на пару дней.

— На пару дней? Тихое пристанище бывает только навеки.

— Я имел в виду отдельную комнату.

— А кухню?

— Какую кухню? Зачем мне кухня? — удивился я.

— В наших краях не удастся насыщаться воздухом, — пояснил он, сделав руками такой жест, словно извинялся за свои края, неспособные насытить человека без пищи, в то время как в других краях это легко удается.

— Вы имеете в виду пансион?

— Нет, только кусок курицы в супе, лапшу... Может быть, рыбу, если еврей задержится на субботу.

— В субботу я уезжаю.

— Значит, молодой человек путешествует в шабат... И кошер его, конечно, тоже не интересует, — как бы самому себе с сожалением заметил он.

— В нашей жизни это невозможно.

— А что, есть еще другая жизнь?

Мой собеседник явно склонялся к разговору на абстрактные темы, но я оставил его философский вопрос без ответа, ибо вдруг до меня дошло, что весь этот разговор да и сам бородатый старик попросту невозможны. Мне хотелось протереть глаза или ущипнуть себя за руку, чтобы этот бабелевский тип исчез, растаял, как мираж, блуждающий в конце века в тех местах, где от еврейской жизни ничего не осталось. Тем более, что старику едва ли было более семидесяти, и, следовательно, он никак не мог явиться из того далекого и в одночасье исчезнувшего мира.

— Кто вы? — наконец спросил я.

— Лейзер Двойрис, — ответил он, и добавил после краткой паузы: — Вы разочарованы. Вам хотелось услышать — «царь Соломон». Тогда бы вы решили, что перед вами местечковый сумасшедший, и успокоились. Извините, что я не сумасшедший.

— Нет, нет, вы меня неправильно поняли, — поспешил я успокоить его. — Просто я не знал, что в вашем Гракове существует община и бьет ключом еврейская жизнь.

— Не ключом. И даже вообще не бьет. Да и какая община, если я единственный еврей на весь Граков?

«Откуда же вы набрались всех этих кошеров и шабатов?» — хотел спросить я, но он продолжил:

— Единственный, но еврей, так, наверное, правильное было бы сказать.

— Но как же вы оказались здесь один?

— Это долгая история, молодой человек. Часа на полтора...

Я, собственно, приехал в Граков по делу и, не собираясь задерживаться в этом ничем не примечательном городишке ни на один лишний день, не очень-то был склонен отвлекаться на посторонние темы. Но Двойрис вызывал безусловную симпатию и послушать его, пожалуй, следовало, если не для себя, то для него. Тем более, что дела мои касались дней давно минувших, о которых он, может быть, что-нибудь слышал. Правда, надеяться, что он расскажет что-нибудь существенное, не приходилось, ибо все исследователи сходились в одном: ни одного участника тех давних событий ни в Гракове, ни вообще в Украине давно уже нет. Старик, скорее всего, не местный, но появился он здесь, наверняка, давненько и, может быть, встречался с кем-нибудь из интересующих меня людей. А при его общительности он вполне мог вытянуть из них важную для меня информацию.

— Вы откуда родом? — спросил я его.

— Отсюда, — ответил он.

— Как отсюда? Из Гракова?

— Именно.

— Но этого не может быть! Все специалисты уверяли меня, что ни одного местного еврея в Украине больше не существует.

— Если вы им так верите, считайте, что меня не существует.

— Но вы, наверное, не жили здесь во время войны? Просто родились, а потом уехали, да?

— Я очень огорчаю вас, но здесь я родился в двадцать восьмом и никуда, понимаете, никуда не уезжал.

— Но не могли же вы пережить оккупацию, оставаясь в Гракове?

— Молодой человек, вы со мной намучаетесь. Я вам испорчу все ваши крепко научные выводы. Вы уж извините меня. Впрочем, можете считать меня несуществующим. Я не возражаю.

— Ну что вы, — поспешил я опять успокоить его, — я не из тех, кто верит ушам больше, чем глазам. Но тогда вы должны хоть что-то знать об отряде Шрайбера. Пусть вы не участвовали, но...

— Пусть я не существую, пусть я не участвовал... Но, чтобы вы знали, Шломо Шрайбер — мой родной дядя, брат моей матери. И если он не увел в лес свою родную сестру с мужем и детьми, то тогда о нем не стоит и вспоминать.

Откровенно говоря, я попросту растерялся: если передо мной человек, не только знающий об отряде Шрайбера, но и бывший в нем, то как это может быть? Ведь не просто специалисты по партизанскому движению, но историки, побывавшие в специальной экспедиции в этих местах, ни о каком Двойрисе и слыхом не слыхали. Во всяком случае, ни один из них о нем не упомянул. Снова какой-то мираж.

— Не мучьтесь, молодой человек, — вывел меня из тяжкого раздумья старик. — Если хотите серьезный разговор, пойдемте ко мне. Нужно же вам где-то остановиться.

По дороге я все же не удержался:

— Рэб Лейзер (я старался настроиться на его волну), но как же вас не нашли люди из экспедиции «По следам партизанской славы»?

— А кто вам сказал, что не нашли? Пусть лучше расскажут, чего им стоило сделать вид, что не нашли.

— Значит, вы им рассказывали?

— Они же хотели слышать только то, что сами сочинили. Например, что отряд Шрайбера назывался «За Родину!» или «За Сталина!», а что Шломо называл его Мишпоха, пропускали мимо ушей.

Им вообще не нравилось: «еврейский партизанский отряд». Они соглашались только на «отряд с участием советских граждан еврейской национальности». И жизнь отряда их совсем не интересовала, даже пугала — это же была еврейская жизнь. Они хотели только цифры: сколько эшелонов пустили под откос, сколько мостов взорвали... А сколько женщин и детей спасли — это неинтересно. Короче, мы не договорились. И они вычеркнули меня из существующих в природе свидетелей.

В небольшом кирпичном домике Двойриса на одной из боковых улиц меня ждала довольно светлая комната с окном, выходящим в маленький фруктовый сад. В доме было тихо и пусто.

— Невестка с внуками поехала к матери, — объяснил Лейзер. — Их я и выглядывал на автобусной станции.

— А сын? — спросил я.

— Сына нет, — сухо ответил он, и я понял, что он не хочет об этом говорить.

Пока пили чай с медом, говорили лишь о местных достопримечательностях да событиях последних дней, среди которых граковчан особенно взволновало уничтожение нескольких ракетных шахт, издавна находившихся в граковском лесу.

— Одна из шахт как раз там, где были наши землянки, — сказал Двойрис. — И могилы наши, — добавил он. — Хоть медицина у нас была на высшем уровне: профессор Фрида! Все лечила, лекарства из ничего делала!

Отправляясь в Граков, я взял с собой на всякий случай диктофон с кассетами и теперь предложил Двойрису записать его рассказ. Он не возражал и, казалось, не обращал внимания на записывающее устрой-

ство. Но когда, по возвращении в Киев, я прослушал запись, она оказалась слишком эмоциональной и потому не очень-то последовательной. Привести такую распечатку полностью просто невозможно, и я вынужден лишь кратко пересказать услышанное, к сожалению, теряя детали и — самое главное — интонацию. Надеюсь, когда-нибудь мне удастся восполнить эти потери, а пока — лишь схематическое изложение рассказа Лейзера Двойриса.

Итак, граковских евреев спасло счастливое совпадение нескольких обстоятельств. Во-первых, нашелся лидер, сумевший повести всех. Им стал Шломо Шрайбер, бывший сельский кооператор, а до того — граковский меламед. Во-вторых, сбор и организация евреев упрощались тем, что основная их масса имела отношение к пригородному еврейскому колхозу «Нойес лебен». И, в-третьих, не было бы счастья, да несчастье помогло: война докатилась до их мест так быстро, что многих мужчин не успели даже мобилизовать. Юноши, не ожидая призыва, подались в областную центр, чтобы вступить в армию добровольцами, но зрелые мужчины оставались еще в семьях. Без них поднять стариков, женщин и детей не удалось бы никому.

Лидером же Шломо Шрайбер стал после того, как убедил самых уважаемых людей не полагаться на волю Божью и не надеяться на немецкую справедливость. Многие помнили еще немцев первой мировой. Шломо же в обстановке полной неразберихи и буйства самых невероятных слухов сумел установить точный диагноз: эти немцы смертельно опасны для евреев. А поняв это, он проанализировал варианты спасения: эвакуация собственными силами или уход в местные леса. На первое, к сожалению, не было ни времени, ни сил. После бурных дискуссий приняли второе, и сразу начали собираться. Часть мужчин ушла в лес готовить базу, остальные паковались и грузились. Времени оставалось в обрез: достаточно сказать, что последние евреи уходили в лес, когда немцы уже вступали в Граков.

Теперь несколько слов о реакции местного населения. Не все приняли исход евреев с сочувствием. В смертельную угрозу им поверили только после того, как оккупанты очень аккуратно перестреляли всех чад и домочадцев из трех еврейских семей (всего 17 человек), по разным причинам не сумевших уйти со всеми. Но и после этого недоброжелатели находились и, конечно же, сообщали немцам, где нужно искать беглецов. Поэтому загадкой остается, как фашисты не уничтожили лагерь Шрайбера. Сам Шломо считал, что немцы просто не рисковали соваться в лес. Однако он не переоценивал своей способности к сопротивлению: поначалу у шрайберовцев на вооружении имелось три берданки (штатное оружие колхозных сторожей) да две малокалиберных винтовки из осоавиахимовского тира, не считая, конечно, вил, топоров и лопат.

Интересно, что уже значительно позже, когда практически все мужчины были вооружены винтовками, а кое-кто — и автоматами, когда в

отряде в постоянной боевой готовности находилось два ручных пулемета и противотанковое ружье, к ним обратились гонцы из большого отряда Атаманюка с предложением передать часть шрайберовского оружия им, на что последовал ответ: лишнего оружия не имеем, все имеющееся в наличии добыто собственными силами.

Кстати, отношения с отрядом Атаманюка слагались непросто. Еще зимой 41-го шрайберовцы попросились в отряд, укомплектованный в основном окруженными и беглыми военнопленными. Переговоры вел сам Шрайбер. Он предлагал соединить два отряда так, чтобы его отряд стал как бы тыловой базой, а мужчины влились в боевые порядки Атаманюка. Последовал ответ: «Мужчин можем принять (при этом комиссар отряда капитан Тарадайкин добавил: «Хоть вояки они известные»), а женщин, стариков и детей в отряд включать не будем». С этим Шломо, не вступая в дискуссии и даже не возразив капитану Тарадайкину, ушел к себе.

К этому времени быт (если это можно было назвать бытом!) в его отряде хоть как-то наладился: все дети, женщины и нетрудоспособные старики поселились в землянках, а мужчины — в землянках и двух армейских палатках. В суровую зиму выручил печник Бэрл, соорудивший почти из ничего такие печурки, что греть грели, а дымить не дымили.

Плотники Ицхак и Иосиф во всех помещениях настлали нары из жердей, накрыли хвоей и застелили брезентом с колхозного тока. Еще одно везение: в лесу-то они оказались летом и почти управились с устройством к наступлению холодов. И все-таки люди, непривычные к таким условиям, приспосабливались тяжело: было много больных, и девять человек умерло в первые три месяца. И, конечно, умерших было бы гораздо больше, если бы не «профессор Фрида» — граковская акушерка, пожертвовавшая своим личным багажом, чтобы вывезти все возможные медикаменты и материалы из своего фельдшерско-акушерского пункта, и наладившая производство целительных напитков из лесных трав и ягод. Ее стараниями даже новорожденные как-то приспосабливались к необычным условиям, а таких болезней, как цинга и другие авитаминозы, не знал никто.

Питание тоже как-то удалось наладить, в основном используя вывезенное из колхоза кормовое зерно. Женщины умудрились готовить из него разные блюда и выпекать пресные лепешки («Как во времена фараона», — говорил Шломо). Немножко плодов, ягод, трав, грибов удалось заготовить еще до наступления зимы. Конечно, очень не хватало мяса и картошки, но приходилось терпеть, тем более что для больных и ослабленных каждый день доставалось хоть по капельке молока. Его давали две козы и одна корова, увезенные с собой. Правда, животных (еще имелось две лошади) с трудом удавалось прокормить, и первые «боевые» вылазки пришлось делать именно за сеном и соломою, но как-то перебивались, жили, зимовали и животные, и люди.

И главным доказательством жизни являлась созданная Шломо Шрайбером школа. «Душа ребенка не должна пустовать, — говорил он. — Пустоту заполняет зло, и надо спешить заполнить ее добром». А пустот за предвоенные годы образовалось немало. И если граковские еврейские дети еще, слава Богу, понимали идиш, то иврита не знал почти никто, а, значит, никто не приобщался и к Торе.

Все это попытался восполнить меламед Шрайбер. На сомнения некоторых — время ли учить? и учиться? — он отвечал страстно: «Только слепец может не видеть, что именно это время дано нам для возврата к нашим ценностям!» В школе учились дети от четырех до шестнадцати лет, а если приходили и совсем взрослые, то их тоже никто не прогонял.

У Шломо Шрайбера была собственная стратегия борьбы с фашизмом. Он утверждал: «Раз уничтожение евреев и еврейского мировоззрения — главная цель фашизма, значит, главное противодействие ему — в сохранении еврейства. Потому всеми достойными средствами следует наносить врагу урон и, прежде всего — не просто выживанием, а сохранением своей идентичности. Отказ от еврейства — это уступка Гитлеру, капитуляция, евреи и так сделали много шагов навстречу уничтожителям еврейства, настало время не только остановиться, но и перейти в наступление, мы остаемся евреями, и тем готовим погибель Гитлеру».

Нельзя сказать, что даже в собственном лагере все разделяли взгляды Шломо. Поначалу весьма упорно противились им бывшие председатель колхоза Шая Белянкер и парторг Герш Соловейчик. Во многом их позиции определялись именно тем, что они сразу стали «бывшими» и должны были выполнять обязанности в одном строю со всеми. Это они демагогически требовали слияния с отрядом Атаманюка любой ценой и активных боевых действий против немцев.

Для Шрайбера именно это являлось главной головной болью. Разве он сам не хотел наносить прямой физический урон оккупантам? Разве он не кипел горечью и гневом? Но вступать на первом этапе в прямые столкновения с немцами было и непосильно, и крайне опасно. Когда такие столкновения возникали сами собой (а избежать этого полностью никогда не удавалось), всегда возникали опасные последствия для Мишпохи. И если карательных экспедиций немцы пока не предпринимали, то нанести артиллерийский, а то и бомбовый удар по лесу — могли. Так было, когда фуражиры (мальчишки в основном) угнали немецкую полевую кухню с котлом, полным горячей пшенной каши. Немало повеселились и посмеялись тогда в Мишпохе, но не успели еще смолкнуть шутки, как над лесом появился самолет и, резко пикируя, обстрелял участок складских помещений. Хорошо еще не сам лагерь. Результаты атаки: двое раненых и убитая старая кобыла Блюма.

Позже, когда отряд был уже хорошо вооружен (оружие добывалось не обязательно в бою — его хватало в лесу, а замечательный умелец Хаимкузнец мог починить любую стреляющую или взрывающуюся штуковину

ну), он вел прямые боевые действия, но, как правило, вдали от «своего» леса. Это делало операции более трудными, но отводило прямую угрозу от лагеря. Под руководством поднявшихся командиров — Шимена Кваса и совсем юного Ошера Гутмана — ходили шрайберовцы к стратегическому шоссе и там из засад били фашистские транспорты. Имелось на их счету и несколько взрывов на мостах и даже несколько взятых в плен фрицев, которых потом с большим трудом удалось переправить в отряд Атаманюка.

Но все это случилось потом, когда отряд стал намного мобильней, так как значительную часть женщин, стариков и малых детей удалось переправить в румынскую оккупационную зону, где евреев тоже держали в гетто и лагерях с тяжелым режимом, но все же — не в лагерях уничтожения. Это явилось вынужденной мерой — не только из-за невыносимых подчас сложностей лесной жизни, но и из-за необходимости перебазировать лагерь, над которым нависла реальная угроза уничтожения. Пришлось уходить еще глубже в леса, оставляя обжитое место и значительную часть имущества, ибо к этому времени лошадей уже не было, и все приходилось тащить на себе.

Подожли к концу и запасы, а добывать продукты становилось все труднее, тем более что Шломо запрещал отбирать съестное под дулами автоматов у крестьян, чем нередко грешили другие партизанские отряды.

В жизни Мишпохи были разные периоды, среди них — ни одного легкого. Но как бы трудно ни приходилось, как бы холодно и голодно ни жили — школа и больница работали без перерывов. И работали так, что вылеченных больных и раненых было все же больше, чем умерших, а выученных на всю жизнь осталось если не все 100 процентов, то очень близко к этому.

Шломо Шрайбер погиб осенью 44-го, уже после освобождения. Он получил приказ явиться в штаб партизанского движения, располагавшийся тогда в Ровно. По дороге в город Шломо и его заместитель Ошер Гутман попали в засаду и погибли. Официально объявили, что это дело рук бандеровцев. Но слишком уж хорошо информированными оказались эти «бандеровцы», да и зачем им было открывать шквальный огонь по двум небооруженным людям в штатском? Двойрис считал, что так был устранен не вписывавшийся ни в какие рамки партизанский феномен, дело о котором могло приобрести ненужную огласку. Известный принцип «нет человека — нет и дела» сработал и на этот раз.

А дела о партизанском отряде Шрайбера действительно нет до сих пор. Существуют лишь некие полуполюгендарные слухи. Свидетелей же хорошо припугнули еще в послевоенные 40-е, когда несколько членов отряда были арестованы вроде бы по разным поводам, но с одним приговором: 5 лет лагерей с последующей ссылкой.

Самого Двойриса тоже не миновали, мягко говоря, неприятности, в которых он, однако, склонен винить только себя. Дело в том, что когда в

46-ом его призвали в армию, он, отвечая на вопросы различных анкет, указал: «На оккупированной территории не находился». Бдительные особы легко изобличили его, хоть он и упорствовал, утверждая, что зона действий отряда Шрайбера не была оккупированной территорией. Разбирательство по этому поводу длилось долго и сопровождалось разными репрессивными акциями — от сидения на гарнизонной гауптвахте до окончательного определения на службу в Заполярье. Там, в отдельном строительном батальоне, состоящем из одних штрафников, он и прослужил три года, получив все сполна: цингу, обморожения, травмы... Там подверглись жесткой проверке принципы, заложенные в школе Шрайбера. И они выдержали испытание.

Во время всего многочасового рассказа Лейзера Двойриса меня сверлил один вопрос: почему же он, единственный из шрайберовцев и последний из граковских евреев, остался здесь? Почему не уехал туда, где так легко жить в согласии со своими убеждениями? И перед расставанием я этот вопрос задал.

Сначала он хотел отделаться кратким: «Бывает и так», но не удержался и рассказал о своем сыне Маркусе, несколько лет тому назад погибшем в автомобильной катастрофе. Воспитанный в шрайберовском духе, он, тем не менее, во время учебы в институте влюбился и женился на украинской девушке Оле, родом тоже из этих мест. На хорошей девушке, подчеркнул Двойрис, любящей и умной. Вскоре у них родились мальчишки-погодки — Соломон и Давид. Скорее всего, они бы все вместе уехали в Израиль. Оля не возражала, хоть и побаивалась. Смерть Маркуса все изменила. Теперь она не рискует остаться в чужой стране одна. Все уговоры Лейзера бесполезны. Согласна она лишь с одним: когда мальчишки вырастут (сейчас им 11 и 12 лет), они решат сами, а она не будет противиться их решению.

«Как они решат, я не знаю, — закончил разговор Двойрис, — но они будут знать, из чего выбирать. Я же не зря прошел школу Шрайбера. Прошли ее и они. И если я умру на этой земле, и рядом не окажется ни одного еврея, мои внуки Шломо и Давид смогут прочесть надо мной кадиш».

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА

До Киева Гаркуша добирался пять дней, и пришел на его окраину лишь третьего октября. Пришел один, хоть из их особого батальона НКВД, сформированного из спортсменов-динамовцев и попавшего в безнадежное окружение севернее Киева, вместе с ним ушло еще трое. Но легкоатлет Иван Лушник решил не искушать судьбу и подался к родичам в село, пловец Сергей Сиренко получил смертельное ранение, подорвавшись на mine, а гимнаст Петя Кац просто исчез — ушел на рассвете по-

смотреть, что там впереди, и навсегда растворился в окутанном туманом лесу.

Зачем Гаркуша шел в Киев, он и сам не знал: ведь именно там его подстерегала наибольшая опасность. Конечно, он не энкаведист в полном смысле этого слова, но боец батальона НКВД — тоже лакомый кусок для немцев. Не зря же их политрук Козловский повторял: «Для нас плен — это смертный приговор».

В Киеве наверняка предстоит прятаться. А у кого? У родителей? Как бы им самим не пришлось скрываться. Судя по слухам, фашисты стоняют евреев в гетто, а чуть что — и казнят без суда и следствия. Слава богу, хоть жена с сыном успели эвакуироваться с управлением НКВД.

Вообще, представления о немцах у Гаркуши были какие-то мутные: по-существу, их батальон так и не сошелся ни разу с противником в непосредственном бою — все время вокруг них циркулировали какие-то десантные группы, которых никто толком и не видел. Потом они оказались на пути движения фашистской танковой колонны, но так как ничего, кроме легкого стрелкового оружия и ручных гранат не имели, то и в бой не вступали. Лишь стрелок Семен Максимчук открыл огонь из карабина, целясь в смотровую щель танка, и, кажется, попал, потому что одна машина на какое-то время остановилась, но другие, развернув башни, обстреляли кустарник, где залег батальон. В результате: пятеро убитых и семь раненых.

Главным источником сведений о немцах являлись окруженцы или бойцы, потерявшие свои части. Они сообщали подчас совершенно невероятные рассказы, например, о каком-то таинственном оружии, поражавшем целые войсковые соединения на расстоянии. А один красноармеец, бежавший, как он утверждал, из плена, рассказал, что фашисты немедленно расстреливают всех без исключения евреев и политруков. Борьбу с последними как с идеологическими противниками еще можно было понять, но евреев?!

Командир батальона майор Лукинин пригрозил беглецу трибуналом за распространение панических слухов, но Гаркуша ему поверил: ведь, в отличие от других, красноармеец рассказывал не с чьих-то слов, а видел все собственными глазами, называл имена, фамилии. Поверил, но для себя объяснил так: наверняка расстрелы осуществляли эсэсовцы, да к тому же, скорее всего, командиром части оказался озверелый антисемит. Так было спокойнее — думать, что речь идет об исключении.

Входить в Киев Гаркуша решил через Пуща-Водицу, а затем — Куреневку, с которой можно по ярам дойти до Сырца, а оттуда — на Шулявку, на улицу Керосинную, к родителям жены — Степану Ильичу и Антонине Леонтьевне. У них можно переждать несколько дней, осмотреться, разобраться, найти выход. Должно же в городе существовать подполье, разветвленная сеть, раскинутая НКВД. Ведь были десятки и сотни людей, специально готовившихся к этому. Гаркуша лично знал несколь-

ких из них, а с Васей Черняком даже дружил. Он был уверен: если удастся выйти на Васю, тот поможет не только спрятаться, но и найти свое место в оккупированном городе. Если же обнаружить агентурную сеть не удастся, можно податься в цветоводство, к Денисовичу. Уж он-то придумает что-нибудь, найдет какую-то роль для него — подсобного рабочего, что ли. Впрочем, кому теперь в городе нужны цветы?

Все эти мысли приходили Гаркуше в голову, пока он пробирался через пушанский лес, стараясь держаться подальше от жилья и дорог. Свою энкаведистскую фуражку с голубым околышем он, конечно, давно выбросил. Более того, избавился и от гимнастерки из командирского шевиота, сменив ее на какую-то нелепую, явно маленькую для него кофту, найденную в лесу. Но галифе и армейские сапоги все еще были очень заметны. А главное, что демаскировало его, не позволяло затеряться в толпе — статья: рост под два метра, широченные плечи, огромные, мощные руки. Он вдруг почему-то вспомнил, как на первенстве СССР по классической борьбе в Москве, где он в третий раз стал чемпионом страны в тяжелом весе, к нему подошел легендарный чемпион мира дореволюционных еще времен Иван Максимович Поддубный и, поздравив, пошутил: «Тебе бы, земляк, в цирке выступать. Был бы королем манежа!»

Тогда это звучало высшей похвалой, но теперь становилось главной проблемой. В Киеве слишком хорошо и слишком многие знали его фигуру. Да, очевидно, из города придется уходить...

Но куда? И как?

Тем не менее, до Куреневки он добрался почти без приключений. Держась подальше от старой трамвайной линии, он лишь однажды чуть не наткнулся на стоящий поперек улицы немецкий грузовик, из которого выпрыгивали солдаты, явно готовясь к какой-то операции. Уйдя в сторону, он совсем уж было решил сразу пробираться к отрогам Бабьего яра, чтобы выйти на Сырец, но в последнюю минуту решил рискнуть — очень уж хотелось зайти к Фишманам: они, наверняка, знали, как там его старики.

Двухэтажный деревянный дом в Цыганском переулке казался необитаемым. Уже темнело, но ни одного огонька не мелькнуло в его окнах, ни один голос не ответил на его тихий стук в дверь фишмановской квартиры. Постучав более настойчиво, Гаркуша обнаружил, что дверь не заперта, и вошел. И, не успев даже адаптироваться к темноте, услышал скрип вновь открываемой двери и испуганный голос: «Ты шо тут робыш, чоловиче? От я зараз полицию свысну!..»

У стоящего в дверном проеме, кажется, действительно был свисток, и он собирался им воспользоваться. Гаркуша рефлекторно схватил его за руку, чуть не выдернув ее.

— Ты шо, грабувать прийшов? — просипел незнакомец, пытаясь вырвать руку. — Так нэма тут ничего, вжэ всэ забрали...

— Молчи! — тоже шепотом приказал Гаркуша. — Не грабитель я. Фишманов ишу. Знаешь, где они?

— Уйшли, уйшли Фышманы.

— Как ушли? Все? — Гаркуша имел в виду прикованного к постели дедушку Элю.

— Все, все! И дида на тачке повззлы, — как бы поняв его, ответил незнакомец.

— Куда повезли?

— Ты шо, чоловіче, з нэба впав? Не чув, шо вси жыды... извиняюсь... еврэи пойшли в яр?

— В какой яр? Зачем?

— Ты скудова прийшо! Ты з плену прийшо! Да? Двадцять девятого ж вэрэсна вси киевские жыды... извиняюсь... еврэи за наказом пойшли в яр...

— А где же они сейчас?

— Та на нэби, мабуть.

— Их что — убили? Всех?!

— Та вжэ ж обратно никого нэ вэрталы, — усмехнулся человек. Еще не осмыслив сказанного, но уже поверив ему, Гаркуша почувствовал, как кровь бросилась в голову: «Всех? Неужели всех? Значит, и родителей... Но за что же? За что?»

— В каком яру? — только и смог он выдавить из себя.

— Та в Бабыному ж, — ответил незнакомец.

«А я хотел по нему уходить на Сырец...» Не задавая больше вопросов, Гаркуша вышел из фишмановского дома.

— Про меня забудь, — обернулся он к стоявшему в дверях человеку. — Не было меня, понял?

Тот в ответ вроде бы кивнул. Было ясно: не забудет. И впервые пришла мысль: «Могут выдать», и погнала его совершенно безлюдными улицами Подола.

На Керосинную он пробрался под утро — задубевший от холода и голодный до того, что мог думать только о хлебе с кипятком. На его неровный стук в дверь, а потом в окно долго никто не отвечал. Наконец, кто-то завозился за дверью и послышался приглушенный голос тестя:

— Уходи, добрый человек! Нечего ходить по ночам. За это знаешь что? Уходи!

— Степан Ильич, это я! — шепотом закричал Гаркуша и услышал, как ахнул за дверью тесть: «Боже мой!» Раздался скрип каких-то засовов, и дверь отворилась. В свете копилки обозначилась фигура в нижнем белье с лицом таким же белым, как и подштанники.

— Арон! — снова ахнул тесть и, вроде бы, попытался загородить зятю дорогу в переднюю. Но тот всей своей массой уже шагнул за порог, мимовольно отметив, что Степан Ильич произнес имя, которым здесь его никогда не называли. Именно родители жены начали называть его

Аркадием (жена называла Ариком). С их легкой руки так его стали называть все.

— Ты что? Ты откуда? — бормотал тесть, даже не пытаясь скрыть свою растерянность. — Как ты в такое время? Да ты знаешь, что за это?

— Знаю! — отрезал Арон, хоть ему еще не было известно, что за укрывательство евреев полагается расстрел.

Узнав и это, он понял: насмерть перепуганные тесть и теща (она вышла к ним в накинута на нижнюю рубаху платке) не только не хотят спрятать его, но не позволят остаться даже до вечера, не дадут поспать хоть несколько часов. Их трусость не разозлила, а обессилила его: сразу опустились плечи, повисли руки.

— Дайте хоть кипятку, — совсем слабым голосом попросил он.

И теща бросилась разжигать примус, хоть тесть явно предпочел бы выставить его сразу. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пока Арон пил крутой кипяток с черствым хлебом.

— Куда же ты теперь? — жалобно спросила теща.

— В яр, — ответил зять, и старуха заплакала.

Когда Арон выходил из дома, было уже почти светло. Во всяком случае сосед, внимательно наблюдавший из своего окна, смог хорошо рассмотреть его. Не успел Гаркуша исчезнуть за сараями, а Степан Ильич закрыл дверь, как сосед уже стоял перед ним.

— Что, Степан, зятек приходил? — вкрадчиво спросил он.

— Ты что, Васильич, какой зятек? — жалким голосом прошептал Степан Ильич.

— Брось, Степан! Как его не узнать? Такому никакое энкаведе не поможет.

Степан Ильич по-прежнему стоял в подштанниках и бормотал что-то совершенно несуразное.

— Ты успокойся, — положил ему руку на плечо сосед. — Решим все по совести. Сам сообщишь или мне придется?

— Побойся бога, Васильич, — опять забормотал Степан Ильич. — Ты что придумал? Как это «сам»?

— Сам — это ты сам. И учти, если сообщу я, вы как укрыватели будете проходить, понял? Так что выбора у тебя нет. А супруге можешь не говорить — между нами останется.

Ничего не зная об этом разговоре, Арон Гаркуша стремительно ухаживал в сторону Лукьяновки, рассчитывая отлежаться днем в известном ему разрушенном доме на Глубочицкой, а ночью сделать последнюю попытку спрятаться в городе — достичь цветоводства. А если и Денисович не сможет укрыть его, он опять уйдет в лес. Должны же быть там где-то партизаны!

Когда на вторые сутки он добрался до цветоводства, его там уже ждали. На его легкий стук в дверь, она сразу отворилась, а за нею оказался немец с автоматом, направленным прямо Арону в грудь. За спиной немца

маячили еще две фигуры в штатском с какими-то повязками на руках и с винтовками наперевес.

Сопротивляться было бессмысленно, но странное ощущение появилось у Арона: он почувствовал, что в любой момент может справиться с этими тремя мозгляками, и решил только не делать этого здесь — чтобы не подвести Денисовича, и потому позволил обыскать себя и отвести в закрытую машину, стоявшую за деревьями. И как он ее только сразу не заметил?

Пока ехали, у него было время подумать о возможном предателе. Куда он пойдет, не знал никто. О существовании же цветоводства знал только один человек — тесть. «Неужели он? А больше некому. Но как же он сможет встретиться со мной после этого?» — подумал Арон. Что такая встреча уже невозможна, ему даже в голову не приходило. Ощущение, что он в любой момент может расшвырять этих шавок, не исчезало. Просто нужно дожидаться, как это бывает во время борцовской схватки, когда точно выбранный миг позволяет взметнуть противника в воздух и швырнуть его на ковер.

Ему показалось, что такой момент наступил, когда машина остановилась, и один из конвоиров выпрыгнул на землю, а второй подтолкнул Арона к дверце. Ничего не стоило стиснуть ему горло и вырвать винтовку, а там... «Нет, — сказал он себе. — Не сейчас. Надо осмотреться». И вылез из машины.

Оказалось, что они подъехали к Лукьяновской тюрьме, и вокруг машины вертится по крайней мере десяток полицаев и несколько немцев в черных мундирах. «Значит, придется посидеть в тюрьме», — подумал Арон. И ошибся.

Его не поместили в камеру, а завели в какую-то комнату, где сидел немецкий офицер, тоже в черном, через переводчика задавший ему несколько вопросов, показавших, что они знают о нем почти все — и о борьбе, и о динамовском батальоне, не говоря уже о еврействе.

Затем его опять повели к машине. В ней рядом с шофером уже сидел немец в черном мундире. Конвоиры, к которым присоединился еще один, подтолкнули его, и он влез в кузов. То, что не оставили в тюрьме, показалось ему добрым знаком. Как и то, что не связали рук. Момент приближается — это ощущение не покидало его. Трех же конвоиров он по-прежнему не считал серьезной силой, особенно новенького — низкорослого, кривонногого типа в нелепой в теплый октябрьский день барашковой папахе, полувоенном френче и портуpee с пистолетом.

Ехали, как показалось Арону, по направлению к Сырцу, и не очень долго. На подъезде к конечному пункту машину заполнил тошнотный трупный запах. Он лез во все щели, и хотелось зажать нос, вообще не дышать. Арон догадался, куда его привезли.

Когда открылась дверца, его догадка подтвердилась: они прибыли к Бабьему яру, а, значит, выход отсюда только один — через сам яр. Мысль

работала четко: «Нужно позволить довести себя до края, а потом броситься на конвоиров и, прикрываясь кем-то из них, прыгнуть в яр...»

Немец шел впереди, за ним — Арон в полукольце конвоиров. «Лучше всего схватить немца», — решил Арон. Эсэсовец был на расстоянии одного рывка, до обрыва оставалось метров двадцать. «Сейчас, сейчас» — стучало в голове. Прислушиваясь только к себе, он не видел, как кривоногий вынул пистолет. «Еще три шага! Два!..» В этот миг конвоир выстрелил ему в затылок.

Падая с шагом вперед, Арон почти настиг немца. Руки его вытянулись, но уже не было в них силы. Его огромное тело грохнулось на землю, и подскочивший кривоногий еще два раза выстрелил ему в голову.

От выстрелов над яром поднялось воронье, но не слишком высоко и ненадолго: птицы уже успели привыкнуть к стрельбе и не боялись ее.

Михаил Генделев

Михаил Генделев — известный израильский поэт, пишущий по-русски. Его своеобразная поэзия не слишком легка для чтения, но густо ассоциативна и напряжена.

В ней явственны «родовые» черты ленинградской поэтической школы, традиции которой Михаил Генделев развивает в Израиле.

СОБАЧИЙ ВАЛЬС НОВОГО ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯНОСТО СЕДЬМОГО ГОДА

Только
в жмурки
себя сохраняет разум
улыбаясь
чтоб глаз не открыть совсем
это надо ж как я
возношу гримасы
и
евреем в железной постели сел
когти к зубу
перо к бумаге
на живом — Готеню — на живом
я
репетирую вальс собаки
с вдохновением и божеством
свет
и выключенный снаружи
в доме черепа задарма
по
сторонам только корчить рожи
на
свет
из
нутра ума
из умозаключения
причем
только
в первую тысячу лет
значение
вообще имеет назад отсчет
и

здесь
я настаиваю на счастье
в любви
а уж в смерти как!
здесь
я
небу
настаиваю на чести
демонстрации языка
я
бы настаивал и на участи
мотылька
как в несчастном полета случае
так и в случае кувырка
мой
мотылек
он
в своей манере
не
верует в факт огня
здесь
никто не настаивает на вере
в факт бессмертья меня
впрочем
не
существование
смерти моей и моей любви
как закон Архимеда сидящему в ванне
венозной крови
смерть найдется
кабы
была собака
что называется пошутил
возопьем что ни попадя из Архилоха
например
на копые опершись
этил
так дитя
отряхивается от страха
смеясь до конца каникул
фиг
изо рта я хихикаю хлопья праха
как в Дахау опорожняют
тигель

теплый ажурный жирный
пепел мотыльков
по команде
фас
на бис
выполняет поклон при жизни
а раздухарившись и целый вальс
и это искусство танца похоже
что
дело когда труба
луна
абажур из собачьей кожи
даже лучше
чем барабан
здесь
на свету танцплацу Эль Кудса
с пятью минаретами по углам
если речь пошла об искусстве
то
и
танец
на
пополам
а косой вальсок задует сбоку
поклон
не велика печаль
офицер приглашает на вальс собаку
как
я и обещал.

Йосиф Бродський
З ЦИКЛУ «ЧАСТИНА МОВИ»

Нізвідкіль із любов'ю, стонадцять, листомарт,
дорогий шановний кохана, а втім, байдуже,
хто б не був, скоро лиць розрізняти уже не варт:
позливались, — не ваш, бо й нічий найдорожчий друже
посилає до вас уклін із одного з п'яти
континентів — отого, що держиться на ковбоях;
я любив тебе дужче, ніж Бога, тож нині ти
куди далі од мене, ніж він; зостаюся з собою
у глибоку запівніч, у сплячій долині, на дні,
де будинки втопають у сніг по віконні луки,
плазувати постіллю, чисто як — ні,
не скажу, як що саме, — з тваринним муком
твое ймення в подушку вмінати дарма
за морями, крізь котрі нема дороги,
власним тілом, що дзеркалом без ума,
повторяючи потемки риси твого.

Переклала Оксана Забужко

Евгений Рашковский

ДВОЙНИК

Янушу Сукенницкому

Во дни великие и озорные,
когда на мир
наваливалось лето,
скитался я
по той Гефсимании,
которую зовут Варшавским гетто.

И все блуждал
в полупустых пространствах,
и все блуждал,
заглядывая в лица,
и все блуждал со мной
двойник мой странный
по Дикой, Павьей или Кармелитской.

Таков удел:
в пространствах безответных,
в любом со смертью сопредельном крае —
душа
сама себя напоминает
езде —
в нужде,
в Гефсимании,
в гетто.

25.05.89 (Варшава)

Из Артура Мендыжецкого

Бой колес и конвойный посвист
Кто-то шепчет строки «Inferno»...
Страстотерпец российский — Осип...
Даль земная — немилосердна.

Только ветры да грай вороний,
только версты волчьей печали..
Эскимосская Персефона
молча дышит в стылые дали.

08.06.89

Вариации на темы из Талмуда

Кто легко находит людей, но и теряет легко —
у того убыток
превыше прибытка его.

Кто с трудом находит людей, но и теряет с трудом —
у того прибыток
превыше убытка его.

Кто легко находит людей, но теряет с трудом —
блаженна
доля его.

Кто с трудом находит людей, но теряет легко —
злосчастлива
доля его.

06.11.90

Из Эрнеста Брылля

ЗАСТАВКА К ПОЛЬСКОМУ ВАРИАНТУ ПЬЕСЫ «ХА-ДИББУК»

Коль нас Господь к себе подымлет, —
зачем, из вечности спеша,
срывается на эту землю
собой не ставшая душа?

Зачем душе такая прыть
в ее паденье несвободном?...
Чтоб от провалов преисподней
возобновить, восстановить
себя в подъеме благородном.

Коль нас Господь к себе подымлет, —
зачем, из вечности спеша,
срывается на эту землю
собой не ставшая душа?

Взмывая ввысь, наш малый свет
в огне творящем растворится.
Душа — подстреленная птица,

когда в ней примиренья нет...
Струна дрожит, и звук рождается.

Но нас Господь к себе подымлет,
и все ж — из вечности спеша,
срывается на эту землю
собой не ставшая душа...

13.04.91

МИХОЭЛС:
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ИЗ ОВСЕЯ ДРИЗА

Фиолетовый день
то сжимался,
то таял,
и в беспомощном спазме
притихла земля...
А за Малой за Бронной
все катили, катили трамваи...
А в Москве провожали
своего короля.

И с надрывом великим,
но — благоговейно,
обнимая земное безмолвье и плач,
над московскими кровлями, —
с ликом Эйнштейна, —
словно дым крематория, —
некий скрипач.

Ну, — а день фиолетовый
все сжимался
и таял...
И в беспомощном трансе
цепенела земля...
А за Малой за Бронной
все звенели, звонили трамваи...
То Москва провожала
своего короля.

15.07.91



*Чудище обло... и т.д.
Василий Тредиаковский*

Древних лесов
сокрушая своды,
все перетаптывая на пути, —
палеонтологический
гнев природы,
через который
надо пройти.

Кто там отдышится
в жизни будущей?
Кто из людей
проскочить готов
через агонию
древних чудищ,
через битье
когтей и хвостов?

Кто отойдет
в подземные штольни?
Или —
в прапамяти
глубины?
Чудищам — страшно.
Чудищам — больно.
Чудища —
смерти обречены.

05.06.92

ХОККУ ОБЛАКОВ

Западный ветер
По холмам Иудей —
синие тени.

14.06.92 (гора Скопус)

СТУПЕНИ

Эта жара —
легка мне.
В росчерках
света и тьмы —
желтые мои камни.
Крутые мои холмы.

Чье
выкликает имя
вечностью
звонкий шаг?
Неужто в Ерусалиме? —
В себе
побывала душа.

19.06.92

РОССИЯ

(из Самуила Галкина)

Эх, Россия, Россия... Быть бы чуточку поравнодушной к тебе, —
промолчал бы иль, может быть, выступил с речью плачевной:
обвинил бы тебя в бестолковой всей нашей судьбе, —
дескать, ты лишь виновница наших цыганских кочевий...

Только все же спросить нам, Россия, позволь,
хоть привычны еврейские пени:
для чего бережем мы так жадно позор свой и боль, —
словно каждый тумак от тебя — драгоценен?

А присмотришься к собственной нашей судьбе:
что за силы вели чрез морские стихии,
чрез равнины и горы, — неужто на горе себе, —
ради будущих светлых прешпектов великой России?

В нашем диком наследье, в бегах за звездой своей —
что же гонит, что тянет к тебе моих братьев?..
Под звездами твоих озаренных, холодных степей
умираем в твоих объятьях.

1923 / 11.12.92

ВОЗВРАЩЕНИЕ

(из Кшиштофа Грушинського)

Рабби Йехуда, сын Елеазара,
был из тех,
что вышли из-за проволоки колючей.
И вот, на каком-то из полустанков
повстречался ему какой-то земляк-еврей,
тоже из концлагеря освобожденный.

— Ты жив, учитель? — еврей воскликнул. — Неужто живой?

— Спасибо тебе за слова такие, — отвечал рабби
Йехуда, — ибо в том, что живой, — не был я вполне уверен.

И, поразмыслив, добавил:

— Много таких, которые еще живы, а думают, что уже
мертвы. И много таких, которые уже мертвы, а думают, что все еще
живы...

— А я, рабби? — заволновался попутчик. — А я?

Уклонился рабби Йехуда от ответа.

Оба ехали в поезде далеко и долго, встречая по дороге живых
и мертвых, но отличить их друг от друга было невозможно.

30.01.93 (Варшава)

ОДА

Не все еще смыслы доступны,
в туманах — извивы реки...
Любите библейские буквы,
любите словес огоньки...

И небо над нами над всеми
распахнуто... Время — бежит...
Любите текущее время.
Любите слова: «Бе-решит...»

Любовь никого не покинет:
к тебе из неведомых стран
сквозь все рубежи и пустыни
верблюжий плывет караван,

и бычий красуется алеф,
в святилище дверь отперта, —
за алефом — камень отвален...
Распахнуты в Небо врата...

Не все еще смыслы доступны,
в туманах — извивы реки...
Трепещут библейские буквы,
трепещут словес огоньки...

12.08.93

ПИСЬМО НИОТКУДА

Дорогая,
В некотором царстве, в некотором государстве
есть крохотный городок Казимеж,
полупустой городок Казимеж,
над белой стремниною превознесенный.
Совсем бы заkis городок Казимеж,
когда б не паслись в нем туристские толпы,
членистоногие туристские толпы,
глазья на завитушки барокко.
Но —
под сенью кондитерских фронтонов
прячется
суровая синагога,
суровая безмолвная синагога.
Нынче дом Божий пуст, оставлен, —
Нет в Казимеже больше евреев, —
ушли они куда-то под землю,
собою удобривши сию скудную землю.
Духу ихнего в Казимеже не осталось...

Только, дорогая, странное дело:
яблоня у старой синагоги
наливается красными плодами,
тяжелыми сентябрьскими плодами,—

издали видать их мерцанье, —
в сером воздухе осени польской.

Яблоня меня вопрошает:
«А ты почему не ушел под землю?...»

Нет в Казимеже больше евреев,
только вот у старого рынка
яблоня одинокая пламенеет...

Я здоров,
никого не забываю
и целую твои колени.

Казимеж — Люблин 16-17.08.93

Юрій Вудка

Ім'я Юрія Вудки добре знане серед тих, хто знайомий з правозахисним рухом 60–70-х років. Борець за права радянських євреїв, він у Мордовських таборах вперше зустрівся з «українськими націоналістами» і дуже швидко щиро заприятелював з ними. Саме серед них він побачив взірцеві приклади мужності і принциповості, відданості й любові до своєї сплюндрованої України. Це вони не лише навчили Юрія Вудку української мови, але й надихнули на справжній подвиг: маючи вийти з табору першим, він вивчив напам'ять вірші своїх друзів і так, у голові, виніс їх на волю. Невдовзі вони з'явилися у самвидаві та зарубіжній вільній пресі.

Опинившись в'єнці-реши в Ізраїлі, Ю.Вудка не забув своїх побратимів, які ще тягли зеківську лямку в таборах Мордовії та Уралу. Він брав участь у всіх кампаніях за звільнення радянських «в'язнів совісті». В цьому ж сенсі, з метою ознайомлення громадськості світу з деякими з них, він написав спогади про своїх друзів-однотабірників — Євгена Сверстюка, Олеся Сергієнка і Степана Сапеляка.

Саме нариси про них ми й пропонуємо читачам «Єгуця», бо вони вийшли друком лише 1983 року в Мюнхені (Українське видавництво — «Острівки приязні. Збірник спогадів і статей про українсько-єврейські стосунки»). Ця книжечка навряд чи відома в Україні, а спогади Юрія Вудки варті того, щоб з ними познайомився широкий загал читачів.

СПОГАДИ ПРО ДРУЗІВ

ШЛЯХЕТНІСТЬ

Саме це слово спадає на думку, коли бажаєш охарактеризувати особистість Євгена Сверстюка.

— Ви сиділи з ним? Яка ж то гарна людина! — казали мені його знайомі вже тут, в Ізраїлі.

Коли починаєш згадувати про це, свідомість ніби розпадається на дві частини.

З одного боку — сім'я, праця, армія — звичайне життя на своїй землі. З другого — колючі дроти, ґрати, знущання, злидні, засніжені чорні ялини замість осяяних сонцем пальм.

Важко поєднати у свідомості ці два різних світи. Ніби різні люди жили в них. І все ж неможливо позбавитися свого другого «я», що живе у концтаборі на краю світу. І одне із найяскравіших вражень з того світу — це янгол у пеклі: Євген Сверстюк. Ось він іде — у навмисно вибіленій у

хлорці таборовій робі, у такому ж вибіленому кашкеті, з ясними розумними очима і світлою посмішкою на устах. Не пристає до нього бруд, не пристає блекота й сірість, нудьга й жах, ненависть, злоба й дикість — все те, чим напоєно навіть повітря того світу.

У темній кам'яній труні карцеру ця людина творить вірші, прозорі, як світло, і свіжі, як весна. І сам він схожий на промінь серед безпросвітної ночі. Він пише «Реквієм», присвячений Горській і Симоненкові:

Мені легше до вас рукою,
Ніж до сходів по той бік стін.

Йому легше об'єднатися з мертвими друзями, ніж зрадити їхню пам'ять.

Нині місяць примарно-синій,
А під місяцем тільки тіні
І хвилине видіння моє.
Пролітай, легкокрила пташино!
Хай у крилець твоїх тріпотінні
Усміхнеться юнацтво моє.

Важко повірити, де, в яких умовах була створена така краса. Радію, що мені пощастило врятувати такі цінності й вивести їх у вільний світ з того пекла, у якому будь-яка краса, добро і святість нічого не варті.

У Михайла Луцика є вірші про те, що залишать по собі ті, що проголошують себе благодійниками людства: «тільки трупів таємні рови, в яких свідки страждання і жаху».

Але по Євгенові залишиться щось зовсім інше. Не тільки розум і краса, втілені в його книгах, але особливе ставлення до життя:

Ти стоїш на молитві з дитям,
Де жевріє мій спадок — честь.
Облітають хвилини життя.
Тільки пам'ять. І білий хрест.

І тут треба звернути особливу увагу, що серед московської блекоти, розпусти й підлого рабства навіть слово «честь» виглядає ворожим і незрозумілим білим круком. Для спадкоємців Чингісхана і вчителів Гітлера такого поняття взагалі не існує. А тут не слово, не уявлення, а жива людина, що є втіленням чести. Як не зненавидіти її, як не запроторити, як не розчавити? Отже, така людина самим образом своїм являє живий докір і живе звинувачення всім чортам і чортеняттям московського брудного пекла. Наче не з пороку, не з землі була виліплена вона, як інші смертельники, а з шляхетного мармуру, що раптом ожив. Так само і книги його сповнені неземної духовності, добра й краси. У своїй творчості він сягає тих ніби рідних йому висот, де національне культурне надбання переходить у вселюдську скарбницю. Рідко можна побачити людину, у якій слова і вчинки поєднані у таку велику цілісність шляхетної особистості.

Євген народився у Волинському селі Сільце Горохівського району, з котрого походить і Валентин Мороз. Це та сама околиця, тільки інше

село. Мабуть, є щось особливе у землі Волинській, коли з неї походять такі люди. Село було для хлопчика цілим світом, великим і чаруючим. Батьки Євгена, звичайні селяни, важко працювали і привчали до праці численних дітей. Їхньою природною мрією було прикупити ще землі, щоб кожному синові на господарство вистачило. Але рано вони помітили, що Євген відрізняється від інших дітей. Душа його не линула до господарства, а шукала чогось іншого, незрозумілого. І батько казав про хлопчика ті приблизно слова, що багато раніше чув про себе малий Тарас: з нього буде або велика людина, або велике ледащо.

Життя грубо зруйнувало майже всі сподівання родини Сверстюків, та й саму цю родину. Прийшла московська орда, землю відібрала, синів, що захищали свій край, повбивала, загнала решту людей у концтабори та колгоспи. Неначе часи фараонів знову повернулися на світ. Сьогодні з усієї великої родини залишилася тільки дев'яносторічна мати Євдокія Яківна, що бідує у злидненному колгоспі, та її восьмий син Євген у далекій московській неволі... Але навіть серед здичавілої, zdeгенерованої ворожої навали вдалося хлопцеві зберегти чистоту своєї душі й крила її прагнень. Ця душа не пішла в яничари до диявольської сили, а віддала себе на служіння своєму розтерзаному народові та загальнолюдській красі. Не було в Євгена танків чи літаків, була тільки чиста душа, світлий розум і добре слово. Саме за вживання цієї «зброї» відірвав його ворог від дружини, від матері, від сина й кинув туди, де будеться соціалізм по Данте.

Приклад Сверстюка яскраво доводить, що немає іншого шляху до загальнолюдських надбань, крім національного. Тільки через національний щабель можна піднятися до загальнолюдського. Якщо надії й муки твоїх кривних, якщо згвалтування й вбивство душі й тіла твого народу не хвилюють тебе, не викликають природного відгуку, то що ти можеш сказати решті людства?

Досить було б Сверстюкові зректися своїх переконань, оплюгавити все святе, його б негайно звільнили. Але він на це ніколи не піде.

— А чому б вам не перейти у своїй творчості на російську мову? — настирливо питали у нього слідчі.

Як це не дивно, але у великій державній російській літературі немає сьогодні таких дивних митців, як Сверстюк, Стус, Різників, — українці-в'язні. Муза й краса чомусь линує до них, зацькованих і заборонених, до їхньої зацькованої мови.

Чи може колонізатор допустити, щоб найкращі шедеври творилися тією мовою, що за його плянами має взагалі сконатися? І от Мордовія, Урал, Сибір поповнюються цвітом української інтелігенції — вже котрий раз! Але ні в яких казематах, ні за якими дратами, ні в якій бе́тоновій труні не вдається поховати пісню. Через крижани двометрові стіни, понад устаткованими іноземною електронікою парканами, високо над вежами, над вівчурами й катами лине душа людини на крилах пісні. І проді-

стається у великий світ, і зворушує тисячі сердець на протилежному кінці земної кулі.

Так, душу не можна поховати, неможливо закувати! Можна вбити тільки тіло, у якому вона тимчасово перебуває:

Зовсім поруч я раптом упали...

Сверстюк відчуває, що і його чекає доля Алли Горської:

...Поблякнуть барви в очах,

Схолоне серце на мент,

І щось упаде, як птах,

Долі на сам цемент.

Явитесь всі ви знов,

І спалахне в мені

Стишена вже любов

Зорями аж на дні...

На самій межі між життям і смертю народжуються такі рядки...

Коли Сверстюк ще жив у Києві, до нього якось напросився на ніч викладач математики Кам'янецького педінституту Дудар. Як він пізніше казав на суді, тоді ж він склав на свого гостинного господаря чернетки доносу, що через кілька років ліг в основу звинувачення й засудження письменника-патріота. Ось хто сьогодні виховує майбутніх вихователів...

Що ж за страшні злочини фігурували в доносі нічного гостя? Дудар твердив, що Сверстюк казав йому про русифікацію й арешти на Україні, про користь релігійного виховання, про те, що Біблія — книга книг... Аж волосся ворухиться на голові, коли чуєш про такі страхіття... Проте Сверстюк відкинув саму можливість докладної і відвертої розмови із незнайомою нічною потворою.

— Коло мене кожного дня є досить гарних людей — гарних і духовно, і фізично, — щоб я шукав розмов із цією потворою, — сказав Сверстюк на очній ставці. — Та й про що розповідати? Якби він спитав мене про русифікацію, я б просто послав його на вулицю: вийди та послухай, яку мову чути.

«Свідок» зникновів і почав зрікатися своїх зізнань. Тоді прокурор перебив «свідка», і сам замість нього продиктував слідчому все те, що бажав! Прізвище прокурора — Погорілий, слідчого — Чорний, судді — Дишло.

На суді «свідок» Дудар казав, що він, не зважаючи на своє польське походження, не має жодних національних почуттів, а є тільки совєтською людиною, і тому засуджує Сверстюка, який кілька років тому погодився пригостити його у себе...

Повернувшись у камеру, Сверстюк не міг заспокоїтися, поки під крокування від стіни до стіни не витворив вірш, стилізований під «Енеїду» Котляревського:

Дудар у пеклі

Там Дудар вив печерним звіром.
На чотирьох він лазив босий
І на жаринах, знай, стрибав.
Портфель з чернетками доносів
До пуза ревно притискав
І на чортів зубами шкірив...

Добре було б, якби студенти Кам'янецького педінституту довідалися, хто є насправді їхній шановний викладач Дудар.

Дванадцять років концтаборів і Сибірського заслання отримав Сверстюк від окупантів за те тільки, що він є людиною сумління й хисту. І те, і друге — протисовєтські явища, що підлягають найсуворішому покаранню. Ті муки, що їх терпить людина у концтаборах, тепер досить відомі. Безсумнівно, для такої тонкої й чутливої людини з ніжним, вразливим поетичним серцем — муки потроюються. Чого коштує для такої людини один тільки абсолютний відрив від улюблених близьких...

Сверстюк любить свій народ і віддає себе у жертву на його вівтар. Але ж як чудово він знаходить спільну мову з людьми інших народів! Коли ми вперше зустрілися на Уралі, то відразу почували себе, як давні знайомі. Сверстюк розповів мені, що коли він прибув у концтабір за три роки до того, йому відвели ліжко, на якому було намальовано моє прізвище. Сам я уже був вивезений у Владимирську тюрму.

Він переклав вірш литовського повстанця, засудженого на 25 років концтаборів, Йонаса Каджioniса, що присвячений зрозумілій усім націям темі: матері.

Цим досі ще невідомим перекладом я хочу закінчити свою розповідь.

Затужив я, мамо. Слово заміло...
Тільки твої очі і молитви спів...
Стільки літ самотніх тільки ти зіграла.
В холод, смерть і ночі промінь твій яснів.
І від серця к серцю передав той промінь,
Той порив священний до добра й краси,
Котрий протриває в попелі, в полові.
Тільки вічне небо, тільки ти єси.

ВЕЛИКИЙ СТРАЙК В УРАЛЬСЬКОМУ ТАБОРІ (Степан Сапеляк)

Серед героїчних сторінок спротиву політ'язнів 70-х років особливе місце посідає масовий страйк в Пермському таборі ч. 36 в 1974 році.

Цей концтабір був укомплектований у червні 1972 року, коли політ'язнів розділили на дві географічні групи: одну частину залишили в ста-

рих концтаборах Мордовії, а другу страшним смертельним етапом перегнали на Урал. Сітка політичних концтаборів розширювалася.

Ще в Мордовії почалися спільні акції протесту політв'язнів різних націй, але тоді вони не досягли ще такого розмаху і сили, як на Уралі.

Мордовія була лише прологом і для знущань брежнєвських катів, і для одчайдушного спротиву їхніх жертв.

Гайки до 1972 року закручувались поступово, але неблаганно. Коли ж у травні пан Ніксон з таким ентузіазмом пив за здоров'я кремлівських достойників, ті вирішили, що їхній час настав. І незабаром нас повезли в переповнених задушних клітках сталинських вагонів (їхав цілий ешелон) по страшній спеці майже без води день за днем все далі й далі, на північ, світ за очі...

Через дикі умови етапу і знущання берієвського конвою в кінці пекельного шляху вивантажували серед ледве живих політв'язнів вже охололий труп і тіла знепритомнілих.

Це був виразний знак того, що чекає нас на Уралі, в цій глухій, Богом і людьми забутій тайзі, на краю страшного Сибіру.

Все, від клімату до режиму, дихало тут Колимою, та й керували знущаннями досвідчені сталінські кати, садисти з великим стажем.

В людей уривалося терпіння, і потрібна була тільки іскра, щоб спалахнув загальний страйк. В цей час прибув до табору серед численних нових політв'язнів (по Україні та Вірменії котилися хвилі арештів) зовсім ще молодий тендітний хлопчик Степан Сапеляк. Через свою молодість, чистоту, чесність і зворушливо дитячий вигляд він не міг не викликати великої симпатії.

Третину табору покривало болото, з якого йшов вологий сморід і цілі тучі комах. Але, всупереч цим умовам, дехто з молодих в'язнів в затишному місці біля болота займався руханкою, щоб хоч цим підтримати свій фізичний стан. Якось до такої групи молодих російських в'язнів приєднався також і Степан. Він роздягся було по пояс, коли почув звірине гарчання офіцера МВД Мелентя: «Ето што ещо такое? Немедля оденся і марш на вахту!»

Поруч із Сапеляком займалися вправами росіяни, роздягнені до купалок, але вони шовініста в червоних погонах не турбували...

На вахті Мелентяй розпочав допитувати Сапеляка, як це він дійшов до такого нечуваного злочину — роздягся до пояса? Хто дозволив?

— А де написано, що руханка заборонена? — спитав Сапеляк. — Покажіть мені такий документ, будь ласка.

— Що?! Що?! — оскаженив Мелентяй. Він аж задихнувся од злості і не міг більше нічого вимовити. Він увесь поблід, на роті з'явилася піна.

— Я тобі зараз покажу... — нарешті просичав, наступаючи на Сапеляка. Він почав здирати з хлопця одяг, стукати його головою об стіну, бити ребром долоні по нирках.

На щастя, до вахти зайшов один з молодих в'язнів, від яких щойно забрали Сапеляка, Олексій Сафронов. Артистична натура, він любив попекувати з наглядачів:

— Так-так, — весело сказав він, походжаючи по кімнаті і потираючи руки. — Бачу-бачу: кабінет розгромлений, Сапеляк побитий... Як же це так, га, пане Мелентяй? — з насолодою продовжував він, вишкірившись на очманілого садиста. Той настільки розгубився, що його спіймали на гарячому (забув навіть зачинити двері), що відсахнувся і вибіг з кабінету, тепер вже увесь червоний, як рак.

Користаючися хвилиною, Сапеляк вибіг з вахти у виробничу зону і негайно розповів в'язням про ці події. На його тілі були виразні сліди побиття.

Це було останньою краплею. Весь табір, затамувавши віддих, дивився на українську громаду: що вона вирішить? Всі були готові до спротиву, але перше слово належало українцям. Вони були вирішальною силою в таборі, і до того ж побитий був українець.

Раптом у зону увірвалися наглядачі. Вони схаменулись і прибігли ізолювати побитого Сапеляка, щоб не сіяв «смуту» (заколот). Вони були нервові, збуджені, погано контролювали себе. Що чекало бідного хлопця в їхніх пазурях? І тут несподівано встав довголітній в'язень-бандерівець на прізвище Курчик:

— Не дам хлопця! — рішуче заявив він, закривши собою дорогу наглядачам. Ті злякано зупинились перед його високою кремезною постаттю. Руки у них помітно тремтіли. Хтось із в'язнів увімкнув сирену тривоги. Всі покидали роботу і посунулися до Курчика.

І тут наглядачі не витримали і відступили.

Курчикові це потім коштувало переведення у табір найжорстокішого особливого режиму (де зараз перебуває В.Мороз). Але його мужність зірвала розправу озвірилих чекістів над молодим політв'язнем.

І відразу спалахнув страйк. До українців, не вагаючись, приєдналися жиди, прибалтійці та інші.

Внутрішня тюрма концтабору була переповнена, але страйк тривав. Старі й молоді, люди різних націй, «культурники» і повстанці боролися разом. Політичні концтабори вже років двадцять не бачили такого запеклого масового спротиву.

Тільки чорносотенно-шовіністичне угруповання «истинно-русских» виломлювалося із фронту страйкуючих і називало героїчний страйк «хохлацько-жидівською змовою».

Але для справжніх політв'язнів це була школа мужности й солідарности в боротьбі проти нелюдського ворога.

Риталий Заславский

*В № 2 и № 3 нашего альманаха напечатаны
воспоминания Риталия Заславского о еврейских
писателях — Ицике Кипнисе и Риве Балясной.*

*В нынешнем номере мы публикуем продолжение этих
мемуаров — рассказ еще об одном деятеле идишистской
культуры поэте Шлойме Чернявском.
Так постепенно складывается книга...*

СУДЯ ПО СТИХАМ...

Можно ли писать воспоминания о человеке, с которым никогда не встречался? Оказывается, можно.

В издательстве «Советский писатель» вышла в моих переводах книга стихотворений Ривы Балясной «Четверть века». Переводы понравились — и мне предложили перевести еще одного киевлянина, еще одного еврейского поэта, еще одного страдальца — Шлойму Чернявского. Даже повышенный гонорар обещали — не семьдесят, а девяносто копеек за строчку. Почему-то очень торопились: «Надо перевести быстро!»

Я попробовал связаться с автором.

— Нет, нет, он к телефону не подходит, — ответила жена поэта Клавдия Лазаревна. — Он не может.

Сын Чернявского, застенчивый, рано полысевший молодой человек принес подстрочные переводы стихов.

— Что с отцом? — спросил я.

— Он умирает, — кротко ответил юноша.

Так и не встретились мы с Шлеймой Борисовичем (наверное, Шлоймой Боруховичем?). Вскоре он умер.

Я догадывался, что судьба его не совсем обычна и, разумеется, как мог, расспросил о Чернявском писателей. И оказалось вот что.

Маленький, добрый, горбатенький мечтатель в свой день и час был исключен из Союза писателей. Всех *таких* исключали тогда: шла жестокая борьба с космополитизмом. Мало кто понимал, что стоит за этим термином, но борьба шла. А там, где борьба, всегда есть герои и жертвы. О «героях» сегодня говорить не стоит, об одной из жертв поговорим.

Шлойме Чернявскому вроде бы повезло. Его не посадили, его не пытали, его не расстреляли. Ничего такого с ним не сделали. Просто исключили из Союза писателей и лишили средств к существованию. Смешно: по тем временам это было почти благодеянием. Старый больной человек устроился работать (на это тоже сквозь пальцы посмотрели, пусть себе) продавцом в систему Союзпечати. Он получил киоск на улице Ленина, на той самой улице, где высился роскошный дом писателей, в котором жили-поживали его бывшие коллеги. Каждый день они проходили мимо, иногда останавливались и покупали у него газеты. Не знаю, кто загова-

ривал с ним, кто делал вид, что незнаком. Шлойма Борухович аккуратно отсчитывал мелочь сдачи, выдавал свеженькие номера газет, а когда смеркалось, закрывал свою «будочку» и, тяжело дыша, плелся домой. Так продолжалось очень долго. По крайней мере, для него.

А потом умер Сталин, времена переменились и Шлойму Боруховича восстановили в Союзе писателей, стали издавать. Вышло несколько книг Чернявского на украинском. И вот теперь на русском готовится книга. В Москве! Чего же еще?

Чернявский был, судя по стихам, человеком мягким и романтическим. В нем, судя по стихам же, преобладало смирение и готовность принять жизнь такую, какая она есть. Он умел быть благодарным за все (ведь могло быть и хуже!). Мне до сих пор жалко, что он так и не увидел свою книгу на русском языке, для него она наверняка была бы великой радостью и еще одним безусловным доказательством того, что все, что ему пришлось перенести, он перенес не зря.

Наверное, так же безропотно он принял бы и мой возмущенный рассказ о том, что в издательстве потребовали назвать книгу — «По московскому времени», и что все мои слова о том, что «Летняя птица» звучит намного лучше и естественней и больше годится по смыслу, разбивались о холодную фразу издателей: «Тогда книга не выйдет».

Книга вышла. А «Летней птицей», чтоб хоть как-то сохранить этот вожденный заголовок, хоть как-то компенсировать утрату, я назвал один из разделов.

Вслед за Чернявским сразу же умерла его жена, потом — совсем неожиданно — сын. Это случилось в один год. Как будто бы жизненная миссия этой несчастной семьи исчерпалась на издании последней книги Шлоймы Боруховича. Куда все исчезло? Куда делось? Ради чего он, еврейский поэт, так напрягался, так изнемогал? Загадка жизни, которую, видно, не понять никому.

Теперь, кажется, только я храню эти звучные-звучные рифмы, эти магические повторы строк, эту поэзию печальной, возвышенно-одиноким души.

Сохраню ли?

2 января 1997

Шлойма Чернявский
(1909–1974)

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
В переводах Риталия Заславского

НА ПТИЧЬЕМ БАЗАРЕ

На птичьем базаре и вправду базар:
горит оперенья весёлый пожар!

От щёлканья, пения и толкотни
почти бесконечными кажутся дни.

Певцы, как положено, в клетках сидят,
а их голоса на свободе звенят.

Я песнями этими обворожён,
они для усталой души — камертон.

Я крылья расправлю и песню свою,
наслушавшись их, без ошибок спою!



Слова, как листья, тихо шелестели,
слова светились и горели, как звезда...
Что пела мама мне у колыбели,
не позабуду я, должно быть, никогда.

В словах был запах тмина и шалфея,
в них был дурман и самый сладкий мёд...
И снова с колокольчиком на шее
куда-то козочка задумчиво бредёт.

Она рассеянно из этих строчек вышла,
ещё её дорога далека...
Нет ничего торжественней и выше
родной мелодии родного языка!

О милых слов извечное кочевье!
Умру я с вами (с вами и возник)...
Пусть же не молчат, пускай шумят деревья,
чтоб не забыть вовек бессмертный свой язык!



Осенний день торжественен и чист.
Ни облачка на дальнем небосклоне.
Какие мысли этот нежный лист,
скользящий и трепещущий, обронит?

Жизнь на земле и вправду хороша.
Какие бы ни ждали нас потери,
но всё равно по-прежнему душа
не устаёт в своё бессмертье верить.

Я просыпаюсь бодро поутру
и кредо торопливо возвещаю:
всё, что могу, от жизни я беру,
всё, что могу, я жизни возвращаю.

ДУДОЧКА

Дудочка, играй, играй,
на зелёную полянку
пусть сбегутся спозаранку
все, кто любит этот край.

Позову сюда лисиц,
приглашу и волчью стаю,
пусть звенят, не затихая,
голоса весёлых птиц.

Соловей, не умолкай,
ты для нас всегда отрада,
и просить тебя не надо,
пой — и глаз не открывай.

Чтоб, заслушавшись, листва
на деревьях не дрожала,
кончишь — и начни сначала,
в песенке душа жива.

Дудочка, играй, играй,
даже если всё приснилось —
в сновиденье, сделай милость,
ни на миг не умолкай!

ИЕГУДА БЕН ГАЛЕВИ

И на древнем нашем древе
золотится сладкий плод:
Иегуда бен Галеви!
Скажешь — и душа замрет.

Кто же знал и кто же ведал,
что родится в некий миг
в славном городе Толедо
сочинитель славных книг?

Молнии сверкали в строках...
О, певцов обычных рать:
после слов его высоких
вам прилично помолчать!

Бесполезно суетиться —
поворачивайте вспять!
«от летящей колесницы
вам и пыли не догнать» *.

Не какой-нибудь обманщик,
поразить хотевший мир,
он — чудесных слов чеканщик
и созвучий ювелир.

И в усилиях безмерных
так он много сделать смог,
что теперь его соперник
только дьявол или Бог!

ТОСКА

О, как старалась в душу ты втереться!
Как прорывалась день и ночь ко мне!
И запирали окна, двери, сердце,
бывало, даже бодрствовал во сне.

Прочь от меня, проклятая старуха!
Не стану я ни мрачен, ни угрюм,
пока еще доносится до слуха
не голос твой, а жизни вечный шум.

* Выражение Генриха Гейне, автора поэмы об Иегуде бен Галеви.



Я сам себя не узнаю,
во мне такие силы дремлют:
чуть песню запою свою —
и к небу мчусь, покинув землю.

Жизнь не загадка для меня,
и все-таки она загадка,
ее разгадывать так сладко
к исходу ночи или дня...

ОНА ЖИВЁТ НА ПЯТОМ ЭТАЖЕ

Она живёт на пятом...
По утрам
над ней кружатся с громким криком птицы,
она для них кормилица и жрица,
и сладок ей весёлый этот гам.
Она живёт на пятом этаже.
Да что на пятом — в небесах витает.
Едва-едва на улице светает,
смотрите, на ногах она уже.
Всегда кошёлка в худенькой руке,
пшено и гречка у неё в кошёлке.
И кажется, на птичьём языке
понятны ей любые кривотолки.
А что уж там соседи говорят,
как смотрят вслед, когда идёт обратно,
ей всё равно...
И солнечные пятна
у ног её трепещут и горят.

ПЕСНЯ О ЯБЛОКЕ

Я, слава богу, не Адам
и ты, по-моему, не Ева,
но сердце тянется к плодам
того таинственного древа.
Сорви, родная, грешный плод
и надкусить его попробуй.
Сок забурлит и потечёт —
и мы сильнее полюбим оба.
А впрочем, как любить сильнее?

О, чувств загадочных избыток!
Благословенным будь напиток,
в котором тайный смысл корней!
Пусть пробегает день за днём,
земля стареет, мы стареем,
но мы, как прежде, душу греем
прозрачным яблочным вином.
О, яблоч древний аромат,
в котором мягкость, нежность, спелость,
о нём так удивлённо пелось
сейчас, как много лет назад!
И всё, что только можно вслух
о нём сказать, скажу легко я...
О, яблоч терпкий вечный дух,
источник смуты и покоя!

ДОЩАТЫЙ РАЙ

Дощатый рай на берегу Днепра.
Как хорошо, войдя в жилище это,
почувствовать, какое было лето,
и задремать в прохладе до утра.

Мы не забудем никогда поры,
когда мы здесь блаженствовали сладко.
И расцветала возле окон грядка,
суля в грядущем славные пиры.

Как мотыльки, мы поднимали груз
не то пыльцы, не то какой-то пыли,
и столько было неприметных уз,
которые совсем не тяготили.

Прошла минута или даже две,
а может, рядом вечность пролетела.
Ах, растянуться б только на траве!
Лежать. Молчать. Не ощущая тела.

И видеть над собою облака,
причудливые их нагроможденья.
Тревоги исчезают, словно тени.
Была ли хоть когда-нибудь тоска?

Дощатый рай на берегу Днепра...



Нет, звук не умирает никогда.
Как длительно, томительно молчанье!
Ничто не исчезает без следа,
и сад донине погружён в звучанье.

Всё, что случилось в жизни и прошло,
на самом деле не пропало всё же.
Пусть не согреет прежнее тепло,
но чувствую его душой и кожей.

О детство незабытое моё,
в залатанной убогой рубашонке!
Глухое местечковое житьё,
донине ты за мной бежишь вдогонку.

Зачем же увязалось ты за мной?
Нет, нет, тебя не стану я стыдиться!
Но если бы над мёртвой тишиной
пронёсся, хоть однажды, щебет птицы!

Я видел ад, а снился тихий рай...
И хорошо, что с той поры вихрастой
могу чему-то я сказать: «Прощай!»
и что-то встретить восклицаньем: «Здравствуй!»

МОЯ УЛИЦА

От самых дней первоначальных
и до моих последних дней
нигде нет улицы родней
моей родной Большой Подвальной*.

Здесь каждый шаг отменно гулок,
и с нежной, утренней поры
горячим духом сдобных булок
благоухают все дворы.

Петляет улица лениво.
Куда она меня ведёт?

* Большая Подвальная — улица в Киеве.

Ты разве улица? Ты — диво!
За поворотом поворот...

И не забыть двух узких окон:
внезапно в середине дня
в стекле мелькает тёмный локон,
слегка тревожа и дразня.

И так наивно, по старинке,
щадя застенчивость её,
в простенке, скрытое простынкой,
на кухне сушится бельё...

А где-то странный мир бушует:
здесь только искры, пламя — там.
И ухожу я в жизнь большую,
взрослея вдруг не по летам.

И лишь порой во сне печально
я вижу, словно наяву,
бульжники Большой Подвальной
и дом, где больше не живу...



Спокойной ночи, берега Днепра!
Меняюсь я, а вы всё те же, те же...
Я ощущаю вашу свежесть,
когда не спится до утра.

Спокойной ночи, берега Днепра!
Вы в темноте, должно быть, не такие.
Как в зеркало, глядится в воду Киев...
Дорожка на реке — из серебра...

Спокойной ночи! Лодок паруса
как бабочки, что складывают крылья.
А над волной свободно, без усилий
куда-то улетают голоса.

Спокойной ночи, старый капитан!
В своей каюте дремлешь ты устало.
И грузы спят лениво у причала,
и до утра уснул подъёмный кран.

Спокойной ночи! Берега Днепра
никто будить не смеет и не хочет.
Но мысль дрожит на кончике пера —
не спится мне опять...

Спокойной ночи!

Мирон Петровский УРОК В КАНУН ЮБИЛЕЯ

У С. Маршака 2.XI.1962

В одной из вечно прохладных комнаток редакции, где, как в холодильнике, рукописи лежали подолгу, почти не портясь, восседал за своим столом похожий на большого доброго кота Николай Федорович, тучный той особой полнотой, которая свойственна всем безногим.

— Вы давно в Москве? Очень хорошо, что вы приехали, — сказал он. — Тут о вас спрашивал Маршак.

Маршак? Обо мне? Это, должно быть, шутка, один из невинных розыгрышей милейшего Николая Федоровича. Я не придавал значения его словам и завел деловой разговор, ради которого, собственно, и приехал. Но разговору, видно, не суждено было состояться. Из соседнего отдела забежала сотрудница и с порога заявила:

— А, здравствуйте, здравствуйте, хорошо, что вы приехали, о вас спрашивал Самуил Яковлевич...

Нет, это уже не похоже на розыгрыш. Но почему вдруг обо мне, незнакомом, спрашивает Маршак? Я никогда не обращался к Самуилу Яковлевичу, статья моя о нем еще не появилась в печати... Впрочем, может быть статья...

Статья была заказана мне одним маленьким журналом к семидесяти-пятилетию Маршака. Надеюсь, что отвага и литературные заслуги этого даже не литературного, а педагогического журнальчика со временем будут отмечены в анналах или где-нибудь там еще, где это отмечается. Я, конечно, с радостью согласился писать о Маршаке, но одно меня смущало: журнал просил юбилейную статью. Я хорошо знал, что такое юбилейная статья: трудночитаемая и удобозабываемая смесь легкомысленных суждений и тяжеловесных комплиментов. Жанр, в котором о живом, как о покойнике: ничего или хорошее. Одним словом, нечто, относящееся скорее к этикету, чем к литературной критике.

Писать юбилейную статью я, понятно, отказался. Я достал из шкафа белый четырехтомник, дополнил его тем, что удалось взять в библиотеке, и начал читать Маршака подряд. Удивительное дело: я знал все (или почти все) произведения, которые перечитывал тогда, но при чтении сплошь они выглядели совсем иначе, чем когда я читал их поодиночке, враздробь. Они сами собой складывались в какое-то новое единство. Я и прежде любил его стихи, но все же невольно, по инерции, что ли, разделял точку зрения некоторых моих пишущих друзей о «непервосортности» Маршака: все-таки, знаете, детский поэт, все-таки переводчик... Великая вещь — сплошное чтение: я открывал для себя поэта, казалось бы, давно знакомого. Я читал, а в ушах насмешливо звучали строчки:

*Эй, не стойте слишком близко —
Я тигренок, а не киска!*

Два обстоятельства поразили меня при тогдашнем чтении. Во-первых, несомненно могучая тигриная порода того, кого я из-за умственной лени принимал за киску. Во-вторых, решительная непохожесть открывшегося мне Маршака на те образы поэта, которые предлагались мне литературными портретами, критическими статьями, рецензиями и так далее (мемуарной литературы о Маршаке тогда еще не было слышно).

От удивления я начал писать статью и писал ее именно о том, что меня удивило. Переполненный радостью открытия и веселой влюбленностью в новооткрытого поэта, я встретил на улице приятеля и немедленно стал рассказывать ему о Маршаке. Мы сидели в кафе «Грот» на Крещатике, пили что-то абсолютно безалкогольное, цветные пятна падали на нас сквозь прессованный целлофан навеса, и я с восторженностью, быть может, наивной рассказывал. О том, какая могучая тигриная лапа чувствуется в каждой маршаковской строчке, самой непритязательной! Каким сущим дьяволом детской дисциплины представился мне этот детский поэт! Как талантливо организованы его стихи: каждая мысль заключается в отдельную строфу, каждая строфа — маленькое законченное стихотворение, подобное маршаковским же эпиграммам! Как неожиданно проявляется стремление поэта к упорядоченности в любви к цифрам, ибо что может быть упорядоченней, чем число, хотя, как полагают, нет ничего более далекого от поэзии, чем число: цифры — часть той прозы, которую поэт превращает в поэзию! Как целостно и неделимо творчество Маршака во всех его многочисленных жанрах, какая изощренность скрывается за внешней простотой и непритязательностью его стихов, каким борцом со всемирным хаосом и энтропией (это слово как раз входило в моду) предстает этот, казалось бы, «детский» поэт!

Приятель слушал меня сочувственно, уместив подбородок в перекладину своего костыля. Он уезжает на юг, в Ялту, ему, знаешь, надо подлечиться (я знал), так вот, не могу ли я прислать ему туда экземпляр статьи, когда она будет готова, потому что мои соображения о творчестве Маршака ему очень понравились. Я обещал и дней через десять отправил две бандероли: одну в журнал, другую в Ялту, приятелю. А еще через несколько дней и сам уехал в Москву. И вот — эта неожиданность: обо мне спрашивает Маршак! Узнать бы, не из Ялты ли вернулся Маршак недавно...

— Самуил Яковлевич из Ялты несколько дней назад. Сразу позвонил сюда, интересовался, не известен ли нам такой автор. Просил, чтобы вы позвонили, когда появитесь в Москве.

Звонить Маршаку? Удобно ли? Через два дня ему семьдесят пять, юбилейные дни и все такое...

— Неудобно не позвонить.
Я позвонил.

В трубке раздался голос, не оставлявший место сомнениям: это мог быть только голос Маршака.

— Голубчик, — сказал он, — голубчик, где вы находитесь? Вы очень заняты? Приезжайте ко мне. Сейчас. Нет, нет, я вас жду. Адрес знаете?

Вот странный человек! Кто же не знает этот «чкаловский дом» возле Курского вокзала? Эту сто тринадцатую квартиру, где «великан живет у нас»? Уж не помню, сколько раз я сказал «да» в телефонную трубку.

В коридоре мне помогли раздеться, подвели к дверям и шепнули, чтобы я не слишком утомлял Самуила Яковлевича, так как он в этом году перенес одиннадцать воспалений легких. Зная, отчасти по личному опыту, что такое *одно* воспаление легких, я ошеломленно пытался представить себе одиннадцать — и не мог. Такого не бывает, не может быть. Потом, читая маршаковскую эпиграмму «И час настал. И смерть пришла, как дело», я смутно ощущал какую-то странность, и не сразу понял, какую: стихи написаны так, словно автор *уже умирает* и знает, *как это делается*. Это была в точном смысле *лирическая* эпиграмма. Я приготовился к встрече со смертельно больным человеком и толкнул дверь.

В слоистом дыму, наводившем на мысль о полете в условиях сплошной облачности, за просторным, как летное поле, столом, на котором стопки рукописей, груды писем, тетрадки версток перемежались пачками английских, итальянских и отечественных сигарет, сидел и взахлеб курил Маршак. Весь его кабинет по периметру был уставлен книжными шкафами — Маршак сидел как раз под Пушкиным. Над столом нависала его крупная голова, словно бы сформированная стремительным обтеканием: короткий плавный профиль и глубокий, летящий назад затылок. Он повернул лицо и оказалось, что фас у него не широкий, как следовало ожидать, а узкий, уже, чем профиль. Он встал мне навстречу, и пиджак свободно заходил, сползая с исхудавших плеч.

— Говорите громче, голубчик! Я, знаете ли, очень плохо слышу, почти ничего не вижу, у меня полная атрофия вкуса — еду я различаю только по названию. Осталась только работа да вот это, — он помахал дымящейся сигаретой. — Говорите громче!

Передо мной в канун своего семидесятипятилетия сидел человек, перенесший в этом году одиннадцать воспалений легких, почти потерявший слух и зрение, да и самое тело, и этот человек потрясал. Потрясало противоречие между физической немощью и мощью духа. В нем kloкотал несокрушимый творческий темперамент. Он овладевал столом, словно взбунтовавшейся крепостью. Он говорил отрывисто и хрипловато — кипящая в нем духовность прорывалась наружу через истерзанные курением и болезнью бронхи.

— Да, да, вы правильно догадались. В ялтинском доме творчества ваш приятель занимал комнату на первом, а я на втором этаже. Он принес мне вашу статью за десять минут до моего отъезда — я уже был в дверях. Я сунул рукопись в карман пальто и прочел ее в поезде. Что вам сказать?

Многое в ней угадано верно. Конечно, порядок, гармония — это главное, что выхватывает человека из мирового хаоса. Для меня эта мысль всегда была важна. Верно и то, что вы называете «эпиграмматичностью». Этот принцип я заимствовал из народной поэзии, преимущественно — песенной, где каждая строфа — отдельное стихотворение. Но не кажется ли вам, что пристрастие к цифрам... — тут он помахал в воздухе рукой, словно табачный дым мешал ему разглядеть точную формулировку. — Вот вы, разумеется, помните старую статью Чуковского о Гаршине, как он там доказывает, что пристрастие Гаршина к цифрам свидетельствует о безумии...

Я издал вопль отчаяния: ведь я доказываю не то!

— Знаю, знаю. Только способ анализа похож. Но учтите, пожалуйста, и читательское восприятие. Читатель увидит в критическом приеме вашей статьи аналогию со статьей Чуковского, а во мне — аналогию к ее герою...

Я застонал...

— Возможно, пристрастие к цифрам, которое вы верно подметили (это было сказано как бы в скобках, принимая во внимание мое огорчение) восходит у меня к ритмическому счету, пронизывающему песню, и к детской считалке, где цифры порой заменяют звучную заумь. Дети это любят...

И Самуил Яковлевич одну за другой стал энергично скандировать считалки, отдаваясь этой скандовке с видимым удовольствием. Я был слишком захвачен его глухим и хрипловатым, но таким обаятельным чтением, чтобы запомнить стихи. Потом я долго разыскивал их по сборникам детского фольклора, уверенный, что читанные Маршаком узнаю сразу, однако найти не мог. Возможно, Самуил Яковлевич читал вещи, знакомые ему с голоса и нигде не записанные. Тем огорчительнее моя беспамятность. Но крепко запомнился голос, как бы шаманящий, пронизанный неколебимой верой в правдивость и колдовскую силу каждого произносимого слова.

— Все-таки, зачем вам борода?

Господи, далась ему моя борода! Но Маршак глядел на меня из-под очков с таким детским любопытством, словно ему позарез необходимо немедленно, вот сию минуту решить эту задачу. Это было то самое любопытство, которое заставило старого и большого поэта разыскивать безвестного автора случайно попавшейся ему в руки статейки. И Маршак предложил решение, которое (очень характерно для Маршака!) исходило из памяти детства:

— Наверно, вот для чего: все мальчики знают, что у них *может быть* борода и, становясь мужчинами, спешат убедиться в этой возможности. Поглядеть бы на вас без бороды... А не было ли у вас в последнее время какой-нибудь неприятности, потрясения, кризиса? (Были, были неприятности, Самуил Яковлевич, да еще какие!) Пушкин, знаете ли, запустил

бакенбарды в 1826 году, после возвращения из Михайловского... Кстати, о Пушкине: я написал несколько новых стихотворений — кратчайших, в четыре-восемь строк. Это, по-видимому, и есть тот элемент — строфа-эпиграмма, из которых, как вы заметили, складываются все мои стихотворения. Но эти эпиграммы — лирические...

Я тогда впервые услышал ставшее теперь привычным сочетание — «лирическая эпиграмма».

— Так вот, там есть несколько эпиграмм, связанных с пушкинскими образами. Вот, например, послушайте:

*У Пушкина влюбленный самозванец
Полячке открывает свой обман,
И признается пушкинский испанец,
Что он — не дон Диего, а Жуан.
Один к покойнику свою ревнует панну,
Другой — к подложному Диего донну Анну...
Так и поэту нужно, чтоб не грим,
Не маска лживая, а сам он был любим.*

— Нравится? Да? А что нравится? А как лучше — к подложному или к фальшивому?

Я заметил, что, насколько мне известно, никто из пушкиноведов не говорил о совпадении этих ситуаций — саморазоблачения Отрепьева перед Мариной Мнишек и дон Гуана перед донной Анной (работы о типологии самозванчества у Пушкина появились позднее), а между тем, высказанное, оно убеждает мгновенно. Очевидно, и впрямь у Пушкина здесь есть какая-то закономерность. К тому же, стихи так естественны...

Но Маршак только рукой махнул: пушкиноведческое наблюдение не интересовало его само по себе, вне нравственных аспектов.

— Главное в том, что человек в любви хочет быть самим собой. Любовь — предельное раскрытие человеческой личности, и Пушкин это знал. Признание Гришки рифмуется с признанием Жуана по смыслу, значит, должно рифмоваться и по слову. Если мысль верна, она естественно переливается в стихи. Вот поглядите — рифмы: самозванец — испанец, обман — Жуан, панну — Анну, — ведь я их не придумывал и даже не искал, они содержатся у Пушкина, в самой пушкинской мысли. Потому что мысль верна. Я так долго повторял про себя эту мысль, что она сама собой превратилась в стихи.

Маршак погасил итальянскую сигарету и взялся за английскую. Это надо запомнить: он и курит, как переводчик!

Я набрался смелости и спросил, как он относится к тому месту моей статьи, где говорится о цельности поэта, о неделимости его творчества. Как раз в ту пору появилось несколько работ, в которых речь шла о «пяти» и «шести» Маршаках — по числу маршаковских жанров (лирика, стихи для детей, драматургия, перевод, критика и так далее), я же в своей

статье настаивал на том, что Маршак — один, и что один в этом случае больше пяти и даже шести.

— Поэт должен ставить на огонь много утюгов, какой-нибудь поспеет кстати, — сказал Маршак. — Это насколько не исключает цельности, напротив, цельность привлекательна тогда, когда есть разнообразие. Так и в природе: примитивные живые существа — например, одноклеточные, — целны, но эта цельность нам не интересна. Другое дело — цельность сложного существа. Самая необходимая цельность в искусстве — единство эстетического и нравственного. Когда мы любим хорошо, толково выполненной работой, или когда восхищаемся подвигом, какое наслаждение мы испытываем — эстетическое или этическое? Безнравственность — это и есть дурной вкус. Поэтому так отвратительна ложь в искусстве. И в любви.

И он стал рассказывать об одной поэтессе, которая ожесточенно травила его устно и в печати, пока он не добился признания, а потом, когда (после защитительной статьи Горького) он стал признанным авторитетом, поспешила объявить себя ученицей и последовательницей Маршака: «Ведь вы знаете, Самуил Яковлевич, я самая верная ваша ученица...» При этом Маршак артистично передал жеманную речь поэтессы, комически поджал губы и, улыбаясь, развел руками, показывая свое недоумение и растерянность перед таким беспардонным цинизмом.

— А что вы еще написали, кроме вот этого? — он положил руку на мою рукопись.

Я рассказал, что последнее время работал над большой статьей, где прослеживается удивившее меня своей неожиданной полнотой сходство поэзии для маленьких детей с искусством цирка.

— Да, да, — подхватил он, — цирковой элемент, эксцентрика, клоунада — это очень важно в детской поэзии. Возьмите хотя бы моего рассеянного. Да и другие вещи. Любовь к цирку — верный показатель того, насколько в человеке сохранилось детское мировосприятие. Но я решительно против развернутой метафоры, тем более, если вы разворачиваете ее на целую статью. Нужно вовремя остановиться, нужен такт.

Я ответил ему, процитировав какую-то сентенцию из стихов Леонида Мартынова, поэта, взошедшего в ту пору на новый пик популярности. Реакция Маршака была ошеломительно неожиданной:

— Как вы сказали? Мартынов? Русский поэт не может носить фамилию Мартынов!

Господи! Мне и в голову не приходило, что поэт Леонид Мартынов и убийца Лермонтова Николай Мартынов — однофамильцы! Да этого никто, пожалуй, кроме Маршака с его детским и поэтическим слухом, и не заметил бы. Совершенно разные фамилии... Притворившись, конечно, будто слышит ее впервые, Маршак мгновенно использовал фамилию поэта, чтобы выразить резкое неприятие чуждой ему поэтической школы. Это я, читатель, могу позволить себе любить разное, противостоящее и

несовместимое, но поэт должен свихнуться на своей системе, иначе она — и он, следовательно, — не состоится...

Во все время разговора я, как камень за пазухой, держал один вопрос, тем более неделикатный, что у старика был юбилей. Время говорить юбилею комплименты, а не тыкать в былые грехи. Дело было в послевоенных сатирических стихах Маршака, столь охотно принятых на страницах «Правды» и тем самым получивших благословение на самом высоком советском уровне. В стихах, порой весьма остроумных и ловких, высмеивался западный мир, «их» образ жизни, тамошние деятели. Мне это казалось тяжким конформистским грехом, и я — с поспешностью смущения — все-таки промямлил свой вопрос.

Маршак мгновенно понял, о чем идет речь, словно бы заранее ожидал чего-то в этом роде. Он страшно разволновался, речь его зашепила, и я подумал, что если когда-нибудь захочу воспроизвести его страстный монолог, мне придется нелегко. Но одно слово, повторяясь в этом монологе, создавало его лейтмотив, стержень, смысловую доминанту, и потому запомнилось. Это было слово «*обоюдодострость*». Он настаивал на том, что его антизападническая сатира отправлялась сразу по двум адресам — явному, но подставному, и утаенному, но главному. «Вы что ж, думаете, это одних французов касается?» — спросил он, интонацией подчеркивая риторичность своего вопроса, и прочел строчки о советском журнале, запрещенном во Франции:

*Зачем о свободе печати кричать
Над каждею выборной урной?
Одна у жандармов свободна печать,
А именно — штемпель цензурный...*

Мне это показалось не слишком убедительным, но спорить я не стал, а через несколько дней пересказал выкладки Маршака Аркадию Белинкову. Никогда ни с кем не согласный, никогда никому не прощающий даже попытки к «сдаче» и вообще ничего не прощающий, Аркадий, к моему удивлению, стал на сторону Маршака. В ту пору, когда преуспевающий Маршак печатался в «Правде», Аркадий пребывал в зоне. За стальной ключий занавес лагеря не попадали ни книги, ни журналы, ни газеты, но какое это было счастье, рассказывал Аркадий, когда ему в руки попал обрывок «Правды», проникший в зону в качестве обертки. На обрывке оказался стихотворный пасквиль Маршака на американского президента Гарри Трумэна. Стихи заканчивались таким эпиграмматическим пассажем:

*Я избегаю инцидентов
И на уста кладу печать,
Но сто процентов президентов
Я не обязан уважать!*

И вот, по словам Аркадия, вся зона прекрасно поняла «обоюдность» маршаковской эпиграммы и смаковала ее второе, «отечественное» острие...

Здесь нас перебили: домоправительница и секретарь Маршака Розалия Ивановна сообщила, что пришедшая делегация (кажется, от работников какой-то ткацкой фабрики) хочет приветствовать Самуила Яковлевича.

— Ох, трудно быть юбиляром! Почему бы не справлять все юбилеи в молодости, когда человек еще полон сил и вынослив! Голубчик, пожалуйста, подождите рядом, в столовой, пока я здесь... — он показал жестом, что приготовился страдать. — Мы с вами еще продолжим разговор. Но вот что я хотел вам сказать сразу: когда мы расстанемся, не исчезайте. Звоните, пишите, приходите. Кстати, вы не помните, кто из иностранцев сказал, что у нас, в России, мы чуть не лобызаясь, пока мы вместе, а едва расстанемся — и сразу забываем друг о друге? Не помните?

Увы, я не помнил. Но несколько лет спустя, когда Самуила Яковлевича уже не было в живых, я, кажется, нашел книгу, которую он силился вспомнить. Там было написано:

«Обаятельность одаряет русских могучей властью над сердцами людей. Пока вы находитесь в их обществе, вы поработены всецело. И обаяние тем сильнее, что вы убеждены, будто вы для них — все то, чем они являются для вас. Вы забываете о времени, о свете, о делах, об обязанностях, об удовольствиях. Ничто не существует, кроме настоящего мгновения, никого, кроме лица, с которым вы в данную минуту разговариваете и кого всем сердцем любите... Но с отъездом исчезает все, кроме воспоминания, которое вы уносите с собой. Вас забывают, едва успевают расстаться...»

Это — из книги де Кюстина «Россия в 1889 году» (наиболее полный из существовавших в ту пору русских переводов — «Николаевская Россия», 1930). Маршак, несомненно, знал эту книгу и спрашивал именно о ней: на соседних страницах и по всему тексту Кюстина мне попадались мысли, перекликающиеся с лирическими эпиграммами Маршака. Иногда совпадения были буквальными:

В одно и то же время океан

Штурмует скалы север и юга.

Живые волны — люди разных стран —

О целом мире знают друг от друга.

Это — маршаковская «надпись на книге переводов». А Кюстин в одном месте находит, что «человеческие волны напоминали волны морские», а в другом предается размышлению, такому характерному для путешественника: «Сушу нельзя избороздить по всем направлениям. Море — другое дело: оно только на первый взгляд разъединяет людей, но, в сущности, их сближает. Конечно, будь Москва морским портом или, по крайней мере, крупным центром тех металлических путей, что, подобно

электричеству, служат проводниками человеческих мыслей» и т.д. Это место, сравнивающее моря с телеграфом — средством передачи мыслей — всего лишь несколькими страницами отдельно от запомнившегося Маршаку наблюдения остроумного иностранца над особенностями отечественного дружелюбия.

И не только об эпиграммах я вспоминал над страницами Кюстина: образ королевской власти, неограниченной в своих безумствах, дается в сказках Маршака словно бы по этой книге. Читая, например, в «Двенадцати месяцах» о том, как взбалмошная девочка-королева замахивается на законы природы, нельзя не вспомнить, что вражда между жестоким самодержцем и силами природы — одна из сквозных тем в сочинении Кюстина: император, говорит он в одном месте, «независимость природы считает дурным примером» для своих подданных; в другом напоминает об императорской «ложно направленной железной воле, которая угнетает людей, так как не может покорить окружающую природу»; в третьем замечает, что обыкновенный бал на открытом воздухе в условиях Петербурга — «победа человеческой (т.е. царской) воли над климатом»; в четвертом предупреждает: «Если природа побеждена, она помнит о своем поражении и неохотно покоряется насилию». Все это — в общем виде и конкретно, текстуально — находит соответствие в сказке Маршака. Кюстин сообщает о множестве экзотических растений и цветов, украшающих дома петербургских вельмож, и размышляет о том, какой ценой достаются эти экзоты в суровом климате севера; Маршак рассказывает о редкостных цветах, которые дарят девочке-королеве в канун новогодия (и это едва ли не те самые цветы, что названы у Кюстина), чтобы показать сумасбродный характер маленькой деспотки.

Читая у Кюстина «Каким талантом наблюдательности должны были обладать русские царедворцы, чтобы открыть способ понравиться царю, прогуливаясь зимой по улицам Петербурга, в одном мундире, без шинели. Эта героическая лесть, обращенная непосредственно к климату и косвенно к государю...» — нельзя не вспомнить маршаковских глашатаев, объявляющих по приказу королевы апрель — в декабре:

*Под праздник новогодний
Издали мы указ:
Пушай цветут сегодня
Подснежники у нас!*

Один из этих глашатаев выкрикивает на лютom морозе, как приказано:

*В лесу цветет подснежник,
А не метель метет.
И тот из вас мятеежник,
Кто скажет — «не цветет»!*

И тут же добавляет про себя: «У-у, холодно!» Маршаковская мысль явно близка кюстиновой, да и текст не так уж далек, особенно если сравнить выкрики глашатаев со следующим местом из книги французского путешественника: «Император... желает, чтобы выстроенная вчера церковь почиталась как старинная. Что же он делает? Очень просто: она — древняя, — говорит он, — и церковь становится древней. Новый собор в Нижнем Новгороде древний, и, если вы сомневаетесь в этой истине, значит, вы бунтовщик».

Маршак, по-видимому, хорошо знал книгу Кюстина, он только забывал, что именно в ней ему встретилась мысль о людях, которые забывают друзей, чуть только проводят их за порог.

Я позволил себе подробно остановиться на связи творчества Маршака с ядовитой книгой французского путешественника прошлого века потому, что, во-первых, обнаружил эту связь под прямым впечатлением встречи с Самуилом Яковлевичем, и потому, во-вторых, что поэт, сказавший: «Питает жизнь ключом своим искусство, другой твой ключ — поэзия сама», — этот поэт сам предложил нам рассматривать его произведения в двойном свете, в двойной зависимости от жизненного и литературного опыта. Книга Кюстина — один из «других ключей», питавших искусство Маршака. Жаль, что я не успел напомнить об этом Самуилу Яковлевичу.

Между тем, я оставил Самуила Яковлевича наедине с делегацией поздравителей и перешел в соседнюю комнату. О том, что комната — столовая, можно было догадаться разве что по круглому, накрытому махровой скатертью большому столу. Стены комнаты были доверху наполнены книгами. В кабинете стояли книги для работы, здесь — для чтения, и беглого взгляда было достаточно, чтобы оценить широту читательских интересов Маршака. Остальное пространство занимал рояль и несколько хороших картин, среди которых — подлинный Нестеров и подлинный Левитан. Кабинет Маршака был идеальным местом для работы, столовая — идеальным местом для дружеских чаепитий, застольных бесед, отдыха в кругу семьи.

Мне показалось, будто я уже бывал здесь. Я, действительно, здесь бывал, — в стихах Маршака: «И висячая лампа в столовой льет по-прежнему теплый свет». Должно быть, Маршак — сознательно или интуитивно — придал этой комнате сходство со столовой в доме своего детства. Собственно, дома не было, дома менялись во время бесчисленных переездов, но столовая сохраняла свой вид и висячая лампа по-прежнему лила свой теплый свет. Мотив семьи, родства очень силен в лирике Маршака, а лампа там — не просто средство освещения, какая-нибудь пахнущая керосином «десятилинейка» или «молния», но — лампада, светильник в высшем, нравственном смысле, домашний очаг. Лампа, при свете которой прошло детство поэта, светила ему всю жизнь.

В столовую вошла сухонькая пожилая женщина, похожая на состарившуюся гимназистку, и платье на ней было какое-то гимназическое — темное и строгое, чуть ли не с передничком.

— Здравствуйте, я — Лия Яковлевна, сестра Самуила Яковлевича. Может, слышали — писательница Ильина.

Я забормотал, что как же, что знаю, что читал, что «Четвертая высота» и прочее. Когда я в свою очередь назвался, то в ответ услышал такую необыкновенную фразу:

— А, так это вы автор статьи о Маршаке. Как хорошо вы угадали характер Самуила Яковлевича! Вы знаете, у нас вся семья такая...

Потом, оставшись один в маршаковской столовой, я думал над этой фразой. Мне хотелось смеяться и плакать. Смеяться — потому что ведь это удача, если я, не видя человека в глаза, не прочитав ни одной мемуарной страницы о нем, могу на основании одних только поэтических произведений реконструировать его человеческий характер. Но и плакать: много ли стоит моя реконструкция, если она не выходит за пределы того, что известно родным и близким поэта. Надо бы глубже, серьезней, основательней, так, чтобы и сам поэт сказал: да, я таков, но раньше я о себе этого не знал, не отдавал отчета... Ну, да ничего: это я еще напишу.

— Нет, положительно, я уже слишком стар, чтобы справлять юбилей, — Маршак продолжал разговор с того места, на котором остановился. — Давайте я вам для разрядки почитаю.

И сорвав с себя очки, приблизив листок к самому лицу, почти шаркая бровями по бумаге, он стал читать стихи. Это были новые лирические эпиграммы. И о каждой, и о всех вместе настойчиво спрашивалось, нравится ли, что хорошо, что плохо, не лучше ли будет заменить слово или строчку, в какой последовательности лучше печатать стихотворения. Своему гостю, впервые посетившему его дом, поэт навязывал — страшно сказать! — роль соавтора. Но я пишу об этом без всякого замешательства: здесь не было и тени предпочтения, относящегося лично ко мне. Потом, бывая у Маршака, я убедился, что эта нелегкая и лестная роль предлагается решительно каждому, независимо от того, сидел ли перед Маршаком литератор, биолог или электромонтер. Мне даже показалось, что Маршак подбивает своего слушателя слегка «подпортить» песню, чтобы убедиться в правильности решения...

— Детские стихи у меня сейчас не идут, — говорит Самуил Яковлевич, отвечая на мой вопрос. — Видно, я стал стар не для одних только юбилеев, — добавил он, строго поглядев на меня: дескать, и не пробуйте разубеждать. — Вот только «Северок», который я написал для детей из Заполярья. Очень хорошие дети...

Заговорив о детях, он сразу загорается. Как это замечательно, что дети в Заполярье смотрят телевизионные передачи! Какое это достижение — всеобщая грамотность! В его восхищении — «это одно из величайших завоеваний революции!» — ясно слышится память о тех временах,

когда грамотный человек в народе был редкостью. В жизни много недостатков, нелепостей, несообразностей — но если люди грамотны, они раньше или позже разберутся во всем: он говорит как человек, воспитанный на добром, крепком позитивизме XIX века, как человек, прошедший стасовскую школу. И сразу, словно бы извиняясь иронией за свой позитивистский пафос, рассказывает историю Детгиза: во время НЭПа книги для детей выпускались множеством мелких издательств, но поскольку советской власти казалось, что дело пойдет лучше, если создать одно крупное предприятие, его и учредили торжественно. Однако лучше не стало.

— Колодцы закрыли, а водопровод оказался неисправным! — добродушно и лукаво смеется он собственной шутке: ведь вот, мол, как ловко сказало! — и кашляет, захлебываясь дымом (которой по счету?) сигареты.

Я смеюсь вместе с ним над этим очаровательным маленьким экспромтом и думаю вот о чем: все известные мне критические статьи о Маршаке уверяют меня в принципиальной антиметафоричности его поэтического стиля — не любит, говорят, Маршак, метафор, избегает их. Поэтому, дескать, его стихи несколько архаичны, старообразны, скорее из прошлого, чем нынешнего века. Но вот я сижу и слушаю Маршака, и его речь полна самыми меткими, самыми изящными и афористичными метафорами: «Колодцы закрыли, а водопровод оказался неисправным», «Поэт должен ставить на огонь много утюгов, какой-нибудь да сгодится», «Наше дело раскладывать дрова, а огонь упадет с неба...» Некоторые из них он явно придумал раньше, а сейчас, когда они пришли к слову, просто «проверяет» их на мне, как стихи. Другие, несомненно, рождаются у меня на глазах.

И замечательно, что все эти дрова, утюги, колодцы и неисправный водопровод — все, из чего он строит свои метафоры, — взяты из того предметного мира, который окружал поэта в пору его детства, из мира русского провинциального городка, слободы, предместья, пригорода. Это был особый — полусельский, полугородской — мир, где жили портные и стекольщики, точильщики, часовщики и мыловары (как его отец), где воду носили коромыслом из колодца, но знали грамоту и выписывали столичные журналы. Этот мир запечатлен в стихах Маршака почти с той же этнографической подлинностью, какая свойственна, например, полотнам другого певца русского провинциального быта — Кустодиева.

— В одном из этих маленьких издательств сидел Лев Клячко, человек необыкновенной энергии и предприимчивости. До революции он был журналистом, и если бы редакция дала ему задание взять интервью хоть у самого Вельзевула, он отправился бы к черту на рога и благополучно вернулся со статьей. Он оспаривал у знаменитого Власа Дорошевича титул короля фельетона. В начале двадцатых годов он создал издательство «Радуга» — там выходили мои первые книжки для детей. И книжки

Чуковского, Катаева, Веры Инбер. Вообще заслуги «Радуги» перед нашей детской литературой недооценены, забыты. Вот бы вы и написали...

Все-таки это был канун юбилея, и к Маршаку снова пришли поздравители, потом еще и еще. Приходили не по службе, а по душе: просто узнали из газет, что Маршаку через два дня исполняется три четверти века, — и вот пришли. Приходили смущаясь, уходили просветленные, растроганные и благостные. Многие уносили с собой книги — подарок поэта.

— Наверно, я единственный в мире юбиляр, который не принимает, а делает подарки! — изумленно подняв брови, восклицал Маршак. От усталости он шатался, сидя в кресле, но все не отпускал гостя, которому считал нужным сообщить, объяснить, внушить еще пропасть важных вещей. Выныривая из потока приветствий, он, не отдышавшись, бросал:

— Нужно доверять языку! Вы что, думаете, это случайно — в русском языке все слова на ё колючие? Ёж, ёрш, ёлка, ёрничать! — При этом он смотрел на меня строго, как бы удерживая меня взглядом от возможного заблуждения. Я промолчал, понимая, что хотя это не научная, а, так сказать, поэтическая филология, но тем не менее — это маршаковская филология.

— Напрасно утверждают, будто мир стихов Новеллы Матвеевой — условно-романтический. Это — мир городской окраины, предместья. Помните у нее строки, где дома, как корабли? У меня в юношеском стихотворении тоже был такой образ, и я обрадовался ее стихам, как встрече с собственной юностью... Нет ничего отвратительней придуманной романтики! Этот ваш знаменитый романтик при каждом слове выдыхал скуку! Любовь к нему со стороны молодежи свидетельствует о ее бедном, невоспитанном вкусе...

— За то, что природа обделила его талантом, Н.Н. мстил людям. Какие только клеветы он на меня не обрушивал! Но, голубчик, учтите: бездарность — такой тяжелый недостаток, что его не возместить даже отсутствием порядочности...

— У военных есть смешной предрассудок. Они считают, что надев штаны с красными лампасами, они становятся насквозь генералами...

После встречи с Маршаком я поспешил записать его рассуждения и словечки с возможным тщанием, так что приводимая здесь прямая речь — прямая речь подлинная. На собеседника, которого и собеседником-то назвать можно лишь условно, Маршак обрушил каскад премудрости и остроумия — он был «солистом» по характеру и темпераменту, да и глуховатость его располагала скорее к говорению, нежели к слушанию.

Что это было? Я не сразу понял, что это школа. Урок, который Маршак давал гостю в канун своего юбилея. Он вообще был прирожденным воспитателем. В детских стихах — ничуть не в большей (но и не в меньшей) мере, чем, скажем, в сонетах Шекспира. Воспитание было едва ли не главной составной частью в маршаковской программе сотворения упорядоченного, гармонизированного мира. Он возвращал слову «школа»

связь с энергичным глаголом «школить». «Воспитание словом» — называется сборник критических статей Маршака, итожащий его теоретический опыт. «В начале жизни» — этим пушкинским полустилишем он назвал свои «страницы воспоминаний»; второе полустилишие говорит о школе — «школу помню я». Маршак внедрял и распространял свое миропонимание всеми жанрами своего творчества. Над людьми он работал, как над стихами, помогая им *сказаться*. Не случайно люди, выпустившие книги под редакцией Маршака, оказались похожими на героев его произведений — пожарников, часовщиков, железнодорожников и веселых чудаков, мудрецов сократовского типа, философов жизненного поведения, мастеров поступка. В канун своего юбилея больной Маршак работал, занимаясь привычным делом — воспитывал словом.

Есть такой рассказ: буря разломила лодку двух рыбаков — отца и сына. Уцепившись за обломки досок, оба едва держались на плаву. Волны швыряли их, буря выла. Стараясь перекрычать бурю, отец выкрикивал: «Сын, выплывешь — мать береги!», «Братьям помогай!» — «Отец, сейчас не время об этом!» — взмолился сын. — «Нет, именно сейчас время!» — возразил отец. Этот рассказ точно объясняет лаконизм и императивность позднего Маршака: предчувствуя близкий конец, он отдавал последние распоряжения; пытаясь перекрычать шум времени, напоминал о добре, чести, профессионализме.

На прощание я трижды попал в объятия Маршака (старомосковский обычай!) и вновь был поражен его старческой бесплотностью.

— Только не исчезайте, голубчик! Непременно звоните и приходите. Не поступайте, как у того иностранца... Значит, не помните, какой это иностранец говорил, что у нас принято забывать самого доброго знакомого, едва он скроется с глаз?

Александр Вознесенский

Мы уже обращались в прошлом номере альманаха «Егупец» к публикации найденных в архиве А.И.Дейча никогда не печатавшихся воспоминаний Александра Сергеевича Вознесенского (1880–1939). Судя по поступившим откликам, они вызвали интерес наших читателей.

Ниже предлагаем еще три главы из мемуаров А.С.Вознесенского «Начало века. Книга почей»: автобиографические — «Доктор Бродский», «Дядя Иосиф» и воспоминания о выдающемся композиторе и дирижере, уроженце Чернигова, Илье Александровиче Саце (1875–1912). Он долгое годы был заведующим музыкальной частью Московского художественного театра.

К.С.Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве» писал: «Я думаю, что за все существование театра И.А.Сац впервые явил пример того, как нужно относиться к музыке в нашем драматическом искусстве... Его музыка была всегда необходимой и неотъемлемой частью целого спектакля». И до сих пор во МХАТе идет «Синяя птица» Метерлинка с чарующей музыкой Ильи Саца, стремившегося к органическому ее синтезу с драматическим искусством.

ДОКТОР БРОДСКИЙ

Мой прадед был «меламедом в хедере» (учителем в школе) в одном из местечек Киевской губернии. Больше ничего о нем я не знаю.

Лучшие воспоминания о нашем не весьма знатном роде начинаются у меня с деда. Он вырос в семье, где никто никогда иначе, чем по-еврейски, не говорил, самостоятельно выучился русскому языку и был в свое время единственным в Вознесенске евреем, выписывающим русскую газету. Он же стал и первым в городке подписчиком «Восхода», еврейского журнала на русском языке.

Дед не хотел заниматься торговлей, он писал на жаргоне стихи и жаждал «интеллигентной профессии». Когда в молодости он встречал на базаре фельдшера или подпольного адвоката, он останавливался и долго смотрел им вслед. Но они были люди «образованные», а он нет. Он сделался кассиром. Для невежественной еврейской бедноты захолустного городка даже это звание, связанное с письменностью и счетом, звучало чем-то вроде «профессора». Когда бабушка поручила местной белошвейке сделать на платках метки, та, вместо указанных ей букв «Б.Б.» (Борис Бродский) вышла «Б.К.» (Бродский кассир). Она не хотела лишить деда его почетного звания.

Что не удалось старику в его собственной доле, он решил воздать детям. Мой отец, старший из сыновей, с величайшими трудностями был отправлен на Волынь, в г. Житомир, чтобы поступить в раввинское училище (выше среднее учебное заведение, где готовились еврейские педагоги). Здесь отец одно время жил на квартире в семье Флексеров, из которой вышел известный впоследствии критик Аким Львович Волынский.

Главу эту об отце моем не следовало бы включать в книгу, если делалось бы это только в целях биографии: кого она может интересовать? Нет, дело в том, что я не знаю более типичного «еврейского интеллигента», чем был мой отец. Типично было все: отношение к религии, к государству, к обществу, к национальности, к семье, к культуре и к себе самому.

После революции, когда интеллигенцию нашу многие стали упрекать во всех смертных грехах, в этом деле допущено было немало перегибов, но безупречно прав был тот, кто называл ее «двуликим Янусом»: никогда она не была четкой, решительной, монолитной. И в этом отношении судьбу интеллигенции русской весьма разделяла интеллигенция еврейская. Отец был образованным представителем ее.

Отец не верил ни в какого Бога и считал религию ненужным пережитком. Но... под пасху он со всей семьей отправлялся к бабушке на «хейдер» (вечер накануне), читал молитвы и руководил религиозным распорядком во время праздничного ужина. В Судный день — один из наиболее чтимых евреями постов — он же постился, «мимоходом» посещал синагогу.

К российскому государству отец мой относился, как к ненавистному институту насилия и произвола верхов. Но... когда ему за долговременную службу в качестве городского врача прислали из столицы какой-то орден, он с удовольствием принял его и носил не без гордости на своем парадном сюртуке. В общественном смысле отец всегда считал себя «демократом» и блюстителем лучших традиций передового общества, но... ни крестьян, ни городского «простонародья» никогда я в нашем доме не видал, между тем, как рельефно вспоминаю, к примеру, у наших ворот барский выезд и кучера с павлиньим пером на шляпе, в то время как в доме с изрядным почетом принимали князя Калталузена, сиятельного землевладельца, жену которого отец спас от смерти после родов.

Такая-то двойственная, «смутная» идеология отличала отца и в национальном вопросе. Он считал себя интернационалистом. Когда доктор Герцль и Макс Нордау возглавили среди евреев движение, носившее название «сионизм», отец отнесся к нему весьма холодно: если не с прямой враждебностью, то с явной насмешкой:

— Евреи — граждане всего мира, — объяснял он мне, гимназисту, — и менять этот мир на маленькую заштатную страну, равную нашему уезду, для евреев имеет такой же смысл, как для рыбы менять стакан на банку из-под варенья, наполненную водой. Вот у черногорцев есть свое

государство, но Австрия в любой момент может сделать с ним, что пожелает. Что захочет, сделает Англия и с Палестиной.

Точно, конечно, речей отца не помню, но содержание их в национальном вопросе всегда сводилось к тому, что евреям нужно равноправие со всеми другими народами, а не особая территория среди них.

— Композитор Мендельсон мог великолепно родиться на немецкой земле, а философ Спиноза — на голландской, — говорил отец и добавлял убежденно, — им обоим для этого нужна была только акушерка, а не Сион.

Никаких признаков национального шовинизма никогда я у отца не примечал. Окрестных селян-хлебопашцев он лечил с той же рачительностью, как и еврейских городских бедняков, но... когда доктор Кох открыл туберкулезную палочку, отец специальным письмом запрашивал редакцию «Восхода»: не еврей ли по национальности Кох? Он уверял, что Рубинштейн выше Чайковского, что Надсон не худший поэт, чем Некрасов, и был по-детски обрадован, когда прочитал где-то о том, что Жюль Верн — еврей. Так нечто вроде суетливой «национальной гордости» копошилось всегда под торжественно провозглашаемым им «интернационализмом».

Любимейшим литературным произведением отец считал роман Чернышевского «Что делать?» Но... мировой судья в нашем городке жил вне брака с любимой девушкой, и ее никогда в наш дом не приглашали, хотя жену следователя или других судебных жен принимали наравне с мужьями.

Отец чтит превыше всяких иных человеческих чувств чистую «тургеневскую» любовь, но пришел в неожиданный ужас, когда сестре понравился образованный молодой русский человек, признавшийся ей в любви. Отец немедленно и сурово разлучил эту «тургеневскую» пару и весьма сочувственно отнесся к письму одесского шадхена (свата), предложившего сестре в женихи «только что окончившего врача из хорошей еврейской фамилии». Сестра, к огорчению отца, с негодованием отвергла такой брак «по Шолом-Алейхему».

Отец выписывал, брал из библиотеки и жадно читал по ночам «Вестник Европы», «Русскую мысль», «Современный мир» и все другие, какие издавались, «толстые журналы», являвшиеся проводниками наиболее передовых идей русского культурного общества. Но... когда сын его, то есть я, объявил, что не хочет быть ни врачом, ни юристом, и никем другим, а только писателем, отец отнесся к этому сообщению так же взъерошенно, как если бы я заявил, что хочу стать фальшивомонетчиком. Ему вне всяких колебаний казалось, что насколько медицина — настоящее занятие, настолько же литература — не настоящее. Отец так ничем и не помог мне на избранном мною пути, кроме как своим противодействием: борьба с отцом всесторонне закалила меня и вывела на желанную колею.

Знаменательнее же всего для еврея-интеллигента было отношение отца к самому себе. Он искренно считал себя человеком, настроенным весьма революционно. Когда я, будучи студентом-первокурсником, обратился к отцу по поручению товарищей, которые собрали деньги для политического ссыльного, бежавшего и застрявшего в пути, отец молча протянул мне сумму, которой я от него никогда не ожидал: он не хотел передо мной умять мнение о себе как «революционере». Но вся структура его психологического уклада была такова, что будь он русским человеком — он не числил бы себя, я полагаю, левее... «правых кадетов». Оппозицию к русскому правительству он считал вполне достаточным признаком революционности, и в этом отношении, скажем, Плеханов, Кропоткин или Милюков для него почти никак не отличались друг от друга. В юности своей настоящих, то есть сознательных революционеров в еврейской среде я наблюдал только среди наших рабочих, мелких ремесленников и других городских «низов», что же касается интеллигенции, то она питалась идеологической мешаниной из традиций шестидесятых годов прошлого века и народничества, из обрывков утопического социализма и романтического анархизма и из речей оппозиции в Государственной думе. Я знал довольно много евреев — врачей, юристов, журналистов, но не помню ни одного из них, кто изучал бы по-настоящему Маркса. И не думаю, чтобы это была случайность.

Дело в том, что угнетенная «еврейским вопросом» именно этот вопрос и почитала она тем оселком, на котором испытывалась подлинная «революционность». Я уверен, что редко кто среди еврейской интеллигенции той поры хорошо разбирался в разнице между социалистами различных толков. Меньшевик или большевик, или социал-революционер — не все ли равно, если все они одинаково ненавидели закон «о черте оседлости» и стоят за полное равноправие евреев? На этом основании считал себя «революционером» и мой отец. Февральскую революцию, отменившую все ограничения для евреев, он встретил восторженно и все куцые сбережения свои тотчас же отнес и вложил в «заем свободы».

Во всем этом я отчетливо разбираюсь теперь, но в свое время родственно близкая мне формула «доктор Бродский» воспринималась мною, конечно, иначе. Надо правду сказать, что в общепринятом китайском смысле отец мой действительно был кристально честным человеком и бессменным упорным тружеником, что невольно привлекало к нему симпатию и уважение самых разнообразных слоев населения.

Даже сейчас, почти полвека спустя, когда раздается ночной стук или звонок, я просыпаюсь с мыслью: «от больного за папой». Четко помню эту обычную ночную процедуру... Стучат, отец вскакивает в одном белье, слышится жалобный голос промерзшей бабы или сиплого мужнины: «Доктор... идите скорей... очень нужно...». За окном свистит снежная выюга или льет осенний дождь. Отец уже в пальто. Хлопанье двери. Нам, детям, опять можно спать...

Хорошо, если за такой ночной визит сконфуженно совали в руку полтинник. Большинство пациентов были так бедны, что отец еще сконфуженней отказывался от монеты. Если он не лечил днем и ночью, то на какой-нибудь тряской телеге уезжал в уезд на вскрытие по требованию судебных властей, выступал на заседаниях Городской думы или еврейского благотворительного общества, делал какие-то выписки из медицинских журналов (он все их получал), и, кроме всего этого, еще и ... писал стихи.

Писал он их почему-то по древнееврейски и с большим пафосом декламировал их передо мною, не понимавшим, разумеется, ни слова. К концу жизни он написал еще и огромную по величине пьесу — уже по-русски. В ней главными действующими лицами были врач и раввин, которые вели между собой нескончаемый спор о религии. Была и прекрасная дочь раввина, произносившая многотиражные монологи. Вообще каждое действующее лицо в пьесе отца говорило свои реплики не менее чем на двух-трех страницах, после чего партнер ему на трех-четырех страницах отвечал. Мне было неловко сказать отцу, что любовно выношенная им драма никуда не годится, и я послал ее Семену Юшкевичу, тогда уже известному драматургу. Юшкевич ответил отцу, что замысел очень интересен, но пока еще не достает сценического опыта и т.п.

Мать мою отец нежно любил и ревновал ее с мелодраматическими объяснениями — даже тогда, когда оба густо поседали. Повода для подобных сцен мать ему никогда не давала, но характер у нее был весьма сдержанный, и отцу все казалось, что она недостаточно любит его. К детям отец относился, наоборот, без всякой сентиментальности, как к «будущим людям». Это было, пожалуй, хорошо, т.к. готовило нас к самостоятельной жизни, которая тоже никаких сантиментов не признавала.

Под конец хочется мне рассказать два случая, которые положат последние мазки на посылно набросанную мною картину с образом русско-еврейского интеллигента и с подписью «доктор Бродский».

Отец прочитал какую-то утопию (кажется, это был перевод нашумевшей тогда книжки Беллами «Через сто лет») и написал мне, студенту, письмо, в котором говорилось: «Пусть меня назовут как угодно, но никаких «общезитий» я не хочу: я хочу сидеть в своем домике, в своем маленьком кабинете и делать свою работу. Только так я могу приносить людям пользу, а не делать вид, что я «социальная личность». Если вывод из этого такой, что я «собственник», то значит, я — «собственник».

А через полгода умер мой дед, оставив жене и детям несколько тысяч наследства. Вдруг явился к бабушке богатый немец-колонист и заявил, что дед имел с ним какие-то дела, в результате которых немец желает получить все оставшиеся после покойного деньги. Никаких документов он не предъявил, и наследники, естественно, воспротивились необоснованной претензии богатого колониста. Отцу, собиравшему свою заработную плату по грошам, тоже пригодилась бы, разумеется, тысяча-другая де-

душкиного наследства. Но тут-то и сказался в нем тот «собственник», какого он в действительности из себя представлял. Отец потребовал, чтобы все наследство отдано было немцу, заявив:

— Я собрал сведения. Говорят, он честный человек. Значит, он не лжет. Во всяком случае, я предпочитаю получить в наследство от своего отца безупречно чистое имя, чем хоть сколько-нибудь сомнительные деньги...

Тысячи были отданы немцу. А старушку мать отец взял к себе, поселил ее со всеми возможными удобствами и кормил «по-кошерному» до самой ее смерти.

ДЯДЯ ИОСИФ

Дядя Иосиф плясал на столе.

Распахнув пиджак и заложив большие пальцы рук за вырез жилета, он лихо выкидывал вперед свои тонкие — в серых в полоску брюках — ноги, и посуда звонко дребезжала по краям стола, где ее придерживали жилистые руки испуганно улыбавшихся старух: золовок, бабушек, теток.

Дядю Иосифа в городе не любили. Даже те родственники, которым он предоставлял свой белый — с позолотой на обоях — зал для свадеб, причем делал молодым самые щедрые подарки, даже они, похваляясь друг перед другом полученным сервизом или ящиком серебра, все же не любили дядю.

Он ходил по городу в ботфортах, с нагайкой в руке и держал на конюшне серого в яблоках жеребца, на котором любил одиноко кататься по улицам в кабриолете. Ботфорты, нагайка и жеребец — все это было «не еврейское дело», а зависть к богатству довершала злобливое чувство хлебных маклеров и мелких лавочников города.

Мать моя была сестрою дяди Иосифа и к тому же замужем была за врачом, поэтому за нами присылали экипаж, запряженный парой сытых гнедых коней, с плотным бородатым кучером на козлах. Зимой нас, детей, укутывали в шубенки и платки, и мы в нарядных костюмчиках и платьицах отправлялись с родителями «на свадьбу».

Отец мой, бывший в свое время первым в городке евреем-студентом, он окончил Московский университет — всецело исповедовал религию российского либерализма, благоговел перед идеологическим знаменем «шестидесятых годов» и особенно презрительно относился к дяде Иосифу, как к бездельному барчуку, проедавшему отцовское наследство и не приспособленному ни к какому производительному труду.

Отец, сын бедняка-служащего, учился на медные гроши, с юности жил на собственный заработок — давал, как полагается, уроки — и, женившись по любви на дочери купца-хлебника, все время старался противопоставить спеси богатых родственников жены свои знания, свой диплом

врача, свою демократическую родню и, главное, свои передовые по тем временам идеи. Белинский, Чернышевский, Писарев были его любимой в молодости литературой, хотя впоследствии, по инерции почитая ее, едва ли он помнил из нее что-нибудь. Но об отце моем речь еще впереди.

Одну из свадеб, которую справляли однажды в доме дяди Иосифа, я описал уже лет тридцать назад в газетном очерке, который назывался «Где же свадьба?»:

«Когда я был мальчиком, меня часто водили на еврейские свадьбы.

Я радовался, идя с родными на свадьбу. Но помню, там уже, на свадьбе, мною — ребенком — постоянно овладевало грустное чувство недоумения, вернее — тоскливое ощущение чего-то ненайденного, очень важного...

Бродя из комнаты в комнату, я искал свадьбу, но не мог ее — настоящую — найти. В столовой, на длинном бесконечном столе веселые старухи расставляли вкусные соленья, резали большими ломтями белый хлеб, откупоривали винные бутылки. Было оживленно, суетно, интересно, но ведь все это я видел, бывало, и дома — в меньших размерах — когда собирались гости. Понятно, что свадьба — самая суть ее — не была здесь.

В зале, взявшись за руки, большим кругом танцевали «Фрейлехс». Бородатые мужчины, развевая фалды, неумело выбрасывали вперед ноги и тянули за собою женщин, которые, мелко семеня, поспевали за ними приплясывающими ножками, все время улыбаясь, словно снисходя к танцу. Было шумно, неразборчиво, забавно, но спустя несколько минут все прояснялось и становилось очевидным, что самая главная часть свадьбы все-таки не здесь, и тянуло в соседнюю комнату посмотреть что там.

А там, за круглым гостинным столом, уставленным пряниками, крендельками, наливками, на диване сидели молодые. Но сразу бросалось в глаза своим несоответствием и непостижимой странностью, что молодые, несмотря на белое платье, фату и цветы невесты, несмотря на важность события (ведь это все из-за них!), так спокойно улыбаются и перебрасываются короткими фразами с теми, кто сидит поближе. Вокруг них мирно жестикулируют женщины, у которых нарядные косынки открывают впереди темные накладные париков, и по их небрежному тону видно, что все в этой комнате благополучно, обыкновенно и что свадьба, конечно, не здесь.

Не было свадьбы и в кабинете хозяина, где солидные люди, притворивши дверь «от музыки», играли в стукалку и в око. Стоило мне посидеть две-три минуты за чьей-нибудь спиной, чтобы усыпляющий перезвон серебра и карточные окрики играющих напомнили о частых похожих собраниях взрослых за столиками и сделали будничной и эту обстановку.

Я брел в переднюю, где теснились музыканты, и на одно мгновение мне казалось, что в рывкающей утробе контрабаса прячется какой-то

разрешающий ответ: так пыжились его звуки, так хотели погромче излиться... Но, постояв, я замечал равнодушно-усталые лица музыкантов и видел, что один, рыжеватый, стуча в барабан, упал. Истомленный поисками, пробирался я на крыльцо, выходящее во двор. В полутемной прихожей, заваленной шубами, прикорнув между них, в минутном крепком сне забылась хлопотливая тетка невесты, готовившая ужин. Тоже спала, спала, как барабанщик во время свадьбы! И так весело спокойны были все участники свадьбы, каждый, видимо, доволен той комнатой и тем занятием, какие избрал для себя в эту минуту, никто ни о чем не тревожился и ничего не искал... Даже спали.

Окутанный предутренним холодком, сидел я на деревянной ступеньке крыльца и, впевнив взор в опаловую зорьку горизонта, уже тронутую дыханием рассвета, все думал своей маленькой головой, все думал, думал...

Так где же то главное и важное, ради чего все собрались сюда?

Где самое интересное, обозначающее настоящую сущность собрания, от чего не надо было бы отходить и искать в другом месте? Где можно успокоиться, наконец, поверив спокойствию других?

Где же именно свадьба?

Так, приблизительно так, работала маленькая голова...

Выросла моя голова и детское прошлое выросло во взрослую жизнь. На многие вопросы прошлого настоящее дало посильные, маленькие ответы. Но до сих пор стоит мне очутиться в суетливой толпе, в шумном собрании, на празднике, где расшалившиеся будни мнят себя истинным торжеством, — по-прежнему поднимается и томит меня детское недоумение. Меняя место на место, я не верю спокойному веселью людей, которые главного, самого важного еще не нашли. И мятущийся среди постылой оживленности их, я изнываю, как маленький мальчик на крыльце от наросшего грызущего вопроса:

— Где же... Где же именно свадьба?

Когда дядя Иосиф плясал на столе, это означало, что свадьба докатилась до гребня веселья, после чего начнется уже спад. Гости оставляли карты, прекращались танцы. Из передней в столовую, играя, входили музыканты, у порога высилась фундаментальная фигура краснолицей кухарки Иты и даже кучер Федор осмеливался протянуть над столпившимися в дверях спинами свою широкую черную бороду, но без надежды на то, что развеселившийся дядя приметит ее и прикажет поднести ему стакан водки.

В то время как разморенные бессонной ночью и свадебным топотанием гости шумно расходились по домам, в притихшей квартире долго еще оставались брат отца моего, дядя Даниил и длинный розовощекий старик в ермолке «Фетер Пейся», раз навсегда связанные между собой спором, у которого не предвиделось никакой возможности прекратиться.

Дядя Даниил был закоренелый неудачник. Он выдержал «экзамен на нотариуса», но приступить к своей должности ему, как еврею, не разрешили. Свое представление о нотариальной конторе он почерпнул, по-видимому, из французских романов, где «нотариус с улицы Сент-Оноре» был неизменным и важным персонажем. Дядя Даниил навсегда сохранил обиду и, сделавшись учителем в талмуд-торе, носил все же не соответствующие этому званию массивные и грустные усы и вел беседы исключительно на «принципиальные темы».

Со стариком Пейсей велся у него приблизительно такой разговор:

— А я все-таки утверждаю, Фетер Пейся, что евреи были всегда самым храбрым народом.

— Храбрым, — нет, — медлительно отвечал старик, охватывая худым кулачком свою бороду и поглаживая ее таким образом во все время беседы. — Умным — да, справедливым — да, но при чем же тут храбрость?

— Скажите правду, что вы никогда не читали истории великой борьбы Иудеи с Римом?

— Вы знаете, Даниил Борисович, что я человек малограмотный и ничего умного не читал. Но я сам не храбрый и я не вижу, чтобы кто-нибудь из наших евреев не боялся пристава или собаки.

— Э, вы говорите о пустяках, а между тем даже римские историки признавали, что никто не оказывал такого героического сопротивления Риму, как один только маленький азиатский народец — иудеи.

— Может быть. О прежних евреях я не буду говорить. Ну, а теперь?

Спор продолжался без конца и, пока меня укутывали в мамин платок, чтобы отвезти с сестренками домой, я слышал еще в передней убеждающий голос дяди Даниила:

— Так прочтите у Когута про еврейского генерала французской армии Абрагама! Разве это не высший образец храбрости? Наконец, возьмите последние газеты. Кого назначил итальянский король своим военным министром?

— Кого? Кого? — жадно обступили дядю Даниила уже последние из уходящих гостей.

— Еврейского генерала Джузеппе Аттоленги...

Этот пресловутый Аттоленги остался в ушах у меня на всю жизнь: так часто я слышал впоследствии от незадачливого нотариуса, моего дядюшки, что долженствующее защитить евреев от обычных тогда обвинений в трусости генеральское имя.

Как ни наставляли меня родители, да и вся окружающая среда в суровых правилах трудолюбия и доброй нравственности, наиболее яркой фигурой из недр моей детской памяти неуклонно встает все же дядя Иосиф, человек бездельный и развратный.

Думаю, что произошло это оттого, что я сызмальства склонен был к некоему неосознанному «художественному символизму». А дядя Иосиф был символ. Если бы кто-нибудь написал свой «Вишневый сад» не о

распаде русской помещичье-дворянской семьи, а о вырождении еврейской наследственно-торговой среды к началу нового века, — дядя Иосиф был бы главным героем пьесы.

Еврейским Лопатиным, совсем по-иному вытеснившим дядю Иосифа с насиженных главенствующих позиций, был разночинец-интеллигент, почему и таилась глубокая враждебность между ним и отцом моим, работающим и пользовавшимся всеобщим уважением врачом.

Дядя Иосиф, погибая, кутил. Он приглашал двух-трех окрестных помещиков, являлся с ними в «театр» (так назывался пустой хлебный амбар, где давала представление заезжая еврейская или украинская труппа) и покупал представление за сто рублей. Это означало, что публику в здание не впускали, и актеры играли для нескольких пьяных господ, которые «для шика» не смотрели даже на сцену.

Впоследствии дядя Иосиф женился на венгерке, с которой повстречался в одесском кафешантане «Гранд отель». Эта красивая ограниченная женщина искренно его полюбила и родила ему дочь. Но Иозьф — так она его называла — тотчас же стал неистово ей изменять и очаровательная венгерка перед самой войной уехала с ребенком в Будапешт.

Когда разразилась революция, дядя Иосиф, беспомощный и нищий, скитался по Одессе в одном башмаке: другая нога, за неимением обуви, была обвязана рогожей. Говорят, что умер он одиноко у какой-то старушки-еврейки, предоставившей ему из жалости угол и рваный матрац.

И вот когда я вспоминаю старый торговый украинский городок, где центром всей жизни был базар с жалкими крикливыми лотками, где бедняки-маклеры в облезлых котелках бегали с утра до ночи по хлебным конторам, чтобы заработать на обед своим пяти-шести заморышам, где за воз арбузов мать моя платила каштанному равнодушному владельцу их, привезшему арбузы на волах, серебряный полтинник, — все это мне кажется тускловатым, все это я вижу как бы сквозь пыль, занавешивавшую улицы нашего города.

Но четко помню древний дедовский дом, где висели портреты почтенных бородатых еврейских купцов, грустно взиравших на конец своего владычества, на надрывающихся еще в последних потугах музыкантов, на гостей, доедавших остатки завещанного-купцами добра и, главное, на дядю Иосифа, который, обреченно высаясь над всеми, беспечно плясал среди объедков на столе.

ИЛЬЯ САЦ

Была суббота — банный день, и возле бани сновало множество народа. Бледные и красные лица с венниками и кульками, торговцы с лотками и торговцы с варениками, говорливые извозчики и молчаливые прости-тутки с удивлением глядели на небольшого черного человека со свертком

под мышкой, долго-долго ходившего по переулку и неугомонно сверкавшего глазами, словами, возбужденными пальцами и баннным свертком.

Это был Илья Сац. И это было мое последнее свидание с Сацем. Летом 1912-го года нам пришлось много времени провести вместе, потому что Илья Александрович участвовал в гастрольной поездке К.А.Марджанова с моей драмой без слов «Слезы»: он сам дирижировал оркестром, исполнявшим его музыку, под которую шла эта немая пьеса. Впрочем, его музыка говорила столько и говорила такое, что драма без слов звучала слышнее, чем могли бы звучать слова.

Ранней осенью того же года в Москве мы встретились случайно в переулке возле бани, куда направлялся Сац, и он спросил меня, как продвигается либретто задуманной мною — под влиянием его же музыки — трагедии без слов «*Domus dei et silentii*» («Дом Бога и молчания»). Гастрольный успех «Слез» поощрил меня к продолжению нового сценического опыта, и я решил использовать то органическое зрелище без слов, какое представлял из себя средневековый католический монастырь, где все живущие скованы были обетом молчания, где всякое прегрешение могло быть прощено, но слово каралось смертной казнью. Поликротовская по богатству самоцветов фантазия Саца уже предвкушала те необычайные музыкальные узоры, какие она вышьет на этой канве сухого аскетизма и кровавого сладострастия, елейной святости и чудовищного лицемерия, благоговейного устремления к небу и тайных преступлений, невиданных на земле. Природно-диалектическая мысль Ильи Александровича уже красочно рисовала себе торжественные органные моления в храме и оргиастический разгул в подземельях, бесплотные лики наверху, а внизу плоть, вздыбленную в инквизиционных пытках, девственную жертвенность во имя непорочной Марии, и бесстыжие мессы во имя многогрудой Астарты. Об этих-то возможностях, об этих деталях грандиозной и сложной трагической панорамы, антирелигиозную сущность которой к тому же надо было завуалировать перед недремлющим оком тогдашней цензуры, и говорил со мною Сац, в течение двух часов бродя по банному переулку.

Затем я уехал в Петербург, начал усердно работать над либретто и однажды утром, раскрыв газету, прочитал, что Сац умер.

Конечно, теперь порою думается мне, что сацевский музыкальный и мой текстовый замысел не должен был бы остаться тщетным, но в наши дни, когда он может быть осуществлен полностью и до предела, следовало бы снова вернуться к нему. Но тогда не то что кошунственной, а просто невероятной, немыслимой казалась дальнейшая работа над этой вещью «без Саца» и «*Domus dei et silentii*» так и остался в первоначальных набросках. Второго Саца я не искал, потому что второго Саца нет, не было и быть не может. Некогда в статье о Саце я писал: «Прошел всего год после неожиданной смерти Саца, а между тем в печати уже

появились во множестве статьи и воспоминания о нем. Это хорошо. Несомненно, столь рано и обильно вспоминая, авторы заставляют почувствовать, что умер человек необычный. Но вот мною прочитано почти все, что было написано об этом необычном человеке. И если бы ничего не знать о том, кто это был Сац, можно вынести после всех этих статей и воспоминаний, — весьма сочувственных, «тепло написанных», как выражаются газеты, — такое впечатление, что Сац был немного чудак, немного фантаст и к тому же талантливый композитор... Но не узнать правды о Саце: единственной по существу и, значит, единственно нужной.

Правда-то заключается в том, что Сац не был чудачком, не был фантастом и не был талантом, ибо был он, человек и музыкант — *гениальный*.

В дальнейшей «доказательной» части статьи упорно продвигалась мною мысль о том, что «гений неповторим». Он выходит в одном экземпляре и размножению не поддается. Он может стать в какую-либо эпоху не нужен, он может быть временно забыт, он может не быть всеми признан, но быть повторением, быть «вроде кого-то», он не может, как никто не может быть и «вроде него». О гениальности Саца я много раз еще при жизни его слышал от театральной публики, но от театральной критики не слышал никогда.

— Я пять дней подряд ходила в Одессе на ваши «Слезы», — сказала мне однажды в вагоне пассажирка-курсистка.

Мне, как автору, это втайне польстило, но соседка тотчас же разъяснила:

— Я в первый раз услышала музыку Саца: ведь это — гениально!

Я даже про себя ни на миг не обиделся, потому что курсистка была безупречно права. В моих «Слезах», несмотря на сверкающую игру В.Л.Юренивой, самое главное — была все же музыка Саца, как самое главное — была музыка Саца в «Жизни Человека» Л.Андреева, как самым главным становилась она почти всегда, когда попадала на сцену. «Это — гениально», — говорили в публике о сацевской музыке, но не помню, чтобы это же говорилось и о пьесах.

Когда после смерти Ильи Александровича появилась упомянутая статья о гении Саца, — такое определение вызвало немало негодующих или презрительных возражений со стороны профессиональных критиков и профессиональных музыкантов. «Что же писать тогда о Вагнере, если писать, что Сац — гений?» — бросил мне один из них. «Пишите, что Вагнер тоже гений», — шутливо предложил я, чем, конечно, не успокоил моего оппонента. Но вот вдумайтесь: какое страшное дело!

Кто такой Сац с точки зрения критиков-музыкантов? Музыкальный иллюстратор, музыкант при драматической сцене, композитор Московского художественного театра: не очень-то пышно для музыкального творца звание. Вторые и третьи сорта творчества чувствуются уже в самой конструкции этих определительных слов. Но не странно ли тогда,

что такого невеликого, такого прикладного музыканта, как Сац, Леонид Андреев в своих известных «Письмах о театре» вдруг величает «одним из творцов теперешнего театра»?

Не странно ли, что другой, уже современный писатель Ефим Зозуля в своей книжке «Встречи», вспоминая великие творческие индивидуальности, встреченные им на его жизненном пути, рядом с гениальными образами Гамсуна, мирового артиста Чаплина, изумительного поэта Блока называет и скромнейшее, казалось бы, имя «музыкального иллюстратора» Ильи Саца?

Разве не странно, что желая определить недюжинную работу этого гениального композитора с музыкантами, режиссер Попов в своих воспоминаниях умеет найти для Саца сравнение только с гениальным художником К.Брюлловым, который «чуть-чуть» касался кистью полотна своих учеников, и полотно внезапно оживало?

Разве не странно, что в позднейшей статье Евреинова о сатирических композициях музыкального иллюстратора Саца мы опять-таки находим выражение «гений сатиры», столь мало приложимого к творцам второго и третьего сорта?

Вокруг Саца пахнет гениальностью. Прочтите книгу о нем, и вы увидите, что на его могилу, как поздние памятные цветы, приносятся отовсюду эпитеты, привычные слуху гениальных творцов, а не музыкантов при театре. Он волнует, он потрясает, он изумляет, он не дает себя забыть, он входит в уши и не уходит оттуда никогда. Плащ одиночества, который гениям снимать не дано даже тогда, когда для всех снимать верхнее платье обязательно, окутывает образ Саца во всех воспоминаниях об этом странном и скорбном весельчаке, а, главное, в его дневниках, страницы которых часто похожи на вой одинокого путника в пустыне. И когда умирает театральный музыкант Сац и проходит двадцать лет после его кончины, Э.М.Бескин свою чуткую статью о нем в «Советском искусстве» считает нужным назвать «Вакантный пюпитр», ибо место, покинутое гениальным художником, всегда остается вакантным.

Я неимоверно долго для «воспоминателя» остановился не на личности, а на творчестве И.А.Саца, но это не только потому, что имя его все же «по инерции» вызывает полемический задор, желание воздать замечательному композитору «невозданное» ему историей и доньине. Нет, дело в том, что говорить отдельно о Саце и отдельно о творчестве — абсолютно невозможно, ибо в нем настолько химически слиты были личность и творчество, что ни в одном моменте — ни в жизни, ни в музыке — нельзя было уследить одного без другого.

Отец мой был не связанный с искусством человек, природный провинциал, погруженный в свою медицину лекарь. Но когда во время гастрольной поездки по югу я познакомил его с Марджановым, с Симоновым, артистами и с Сацем, отец, улучив момент, тихонько сказал мне:

— Вот этот... музыкант... верно, больше их всех? Даже смеется особенно. А говорит, как Гейне.

В устах отца сравнение с Гейне было высшей творческой похвалой. Впрочем, о Гейне вспоминал в Одессе и редактор местной газеты И.М.Хейфец после беседы в редакции с Сацем.

— Вот кого охотно я пригласил бы вести воскресный фельетон, — сказал он мне на следующий день. — Я раньше считал, что Сац — это Гейне в музыке. Но он и на словах чрезвычайно оригинален и остроумен. Не знаете ли, он не пишет?

Илья Александрович действительно «писал». Но и здесь его творчество было не для «воскресных фельетонов». Вот отрывок из интимного дневника: «Я вышел на улицу. Куда идти? Не все ли равно? Только бы уйти от самого себя, только бы задавить мысли и настроения, которые просачиваются сквозь все притворства и условности ... И я преувеличенно зашагал по переулку, стараясь в этой физической суете заглушить признаки злобещих вопросов-искр, которые — я ощущал — давно уже тлеют под хворостом повседневного притворства, угрожая с минуты на минуту разгореться пожаром отчаяния... Я боюсь вопросов. К чему? Разве можно ответить. Разве ответ есть? Разве эта бедная большая мысль не обречена на бессильные искания?»

«Мятежному духу исканий» — такова была надпись на венке, возложенном Московским художественным театром на могилу своего «музыкального иллюстратора». Эти-то искания и стали праматерью его одиночества, ибо в те времена «мятеж» ищущего духа не прощался.

Сац родился в Черниговской губернии. Когда позапрошлым летом мне пришлось посетить Чернигов и я спросил старичка-портного, у которого жили мои знакомые, не помнит ли он семьи Сацев, седенький еврей тотчас же назвал отца Саца по имени и высоко кверху поднял указательный палец: «О, это был замечательный человек!» Если верить ученой иконографии Акима Волынского, то поднятый вверх палец уже говорит больше слов.

Вехи внешней биографии Ильи Саца: еврейская школа, гимназия с изгнанием из третьего класса, музыка в школе, дома, на улице, музыка — везде, где ее можно найти... Консерватория, где для Саца есть все, кроме музыки, ибо музыки в портфеле он не выносит, репетиторство в деревне, увлечение Толстым и организация помощи голодающим... Разрыв с консерваторией, отъезд от слежки полиции за границу: Берлин, Париж, Мюнхен, Дрезден, Женева, Генуя, Флоренция и Монпелье, где он нашел друга — жену Анну Михайловну, сопровождавшую его до последнего вздоха. Знакомство с Плехановым, опять Россия, Сибирь, музыка, музыка, музыка, возвращение в Москву... Революция 1905 года, квартира Саца, где скрывается Бауман... Филармония, где «некто Сац» произносит потрясающую речь и призывает к борьбе всю музыкальную молодежь

Москвы, ночи, когда Сац со всеми домочадцами строит в Серебряном переулке баррикады.

И вдруг — Метерлинк, «Смерть Тентажиля», театр-студия, Московский художественный театр... Ореол начинающейся славы, Андреев, Гамсун, Шекспир... Нет, мало. Это еще не то! Нужно бежать от неугомонной тоски, создать нечто, куда можно уйти от преследующего по пятам одиночества... Музыка народов, дворец музыки, универсальный дом музыки, музыка для масс, музыка — массам... Бродяжничество в погоне за материалом: Западный край, Кавказ, Крым, узбеки, татары, зурначи, жалейщики, лирники, бандуристы, сопельщики... Несбыточность великого замысла в бесплодные, скованные царизмом, времена. Поездка с Марджановым и драма без слов, где два часа подряд звучит и властвует музыка Саца. Опять, опять и опять могучие замыслы... И вдруг обрывает их смерть... конец...

Такова кратчайшая внешняя биография Саца. Для внутренней надо пригласить Стефана Цвейга. Но все же с большой опаской. Там, где темой является сплошной авантюризм Казановы, четкая двойственность Анри Бейля-Стендаля, львиная целеустремленность Толстого или фанатическое анализаторство Фрейда, — великолепный литературный узорщик Стефан Цвейг достаточен со своей изысканной, западно-аккуратной кистью. Но тут надо было бы, не морщась, окунуть свою кисть в такие странные человеческие внутренности, где кровь и гной перепутаны с работой кристального сердца, где тоска одиночества, больничная койка, болезнь, музыка, революция, дети, слава, голод, великие замыслы гения и неопрятные задворки богомы переплелись в тот неповторимый человеческий клубок, имя которому — Сац.

Сац-толстовец, кормящий погибающих от голода крестьян; Сац, путешествующий в пределах для тайных парижских театров сладострастия; Сац, собирающий незнакомых маленьких ребят и увозящий их из каменного города подышать сосною и нарвать полевых цветов; Сац, строящий баррикады и отмечающий в своих изумительных по прозрению дневниках, что только в рабочих и крестьянах нет этой съедающей тоски; Сац — нежнейший семьянин и семейный кощунственник в то же время; Сац — музыкальный иллюстратор при драматическом театре, создавший гениальный замысел о величайшем доме музыки, организуемом всемирное братство созвучия народов, — этот Сац не нашел бы, конечно, своего хаотического, своего вулканического биографа в таком отточенном, в таком законченном описателе горных отрогов и снежных вершин, каким является Стефан Цвейг.

Немало вечерних и ночных часов мне пришлось провести с Ильей Александровичем, — особенно во время совместной поездки, а память моя чрезвычайно склонна удерживать подробности личного, интимного общения с человеком. И тем не менее именно в отношении Саца не хочется как-то вспоминать о мелочах, о «неглавном», но хочется только не

упустить то большое, то «главное», что осталось навсегда от Саца. Быть может, это происходит еще и потому, что малое, узкое, житейское часто в Саце могло показаться непривлекательным, между тем как огромнотворческая индивидуальность его была обаятельна — без предела.

Житейски — при поверхностном восприятии явлений — могли претить его неопрятная романтика (в дороге он, будучи *pater familias*, возил за собою какую-то подозрительную девчонку, которую пытался прятать от всех), вдруг охватывавшая его погоня за рублем (при всей своей «славе» и приличном заработке он на спектакле «Норы» старался сам сыграть за кулисами танец, чтобы в качестве аккомпаниатора получить лишь пять рублей) и другие, подобные этим «странности», большого человека. Но разве могут затмить эти мушиные пятна то светлое творческое полотно, которое выплывает в памяти каждого знавшего его при одном только имени: Сац?

В поездке, как уже упоминалось, Илья Александрович сам дирижировал оркестром, и никогда его музыка не звучала так захватывающе, как в те вечера, когда он хотел сделать «сацевскими» звуки какого-нибудь разрозненного и захудалого провинциального оркестра.

Часто недоставало музыкантов или инструментов. Помню, как (в Полтаве, кажется) Илья Александрович в течение двух часов обучал какого-то мальчишку стучать палочками по стулу (взамен ударного инструмента). И обучил. Во всяком случае перепуганный, но восторженный маленький еврей не испортил изумительного «сацевского» ансамбля.

Я часто спрашивал себя тогда: в чем же сущность неповторимой музыки Саца? Биограф Толстого рассказывает, что, слушая музыку одного из великих и славных композиторов, старец разрыдался и сказал: «Чего она хочет от меня, эта музыка?»

Бывает изысканная, виртуозная, сложнейшая музыка, о которой тот же Толстой говорил, что, покупая себе билет за пять рублей, многие часами слушают ее и ничего не понимают. Такой непроникающей музыки — изыско-музыки или сложно-музыки у Саца не было нигде и никогда. Но, по слову Толстого, музыка Саца всегда «хотела». Нет, сильнее: она всегда требовала и требования ее были точны и беспрекословны. Очень своеобразные, капризные, неожиданные, иногда фантастические по форме музыкальные призывы Саца — по существу, по содержанию всегда были просты, как всякий категорический императив: они доходили до каждого и каждому были до конца понятны. Когда Марджанов, желая проверить доходчивость спектакля «без слов», в Ростове позвал на репетицию взвод солдат, — а тогда солдаты не то, что нынешние красноармейцы, были самые неотесанные нарочито-притупленные люди, — музыка Саца до того ясно им все рассказала, что один из солдат абсолютно точно сформулировал мораль необычной немой пьесы:

— Вот какова-то она у нас: нехороша женская доля!

В музыке Саца не было, — потому что органически не могло быть — пустых, пропусковых, смутных, непонятных мест: нет ведь ничего бессмысленнее требования, которое непонятно. Каждый звук Саца, при всей своей композиционной оригинальности, всем смыслом своим призывал к тому именно, к чему хотел призвать слушателя композитор. Вот почему композитор так часто и превосходил автора пьесы. Сац говорил о том, что драматургу сказать не удалось.

В польке на балу андреевского «Человека» автор сумел подчеркнуть лишь внешнюю пошлость бала, а композитор выявил глубочайшую последнюю тоску человека, пригвожденного к мерзости мещанского своего бала, эту зародышевую колбу живого действенного протеста.

В «Мизере» Юшкевич хочет дать свадебный вальс, а Сац создал неповторимый, единственный в музыкальной литературе вызов колдующим оковам любовной тоски, мятёж несчастливой любви человеческой, перешедшей робость покорных томлений.

Музыку «Гамлета» Сац сделал могучей сатирой на золотопышную пустоту нелепой королевской власти. Из мистической «Синей птицы» Метерлинка он сумел извлечь изумительный материал для бодрых, здоровых, зовущих к лучшему будущему напевов. В своих сатирах Сац — музыкальный Шедрин, счастливо владеющий оружием более сильным, чем перо. Когда Сац, воюя со звериным национализмом шовинистов, хочет осмеять пресловутый «русский дух», он пишет оперу «Не хвались идучи на рать», либретто которой тоже принадлежит Сацу. «Жутким казалось, — вспоминает один из биографов, — веселье этих одержимых «русским духом» тварей. «Финал весь, — скучное, до тошнотворного скучное веселье. Не то обожрались блинов, не то упились лампадным маслом».

Эта ремарка, являющаяся лишь бледной тенью ярчайшего музыкального воплощения, — один из образцов того, что «хотел», чего требовал своей музыкой Сац. Когда в Петербурге получена была телеграмма «Сац умер», в театре шла премьера балета Саца «Козлоногие». Когда же занавес опустился, вместе с громкими аплодисментами раздались шипение, шиканье, свист. «Козлоногие» в публике брыкались, протестуя против сатиры на них, представленной на сцене. Писатель Осип Дымов, присутствующий на спектакле, писал, что если бы они знали о смерти Саца, то, может быть, и не свистели бы. «Козлоногие» решили бы, — писал он, — что отныне Сац не будет больше нас учить, нас раздражать, не будет нас будить, звать, навязывать новое... Простим же ему!»

«Козлоногие» отбыли свой век, и даже живые из них уже мертвы. А Сац, умерев, остался жить и живет до сих пор среди всех, кто слушал его музыку хоть однажды. От музыки Саца нельзя «избавиться». И сейчас, когда я пишу эти строки спустя четверть века после того, как мы потеряли Саца, я естественно слышу его «Весну», которой начинается «драма без слов», и медленно вдыхаю чистоту юной влюбленности и ароматы сиреневого сада... И в то же время я не только слушать, но и

вспоминать без слез не могу сацевских музыкальных рыданий: это самое страшное и мощное, его еврейская, его гонимая, его агасферова душа... Нет, Сац, конечно, не передал в своей музыке и одной сотой себя. Оттого-то он и не успел довести до всеобщего восприятия истинный свой гений. Но умеющие читать слово под словом и видеть краску под краской умели слышать под музыкой Саца эту музыку всеохватывающего, гениального мироощущения, для которого лишь бледными символами являлись, конечно, общезнакомые иллюстрации композитора Московского художественного театра.

Сац имел полное право не любить критику, современную ему. Она «похваливала» его, но она ничего не сделала для того, чтобы раскрыть перед публикой подлинного Саца и выявить весь его настоящий рост. Не напрасно Сац обронил однажды замечание, что «если есть хоть малейшая возможность что-нибудь не понять, то критика не поймет непременно».

Помню, мы ехали с Ильей Александровичем в вагоне и говорили об известном афоризме, что идея должна быть растворена в произведении, как сахар в чае. Сацу чрезвычайно понравилась эта мысль, и он загорелся:

— Здорово сказано! Сахар вовсе не должен быть виден, но кто глотает вкусный чай, неприметно вбирает в себя питательный сахар. А олухи-критики то и дело требуют, чтобы идея была «видна», чтобы сахар был отдельно, чтобы публика чай пила «в приглядку»... А потом удивляются, почему это публика и вовсе пить такой чай не желает?

Весь, казалось бы, порывистый, эмоциональный, стихийный (отсюда и необычайная «чувственность» его), Илья Александрович в беседах настойчиво повторял о своей «сознательности — всегда и во всем». Так записано и в его дневнике: «Все, что я пишу, глубоко сознательно. Это вовсе не так себе».

В своем творчестве он был предельно содержателен, никогда не опускался до пустой формы. Он «мыслил музыкой» и своими чудесными мыслями неповторяемо заражал и волновал. Вот почему об этом «музыкальном мыслителе», которого я так жизненно знал и так плотски помню, — и написал я теперь, вероятно, излишне теоретически, мыслительно, «без быта...»

Я Саца глубоко люблю как творца, а излишне бытовое о нем, должно быть, потому же кажется мне недостойным воспоминания, почему, соорудив монумент герою, никогда не изображают его с зубочисткой в руках.

Публикация Евгении Дейч

Иосиф Зисельс

Иосиф Зисельс — известный общественный деятель, правозащитник и — в прошлом — узник совести. Он стоял у истоков организационных форм еврейского движения в бывшем СССР, а после его распада — в Украине. В настоящее время он председатель ВААД Украины.

Предлагаемая статья является результатом многолетнего анализа состояния еврейской общины и перспектив ее сохранения и развития.

Исследуя его тенденции, И.Зисельс рисует не слишком оптимистическую, но реальную картину, отражающую истинное состояние еврейской жизни в Украине. А что касается перспектив, то автор уверен: евреи, прожившие в Украине 1000 лет, будут жить в ней и в XXI веке, сколько бы не уверяли в обратном западные футурологи.

Основные тезисы статьи были изложены И.Зисельсом в виде доклада на 5-й конференции по иудаике (сентябрь 1997 г., Киев).

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

В мае 1989 г., в Риге, на первой легальной конференции еврейских организаций СССР впервые после долгого перерыва прозвучало понятие «еврейская община», которое до сих пор вызывает массу эмоциональных споров, но практически не исследуется на серьезном научном уровне. Тогда же и там же прозвучали первые соображения о концепции современной общины, прежде всего о сервисном характере общинной деятельности, о поддержке как алии, так и «автономии» и т.д. На заре «еврейского возрождения» мы наивно верили, что все в наших силах — и концепция новой общины, и реализация ее, то есть восстановление общинной жизни. Так же наивно мы верили, что большой еврейский мир, от которого мы были оторваны 70 лет, бескорыстно и с радостью поможет нам восстановить еврейскую жизнь.

За эйфорией, как это чаще всего и бывает, последовало разочарование, причины которого необходимо осмыслить, ибо при всем нашем энтузиазме нам просто не хватало знаний. К тому же многих дезориентировала концепция, принятая на определенном этапе еврейским миром по отношению к восточноевропейским евреям (кстати, она никогда не согласовывалась с нами и, как доказало время, оказалась несостоятельной). Сводилась она к тому, что «советские» евреи — это только материал для репатриации, и укреплять их общины нет необходимости, ибо до тех пор, пока все не уехали, временно остающихся «обслужат» профессиональные структуры — Сохнут, Джойнт и другие.

Прошло почти 10 лет, «оптимистические» прогнозы о поголовной репатриации рухнули, и мы остались с тем, что есть — с большой, слабой, разрозненной и неструктурированной общиной, обремененной массой проблем.

По последней переписи населения (1989 г.) в Украине проживало 486 тысяч человек, в момент переписи назвавших себя евреями. Как правило, это были те, у кого и отец, и мать являлись евреями и у кого в паспорте значилось: «еврей». Будем считать, пользуясь демографической терминологией, этих людей «ядром еврейской популяции» Украины. Но демографы для полноты характеристики популяции предлагают «коэффициент расширения ядра» — 1,5–2,5. Таким образом «расширенная популяция» евреев Украины в 1989 г. составляла более миллиона человек, а вместе с членами семей — неевреями — примерно 1,2–1,3 миллиона человек, живших в более чем двухстах городах и населенных пунктах.

И еще несколько демографических характеристик: смешанные браки среди евреев Украины по данным 1995 г. совершаются в 79% (мужчины) и 70% (женщины); на одно рождение еврейского ребенка приходится 8–9 смертей евреев пожилого возраста. За последние 8 лет «естественная убыль» еврейского населения составила более 50 тысяч человек. При этом средний возраст общины — более 50 лет.

Религиозность евреев Украины крайне низка — не более 3% (1% — посещают синагогу практически каждый день, 2% — молятся дома; придерживаются в той или иной степени традиций около 10%). Но при этом в культурных и иных общинных мероприятиях принимает участие до 80% евреев в малых городах и до 30% — в больших.

Массовая эмиграция уменьшила количество евреев (с семьями) за 8 лет (1989–1996 гг.) на 400 тысяч человек. Значит, в настоящее время в нашей стране проживает около 800–900 тысяч человек, составляющих потенциал еврейской общины, но одновременно и потенциал эмиграции. «Ядро популяции» в 1997 г. составляет примерно 220 тысяч человек.

По данным многократных социологических опросов, основные причины высокого уровня репатриации и эмиграции из Украины суть: социально-экономическая ситуация, воссоединение с родственниками, желание улучшить жизнь и здоровье детей (в частности — из-за неблагоприятной экологической обстановки), сложности в профессиональной самореализации, изменение среды общения. Из 400 тыс. эмигрировавших за последние 8 лет 200 тыс. уехали в Израиль, 100 тыс. — в США, 50 тыс. — в Германию, 50 тыс. — в другие страны. При этом доля «паспортных» евреев в еврейской эмиграции составила: в Израиль — 53%, в США — 56%, в Германию — 41%. Следовательно, «паспортные» евреи составляют лишь около половины эмиграционного потока, что дает нам право применить коэффициент «расширения ядра популяции» не менее 2.

В конце 1995 — начале 1996 г. израильский социолог Надя Зингер проводила исследование «Тенденции репатриации из России и Украины».

Было опрошено 1500 человек в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Установлено, что 38% намерены эмигрировать (12% — уверены, что да; 26% — думают, что да). Соответствующие показатели в конце 1993 — начале 1994 г. были существенно выше (50%). Таким образом, за два года эмиграционные настроения заметно пошли на убыль (в 1,5 раза).

По данным тех же опросов, страной, желательной для эмиграции, были: Израиль — 11%; США — 12%, Германия — 5%, Австрия — 4%, Канада — 3%, другие страны — 2%. В течение 1996 г. планировали репатрироваться 5,2%, в 1997 г. — 2,9%, позже — 10%. Если предположить, что желающие репатрироваться в 1996 г. осуществили свое желание с вероятностью 60–80% (а в 1996 г. из Украины репатрировалось 23380 человек), то общий потенциал эмиграции в то время составлял 600–800 тысяч человек. Но ход алии в течение 1997 г. указывает на некоторое снижение темпов выезда в Израиль (примерно на 10%, следовательно, в уходящем году из Украины уедет около 20 тысяч человек.

И еще одна любопытная цифра: при достаточно высоком уровне эмиграции более половины опрошенных евреев считали, что средства, собираемые в еврейском мире для наших общин, в большей степени должны идти на укрепление общины, чем на поддержку репатриации.

Исследование Нади Зингер показало: 62% опрошенных не намерены эмигрировать из Украины. Основные причины отказа от эмиграции: сильная привязанность к стране проживания и ее культуре, неподходящий возраст, имеющаяся хорошая работа и опасение понижения профессионального и социального статуса.

Таким образом, при стабильном развитии эмиграционной ситуации за ближайшие 10 лет из Украины «по еврейскому каналу» уедут 350–400 тысяч человек, то есть примерно 50% «расширенной популяции». Среди оставшихся «ядро популяции» будет составлять 100–120 тысяч человек.

По данным Министерства статистики Украины, в последние годы наметился довольно неожиданный феномен — медленно возрастающий процесс реэмиграции. За последние три года только по официальным данным «возвратились» в Украину (из Израиля, США, Германии и России) около 6500 евреев (с семьями), что составляет примерно 5% от общего числа эмигрировавших за тот же период времени. Часть реэмигрантов — люди, получившие образование и деловые навыки в Израиле, США или Европе и желающие применить их в новых условиях в Украине. Часто эти «возвращенцы» являются посредниками для западных и израильских инвесторов, так как намного лучше их знают ситуацию на своей родине, не говоря уже о знании языка, понимании ментальности и сохранившихся связях. Не все они, кстати, официально заявляют о своем новом статусе, что дает основание предполагать, что истинные цифры реэмиграции в 2–3 раза выше. По израильским неофициальным данным, за последние годы из Израиля в СНГ вернулось 30–40 тысяч репатриантов.

Этот феномен требует еще специального исследования, но уже сегодня, исходя из мирового опыта, можно утверждать: значительное количество израильтян практически постоянно проживает в разных странах, в том числе — в странах исхода (в первом или втором поколении); они, как правило, активно участвуют в общественной жизни — и финансово, и лично; даже при нынешних условиях жизни и бизнеса Украина является в достаточной степени привлекательной страной для активных людей из разных стран, в том числе и для бывших эмигрантов, и даже при не очень значительном улучшении ситуации в нашей стране мы можем через 15–20 лет столкнуться с феноменом «динамического равновесия», когда потоки эмигрантов и реэмигрантов примерно уравниваются по мощности; фактор активного участия в общественной жизни проживающих в Украине израильтян и других реэмигрантов может помочь сохранить здесь еврейскую общину не только количественно, но и на достаточно высоком уровне активности.

А теперь о самом больном: около трети еврейской общины (200–250 тыс.) — пенсионеры с пенсией в 40–50 гривен. Многие из них без семей, или дети находятся далеко от них. Лишь часть получает при этом помощь от родственников из Израиля, США, ФРГ. Большинство пенсионеров не в состоянии оплатить (и не оплачивают) коммунальные услуги, медицинскую помощь, транспорт, обновление одежды и обуви, полноценный рацион питания. Примерно 12–15% общины (100–120 тыс.) постоянно нуждаются в различных видах помощи (продукты, медикаменты, уход, одежда, деньги). Около 12 тысяч пожилых людей и инвалидов нуждаются в патронажном уходе, будучи не в состоянии самостоятельно себя обслужить.

Особое место среди социально слабых слоев еврейского населения занимают более 50 тысяч жертв Холокоста (узники гетто и концлагерей; люди, потерявшие во время войны своих близких, жилище, имущество; старики, в результате ранений, инвалидности и болезней, приобретенных во время войны, оставшиеся одинокими). Аналогична группа жертв советских репрессий 20–50-х годов.

По данным известного демографа Марка Куповецкого, в Украине в настоящее время проживает около 30 тысяч еврейских детей школьного возраста (через 20 лет прогнозируется 10 тысяч), но лишь около трети их в той или иной степени обучаются в системе еврейского образования. И это при том, что 79% опрошенных родителей высказали желание, чтобы их дети овладели знаниями в области еврейской истории, традиций и культуры. Основной проблемой остается низкая конкурентоспособность еврейских школ (неудобство расположения, недостаточная оснащенность, низкий уровень общеобразовательных предметов и в связи с этим ухудшение шансов при поступлении в престижные вузы).

И все же в Украине работает 16 дневных и около 80 воскресных школ, 11 детских садов, 8 иешив, около 150 ульпанских групп, университет, 2 колледжа. Используются и дистанционные формы обучения.

Беды еврейского образования обуславливаются основными проблемами еврейской общины Украины, среди которых нужно назвать: дефицит профессиональных кадров; практическое отсутствие внутреннего финансирования; чрезвычайная слабость координации деятельности различных организаций, включая и внешние; минимальная вовлеченность молодого поколения в общинную жизнь.

Что же касается непосредственно номинально существующих около 300 еврейских организаций и общин, то они весьма условно объединяются тремя интегральными структурами: ВААД, Объединение еврейских религиозных организаций и Еврейский Совет Украины. И если еврейские общественные организации сыграли значительную роль в пробуждении и удвоительном интеллектуального интереса ассимилированных евреев Украины на первом этапе восстановления еврейской жизни (1988–1993 гг.), то в настоящее время их влияние заметно снизилось, так как они не сумели перестроиться и приспособиться к этапу создания профессиональной инфраструктуры еврейской общины.

В Украине в настоящее время не хватает руководителей религиозных общин (70 ортодоксальных и 15 реформистских), в которых работают 18 иностранных ортодоксальных раввинов (Израиль, США) и ни одного местного раввина. К тому же в их распоряжении лишь около 30 синагог, остальным общинам приходится пользоваться непригодными помещениями или вообще обходиться без таковых.

С большими трудностями сталкиваются даже те общины в более чем 60 городах Украины, где с помощью Джойнта созданы службы социальной защиты: опять не хватает социальных работников-профессионалов, оборудования, волонтеров. Важно и то, что удовлетворение этих потребностей в значительной степени осуществляется за счет зарубежных организаций, прежде всего Джойнта, который непосредственно управляет основной частью общинно-социальной инфраструктуры. Многие руководители еврейских общин и организаций получают заработную плату в зарубежных еврейских организациях, что создает проблему их зависимости от внешних факторов.

С другой стороны, передача средств в местные общины от общественных структур чревата злоупотреблениями внутри общины, ибо трудно рассчитывать на нравственное поведение бедного, по-советски деморализованного, нерелигиозного человека, тем более в обществе, где процветает коррупция и ловкое использование своего общественного или должностного положения в личных целях считается моральной нормой. А создание эффективной системы контроля требует больших финансовых и организационных усилий, а также увеличения и без того значительной доли управленческих средств в общем объеме помощи. Определенной альтернативой этой ситуации является присутствие и деятельность раввина, непосредственно направленная на укрепление общины и ее самостоятельность. Но при любой форме управления в системе социальной защи-

ты необходимо широкое вовлечение волонтеров. В Украине же это звено остается слабым: часто даже имеющиеся волонтеры нуждаются в помощи не меньше, чем их подопечные.

По ориентировочным данным для создания, поддержки и развития структуры социальной помощи в еврейской общине Украины необходимо не менее 50 миллионов долларов ежегодно. В 1997 г. на эти цели использовано только 10 миллионов, то есть 20% необходимого. Основными спонсорами выступают «Клеймс Конференс», «Джойнт», зарубежные религиозные организации («Хабад», «Яд Исроель»), европейские еврейские организации (ЕЕК, ЕСЕО), Объединение еврейских общин Украины, ВААД Украины, местные бизнесмены.

На еврейское образование удается получить не более 5 миллионов долларов в год (при потребности не менее 20 миллионов). Спонсорами выступают: «Хабад», «Яд Исроель», государство Израиль, «Сохнут», Министерство образования Украины, «Джойнт», фонд Л.Пинкуса (Израиль), «Мидрешет Иерушалаим», Объединение религиозных общин Украины, ВААД Украины.

А еще существуют детские, молодежные, научные и мемориальные программы, на которые, естественно, тоже не хватает средств. В то же время административные расходы зарубежных организаций по управлению всеми названными программами в Украине составляют 3–4 миллиона долларов (15–20% общего объема помощи общине).

И еще один парадокс: вся ежегодная сумма помощи, удовлетворяющая потребности лишь на 25% и рассчитанная на сотни тысяч евреев, равна сумме, расходуемой еврейским агентством «Сохнут» на подготовку к репатриации в Израиль всего лишь 20 тысяч евреев (что составляет только 2,5% членов общины). Таким образом, на каждого уезжающего еврейский мир тратит в 10 раз больше средств, чем на еврея, остающегося в Украине и желающего сохранить и развивать свою национальную жизнь.

Эта тенденция тревожит, особенно учитывая факт, что зарубежное участие в финансировании «еврейской жизни» Украины превышает 95%. Только около 5% «бюджета» еврейской общины покрываются за счет внутреннего фаундрейзинга. Отсюда вывод: финансовый, а следовательно и общий контроль над ситуацией находится в руках зарубежных еврейских, в значительной степени бюрократических организаций, которые не слишком заинтересованы в развитии местных еврейских общин.

В Украине в настоящее время активно и довольно успешно занимается бизнесом не менее 3 тысяч евреев, среди них граждане Израиля, США и ФРГ — бывшие жители нашей страны, вернувшиеся для участия в развитии украинского бизнеса. Около 30 евреев-бизнесменов входят в первую сотню активных и состоятельных предпринимателей Украины. К сожалению, расходуя на нееврейскую благотворительность не менее 20 миллионов долларов (содержание спортивных клубов и т.д.), они в мизерной степени участвуют в жизни общины.

Попытки же еврейских общин «зарабатывать» средства для своей деятельности, как правило, оканчиваются неудачей из-за недостатка профессионализма, а также в связи с тяжелыми условиями частного бизнеса в Украине. Не облегчает положения и «приватизация еврейской общины», фактически происшедшая в некоторых городах, где руководителями общины являются крупные по местным масштабам бизнесмены. Хотя такое руководство обеспечивает минимальное финансирование общинных программ, оно имеет немало издержек: порождает авторитарные методы руководства, исключает избрание другого руководителя и т.д.

Большой проблемой остается реституция общинной собственности, план которой даже предварительно не рассматривается органами власти. Из сохранившихся 2000 объектов такой собственности государство вернуло общинам не более 30. А между тем процесс приватизации уже коснулся нескольких общинных зданий. И если противостоять ему хоть как-то удастся в больших городах, то в малых, увы, нет. Кстати, в малых городах и различные виды общинного обслуживания организовать во много раз труднее. А это создает неравенство помощи нуждающимся членам общины в зависимости от того, где им посчастливилось жить.

Таковы проблемы еврейской общины Украины сегодня. Они не исчезнут и завтра, ибо, по самым скромным подсчетам, община стабилизируется на уровне 150–200 тысяч человек, оставаясь одной из крупнейших в мире. Причем активность ее будет повышаться, но структура и источники помощи в ближайшие годы мало изменятся. Едва ли будут изменены акценты в оказании помощи: на первом месте остается социальная защита, затем — образование... На полное удовлетворение потребностей рассчитывать трудно, ибо не может быть благополучной еврейской общины в неблагополучной нееврейской стране.

Конечно, прогноз выглядит не слишком оптимистическим. Но за нашу долгую историю уже не раз бывало так, что, казалось, уничтоженная община возрождалась. Надо верить в это и не опускать руки.

Зіновій Антонюк

Якось З.Фрейд, визначаючи поняття «совість», сказав, що вона є досить своєрідним феноменом, бо мучить і переслідують тих, хто найменше завинив перед нею. Яскравим підтвердженням цієї тези є есей відомого правозахисника і колишнього в'язня совісті Зіновія Антонюка про можливість і бажаність єврейсько-християнського діалогу. Він зупиняється на больових вузлах міжнаціонального та міжрелігійного існування, на історичних та моральних засадах єврейсько-християнських протиріч. З цимирим болем і пристрасною торкається він найгостріших моральнісних питань сьогодення. І у вирішенні їх бачить майбутис справді вільної, духовно багатой і щедрой України.

Есей «Чи потрібний сьогодин єврейсько-християнський діалог?» у вигляді доповіді було виголошено на п'ятій міжнародній науковій конференції «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи» у вересні 1997 року.

ЧИ ПОТРІБЕН ЄВРЕЙСКО-ХРИСТІЯНСЬКИЙ ДІАЛОГ СЬОГОДНІ?

Спочатку кілька запитань, породжених зануренням у нашу минулу християнську свідомість лише на глибину пам'яті мого покоління. Власне кажучи, чому діалог? Який діалог? З ким діалог? Що, між двома Ізраїлями як обранцями Бога? Живим, християнським, що давно посідає монополіне становище універсальної, вселенської, вселюдської моральнісно-релігійної системи, і єврейським початку християнської ери, який, як відомо, за всіма законами нашої християнської логіки припинив своє існування? Якого немає і бути не може?! Адже це абсурд якийсь!..

Бо кожен християнин ще з дитинства, з молоком матері набував упевненості, що після падіння Єрусалима та зруйнування Храму римськими легіонами той старий єврейський Ізраїль, Ізраїль Старого Заповіту таки загинув, його нема і не має права вже бути. Він не витримав проби життям і його місце «за всіма правилами» посів новий, християнський, Ізраїль Нового Заповіту. І з появою його жоден інший був і не потрібним вже нікому. Ну, нехай не загинули фізично усі прихильники старого Ізраїлю, але ж вони мали можливість увійти до нового. То яке вони мають право носити це ім'я Ізраїль окремо, не в рамках НОВОГО Ізраїлю як ознаки Божої обраності?

Яксь зменька впертухів захищала своє право на збереження власних моральнісних принципів, свого окремого нехай, і першого в світовій історії морального доробку, нехай і набутого важкою працею душ бага-

тьох поколінь, що пішли за Авраамом у сприйнятті та дотриманні Угоди з Єдиним?.. Нехай!

Але де вони, ці впертухи? Хіба не загубилися на шляхах християнської Європи? Не вимерли ще в середньовічних гетто? Не задихнулися у задусі та смороді і періодичних погромах смуги осліпості у той час, як в іншій частині Європи лунають гасла про Рівність і Братерство та узаконюються однакові громадянські права для всіх? Невже вони залишилися ще після того, як упродовж усієї майже християнської ери чулося з християнських звідусюд: «Серед нас ви не маєте права виокремлюватися!» Після того як від «найрадикальніших християн» наступило християнське об'явлення найупертішим: «ви не маєте права жити!»?.. Я не ставлю запитання, чому ніхто не міг чи не хотів збагнути, що ці впертухи рятували як свою гідність, так і гідність самої моральнісної Угоди Авраама як батька множини народів з Єдиним Моральнісним як єдині свідки присутності Бога в людській історії. Отже, і гідність християнства як відкритої системи у Авраамовій традиції. Але християнам їхня справжня гідність тоді ще важила небагато, і тому ці впертухи були приречені. Приречені не Богом, а нами, християнами, серед яких мали необережність чи легковажність жити.

Проте трагедія смерті нами, християнами, приречених впертюхів повернулася трагізмом для винуватців, — не тільки тих, які гнали, наvertали, убивали, але й усього християнства, поставивши його на грань повного краху своєї універсальної моральнісної релігійної системи, яка не змогла своєчасно впоратися моральнісними засобами з виниклою загрозою смерті тих, кого вони взялися захищати, перебравши й на себе їхнє імення Ізраїль...

І хоч у тонких моральнісних системах та ситуаціях, де найбільше має важити сльоза невинної дитини, для очерствілого християнського світу потрібно було аж шість мільйонів смертей невинних людей, що загинули тільки за свою вірність Єдиному Моральнісному, але це не могло вже не стати землетрусом для всієї величної моральнісної структури християнства. Треба було рятувати.

І для порятунку моральнісної структури можливий єдиний моральнісний інструмент — ДІАЛОГ. І саме з тими недобитими, недопаленими, недоверненими впертюхами юдейського Ізраїлю і мусить розпочинати діалог всепереможний християнський Ізраїль. Проте це — не є його поразкою, а навпаки — його моральною перемогою над своєю зарозумілістю та пихою. Найпершими відчувли життєву потребу всехристиянського, а не вузько міжособистісного, що, мабуть, ніколи не припинявся між справді віруючими в рамках Авраамової традиції, діалогу з впертюхами найчутливіші християни ще задовго до історичних рішень верховних органів християнських структур. Відчувли спонукані як потребою спокутування своєї вини як християн у тому, що сталося з юдеями, так і гострою потребою рятувати від морального краху дороге їм усе християнство як

таке. І саме вони, як сіль християнської землі, як могли, так і рятували, заставляючи власним прикладом менш чутливих замислитися над причинами небаченої трагедії, переосмислити самі підвалини, на яких зводилася упродовж багатьох віків всеперемагаюча велична, як здавалося, будівля християнства. Адже все у моральній сфері, — наче б то затверджене групою мораллю не одного покоління, — мусить зазнавати, заради ж групової користі, періодичної перевірки на згідність з особистою мораллю найчутливіших.

Самоочевидним є, що сьогодні ці «вчорашні» запитання щодо можливого діалогу вже не видаються за нормальні, а швидше — за аморальні. Саме це і робить доцільним дальший виклад проблеми.

Ще пару слів щодо так званого персонального контексту. Я — православний, автокефальний. Мій батько як переконаний автокефаліст водив мене щонеділі до величного Собору, що на святій Данилової горі в Холмі, аби не пропустити жодної проповіді Івана Огієнка, у кожній з яких рефреном звучала патріотична теза: «Служити народові — то служити Богові!» Певна річ, мався на увазі «наш» православний український народ. Тому і до всяких не притаманних йому, навіть і християнських, атрибутів мало бути відповідне ставлення. Воно й не дивно, що попри всі дуже гарні з неукраїнцями взаємини, ставився до складної міжетнічної та міжрелігійної ситуації, м'яко кажучи, дуже стримано, обмежуючись випуклими для дитини словами: «це не наше, та й годі». Наче одрізав будь-яку розмову, породжену сумнівним «чому?». Отак одрізаним од нас опинився і один з моїх дядьків по матері, що вирішив перейти в католицизм. А дуже категоричне «це не наше!» — викликало те, що він вже сам «одрізався» від українства і став справжнім поляком. Чомусь тепер я часто задумуюся, чи й сьогодні батько сприймав би цей «не годний для православного» перехід у католицизм мого з насильства православного дядька (батько якого таки був греко-католиком) як катастрофу чи ганьбу для всього українського народу? Хіба дядько скоїв своїм переходом у католицизм (а якщо б у юдаїзм?) гріх щодо своєї віри в «єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого», Бога Авраама, Бога Мойсея, Бога Магомета, до речі і Бога Ноя, Бога Адама та Єви... Певен, що сьогодні він, як і більшість нас, на багато проблем дивився б інакше, сприймав би інакше і, можливо, менш категорично навіть свою відданість виключно автокефальному православ'ю.

Бо ось вже доходить кінця трагічне для християнської Європи сторіччя, що характеризується неймовірним збуренням усіх, здавалося непорушних, істин християнства. І причину Катастрофи Європа таки спромоглася побачити самокритично у своєму християнстві, осмисливши належно ті постулати, які лягли в його підвалини ще в період боротьби проти юдаїзму в рамках того юдаїзму, як двох течій в руслі живої Авраамової традиції. Західна Європа справді інтелектуально та духовно пережила та переосмислила багато своїх непорушних християнських істин, осмислюю-

чи причини свого занурення у вир правого утопізму з його мільйонними жертвами на підставі релігійної, національної та расової належності, нарешті вже не ігноруючи більше глибокої розбіжності, що здавна існувала, ще від часів одержавлення християнства Константином, між вірою та життям, що проявлялося у численних фактах релігійної нетерпимості від спокуси «християнською владою».

Сьогоднішня Європа по стількох десятиліттях скрушних переживань покути вже не покликається апіорі на своє світле християнське минуле, а прагне, тверезо все проаналізувавши ще раз, наново вирішити своє майбутнє у світлі нової зустрічі з особою Христа та Його Покликання, розуміючи, як багато залежить від правдивого з'ясування Євангелії, проголошеної та втіленої в життя. Проте Нова Євангелізація не є програмою реставрації Європи минулого, а лише допомогою у віднайденні власних християнських коренів і вироблення глибшої гуманнішої культури, більш християнської, а отже, і більш людяної. Це оновлення Європи мусить розпочатися з ДІАЛОГУ з Євангелією. Проте сьогодні Євангелія тільки частина більшої цілості Моральнісного Закону — Біблії, що автоматично залучає до цього процесу-діалогу ОНОВЛЕННЯ ЄВРОПИ євреїв з їхньою багатющою спадщиною юдаїзму. Специфіка нової євангелізації ще в тому, що відбувається вона в атмосфері усвідомлення необхідності діалогу та співпраці не тільки з усіма християнами та євреями, а й з усіма тими, хто вірує в єдиного Бога. Бо є усвідомлення, що дієздатність Церков сьогодні залежить від ефективності нової євангелізації, а не заклинань на манер наших про Священну Русь чи про Київську Церкву. Ой, як багато важить цей досвід тих, що вже мають вагомі здобутки у цій сфері, для нас, сьогоднішніх.

Хоч Україна увесь час панування в Райху правої утопії перебувала таки у лівацькій, але не уникнула й спокус націоналістичної. Ще й сьогодні можна почути про якісь «плюси» правого збочення перед лівим. У зв'язку з цим хочу підкреслити, що мені дуже подобається думка Елі Візеля, лауреата Нобелівської премії миру, яку навів незрівнянний для мене авторитет Аверинцев: «Тоталітарист, який не вірить у Бога, прагне уярмити тільки людину, але тоталітарист, який вірить у Бога, посягання має жакливіше: він хоче уярмити Бога, він хоче, щоб Бог виконував його волю та щоб Бог був предметом його маніпуляції». Я це інтуїтивно відчував, коли висловлював не раз застереження проти різних наших патріотичних спекуляцій довкола Бога та України, вважаючи їх дуже небезпечними у створенні «пристойного» магніту занурення нашого у нову, вже чисто націоналістичну утопію, з якої Німеччину не так давно виводили зусиллями всього світу. І ці суперечки про «плюси» того чи іншого утопізму вважаю аморальними, навіть якщо не пам'ятати, що наші ліві утопісти «воєнного та повоєнного періоду» були зовсім непоганими учнями у правих, коли, ігноруючи самоідентифікацію людей, репресували цілі народи за етнічно-расовою ознакою, встановленою згори.

Що ж до Голокосту, то 20–25% його жертв припадає таки на Україну, а якщо ж враховувати й похідну польсько-українську різанину, то наш «внесок» до правої утопії виявиться дуже великим. Додавши сюди ще й мільйони і мільйони жертв лівого утопізму, мали б вжахнутися, виявивши, що це сторіччя України було найкривавішим на всю християнську Європу. Але чи якимось це осмислюємо? Вже у 1991 році закінчився нарешті й для нас стан другої світової війни, а в нас, окрім лукавого сльозливого оплакування себе як жертви нелюдських сусідів, нічого нема. Але ж без глибокої самокритики своїх моральнісно-релігійних підвалин ми залишимося приреченими на нові й нові занурення то в одну, то в іншу утопію, остаточно залишившись на узбіччі людського розвитку.

Ця тема для України дуже болюча і величезна за масштабами, а в її осмисленні зроблено лише перші кроки, аби її тут стисло подавати, проте вважаю за потрібне поділитися таки кількома своїми рефлексіями. Щоб не плавати в повітрі абстракції, причало до своєї малої батьківщини — сім'ї та регіону, де сім'я творилася, — до Холмщини, звідти і починаються мої рефлексії на тему про спадщину Авраамову в мені як християнинові та українцеві.

Я не можу точно сказати, як ставилися євреї як група до християн: «історичний» список претензій величезний, але, як всі «історичні», мало обгрунтований з морального боку, а моя власна пам'ять та конкретна (не міфологізована!) пам'ять моїх батьків не зафіксували жодного негативного спогаду. А стосовно мого особистісного, то навіть навпаки. Бо не християни — українці чи поляки, які жили поруч із будиночком-сторожкою, що був при в'їзді на велику територію імпульсивної української гімназії, прихистили нашу сім'ю, християнську, коли її німці викинули на вулицю, бо облюбували цей будинок собі. І не християнська жінка доглядала тоді нас, чотирьох малюків, коли наша мати опинилася на довгий час через тиф у лікарні. І не християнська жінка вчила мене терпляче і з любов'ю доглядати за своїми меншими братами та сестрами А проста юдейка і багатодітна єврейська сім'я. І не просто допомагала з абстрактного людського обов'язку, а із справжньою за найвищими критеріями християнською любов'ю, — нехай пробачать мені юдеї це означення високої моральності як християнської щодо них, моральнісна система яких аніскільки не нижча за християнську, а навіть навпаки — як я переконався.

І як же ми віддячилися тій сім'ї, коли вона незабаром опинилася в гетто? А ніяк! Бо чи могла тоді щось дати наша запізніла біганина в гетто? Єдине, на що спромоглися ми, — на добру пам'ять. І щем під серцем винуватий. Аж до кону! І ще відчуття сорому. Я й досі пам'ятаю пір'я над Холмом, що летіло з «очищуваного християнами» гетто, коли мої єдино-вірці, ці православні християни у дивовижній дружній єдності з християнами-католиками, загібаючи собі кращі єврейські пожитки з порожніх приміщень, де ще не встигла охолонути присутність приречених християнами хазяїв, з люті розпорюючи гірші єврейські подушки і перини у пошуках міфічних єврейських коштовностей...

Я не кажу, що це робила християнська більшість Холма. Ні, явна меншість. Але більшість мовчки спостерігала це мародерство меншості без видимого осуду. Точнісінько так само, як і християнські постріли в абсолютно ще нічого християнам не винних беззахисних єврейських дітей, десь у підсвідомості сприймаючи їх як баласт у християнському суспільстві. І якщо за це не пече християнську більшість сором, то не запече ніколи і за «комсомольські витівки» наших таки дітей, християнських дітей, що з глумом витягали з печей останній горщик з їжею у своїх родичів, прирікаючи їх на голодну смерть у укалах. Прирікали в ім'я великої, як їм здавалося теж, ідеї очищення суспільства від зайвого баласту. Не запече, не дивлячись взагалі на всі патріотичні потуги. І ніщо взагалі вже не запече...

Отже, ми приречені. Бо так нічого й не засвоїли із фундаментальної моральнісної угоди Авраама з нашим єдиним моральнісним Богом: людина може залишатися людиною і розвиватися як людина лише в моральнісних координатах. А усяка вибіркова мораль руйнує совість, руйнує людину в людині.

Тодішня наша групова свідомість сприймала таки євреїв як групу, винувату за смерть Ісуса. Навіть не усвідомлюючи, в які жахливі психологічні лещата ми затискаємо цим євреїв: або охрестися, або згинь... Звичайно, усіх реальних, що поруч із тобою, неможливо було звинуватити, тому це звинувачення сиділо десь у підсвідомості, час од часу зринаючи звідти нашою неадекватною реакцією. Під впливом старших таки була присутня в наших головах здогадка думка, що, мабуть, тому і Бог одвернувся від євреїв і віддав їх німцям на поталу винищення у Холмі. Але в мене одразу постає перед очима одна трагічна холмська сцена: бачимо, як під командою німецького офіцера власовці з автоматами напоготові (навіть якщо хтось із них і не був фомально хрещений, то безумовно, що усі мали батьків — православних християн) женуть на залізничну станцію колону зморених, хворих, голодних єврейських жінок з дітьми та німечними стариками. Люди кидають їм з вікон хліб — цілими хлібинами і шматками, — колона (майже на всю широчінь вулиці) їх жадібно ловить. І ми кидали. І раптом лунає команда (слів не пам'ятаю) і вмиє від пострілів в упор гине кілька скраю колони, — трупи піднімають на свої плечі ще живі, автоматні черги над нашими головами та по вікнах наших батьків, що визирали звідти на цю страхітливую сцену. З жаху та крику, що лунав довкола, допомога тим гнаним і голодним після цього припинилася. Проте, якщо чесно, ми просто зреклися їх, нещасних!

Ця сцена і не дає мені сприйняти «мудрість старших», що буцімто Бог відвернувся від євреїв. Бо відвернувся не Бог, а ми — християни. Я це бачив. І Бог із соромом спостерігав за нами, спостерігав, як християни відрікаються від братів своїх, хоч у підвалинах своєї віри й мають заповідь: «люблю ближнього свого, як самого себе». Ми відвернулися, бо серед нас, начебто і християн, було таки мало таких, з кого Бог міг би обрати своїх

знаряддям врятування тих, хто таки, не дивлячись на ці жахіття, що творилися над ним, не зрікся Його. Його Єдиного. Таки залишився євреєм, юдеєм. З цього ми маємо зробити фундаментальний висновок. Бо ми ще й сьогодні не ті, кого Бог справді може обрати своїм знаряддям морального удосконалення не те що світу, але й цього нашого багатостраждального регіону, за допомогою нашого таки православного християнства, хоч і хочемо вважати себе новим обранцем Бога, новим Ізраїлем. Бо досі перебуваємо у середньовічному переконанні, що поява нового автоматично повинна уневажнювати старе, вперто ігноруючи звичайні щоденні життєві спостереження, що нове (молоде) і старе у житті співіснують і мусять співіснувати, допомагаючи собі взаємно. Зрікшись євреїв, ми по суті зреклися того Єдиного Морального Бога і у зовні християнських шатах впевнено рушили в «оправославлене зло», у язичництво, з яким ніяк не можемо остаточно розлучитися, ще й обґрунтовуємо цей рух у минуле теоретично християнською приказкою: кожна віра, мовляв, від Бога. Не розуміємо, що язичницькі боги знову нас неминуче втягнуть у знищення, руйнування. Творити може тільки Єдиний Моральнісний Бог, тоді і людина як співтворець Його. Чи не тому, що не з моральних критеріїв було в нас оте «наше чи не наше», «автокефальне чи неавтокефальне» та дуже споріднене з ним «служити народові — то служити Богові», так швидко і піднеслося психологічно аж до небес і зробило для нас зайвим існування Єдиного Морального Бога. І вироблене на євреях людське християнське зречення від інших людей (для справжніх християн жодного значення не має, що то були не християни), не скінчилося на євреях, а дуже швидко перекинулося на самих християн, вилившись у дику польсько-українську різанину.

Сьогодні відповідь з мого дитинства про те, «що таке наше?», зовсім не підходить, це — самоочевидно. Вона не надається навіть для окремого міста чи села. Не надається іноді навіть для окремої сім'ї. Тому і не залишається (як би ми цьому не впиралися патріотично) нічого іншого, як прийняти цивілізоване: визнати і поважати як НАШЕ право кожного з нас ВІДРІЗНЯТИСЯ. І захищати це право. Із почуття солідарності у вірі в Єдиного Морального Бога. Із почуття просто людської солідарності. Бо в кожному з нас таки має бути присутня ота безсумнівна людська реальність — моральний закон совісті.

Сьогодні у світі наче природно сподіватися на діалог міжрелігійний у рамках Авраамової традиції. Але як розпочинати міжрелігійний діалог, коли між нас самих панує лукавство. Навіть у греко-католицькій темі лукавимо, боячись визнати, що вся Правобережна Україна ще якихось 150 років тому була переважно греко-католицькою, а це як мінімум 250 років — тобто переважну частину 400-річної історії існування греко-католицької Церкви в Україні. Я вже не торкаюся того, що доведеться у цьому випадку торкатися і релігійної війни за Хмельницького і релігійної різанини католиків та юдеїв часів Гайдамаччини. Ми дуже боїмося зруй-

нувати захисний, як нам здається, міф про виключну споконвічність православ'я в Україні, про природну православність України. Як діти ігноруючи той факт, що греко-католицизм має зовсім не галицьке коріння, що це швидше глибинна хвороба (чи краще — вагітність?) православ'я взагалі, а не лише православ'я в Україні, і щоб воно таки справді реально одужало, а не скочувалося до православного язичництва, треба принаймні не лукавити. Бо лукавство в одному неминуче тягне за собою лукавство в іншому. То й не можемо ніяк досі сформулювати своєї позиції щодо Римо-католицької Церкви (чого тільки варта наша — з боку всіх взаємно ворогуючих православних ієрархів, звичайно, — негативна реакція на можливий візит в Україну Папи Римського на тлі запрошення папи Садамом Хусейном!), ні щодо греко-католицької Церкви, не можемо відсіяти грішне від праведного в реалізації ідеї Київського патріархату, не можемо налагодити і нормальних всеукраїнських взаємин ні з Московським, ні з Константинопольським патріархатом. Але не будьмо розумом дітьми, лукавством взаємин у рамках Моральнісного Бога не побудуємо не те що нормальних міжрелігійних та міжконфесійних взаємин, але й навіть нормальних сімей не побудуємо. Скільки б не втішали себе, що нашого лукавства ніби ніхто не бачить.

Дуже гостро стоїть проблема життєвої необхідності якогось бодай елементарного осмислення кожним у собі самому суті християнства як такого, а вже потім православ'я. Не бачу потреби свого персонального переходу у віру дідів і прадідів — греко-католицизм, але хотів би, щоб ми усвідомили таки, яким благом для сьогоднішньої справді в основному православної України є наявність в ній доволі динамічної греко-католицької Церкви (і боронь Боже замикає її в регіональних рамках!), а також наявність дуже динамічної та справді сучасної римо-католицької Церкви, що вже більше не пов'язана з етнічною Польщею, як і наявність динамічних сучасних протестантських Церков, їхня активна присутність і допоможе нам, православним, швидше вибратися із трясовини середньовічного православ'я і ми нарешті всі почнемо надавати перевагу не зовнішнім проявам, не турботам про зовнішнє конфесійне оформлення своєї віри кожною людиною, а осягненню внутрішньому своєї душі, своєї совісті, що теологи називають внутрішнім проявом Бога у кожному з нас. І ми всі маємо бути зацікавлені в тому, щоб це внутрішнє було справді якомога більше християнським, а не просто зовні зорієнтованим на той чи інший центр християнства. Але поки що виходить, що позбутися пережитків язичництва християнам виявилось дуже непросто, особливо у тих випадках, коли свідомо стимулювали потребу того язичництва. І треба це визнати, інакше з місця не рушимо. То чи можливим за цих обставин є (так життєво необхідний — без сумніву!) міжрелігійний юдейсько-християнський діалог?

Вважаю, що сьогодні може йтися ще не про діалог, а про потребу розпочати своєрідне переддіалогове особистісне з'ясування ситуації у цій

сфері. З'ясування приватними особами, що — нехай і різною мірою — але таки усвідомлюють своє духовно-інтелектуальне існування в рамках монотеїзму. З'ясування відкрите, але без тіснішого залучення теологів конкретних сьогоднішніх релігій цієї традиції. Саме не чисто теологічне, а громадянське з'ясування однієї з фундаментальних проблем українського сьогодення. Саме таке з'ясування я вважаю сьогодні і легшим до здійснення і продуктивнішим. Нарешті, це і попередня умова вже чисто теологічної розмови, яка наступить, як бачиться, не скоро. Релігієзнавці вказують ще на такий сучасний феномен, як анемічний стан Церкви у пострадянський період. Це теж є аргументом на користь саме переддіалогу.

Це секулярний за своєю суттю діалог людей, що мають різне заангажування в життя тієї чи іншої конфесії, мають різний рівень та потребу сумніватися в якихось догматах своєї конфесії, але з чітким усвідомленням своєї невиключності як елементу мозаїчності реального світу, що розвивається, бо приречений розвиватися (якщо розвиватися!) у виключно моральнісних координатах. Зі своїми спробами та помилками, але з обов'язковим усвідомленням можливості саме моральнісних координат та зі щирою вдячністю усім, хто прислужився до відкриття та утвердження тих моральнісних координат, хто допомагає залучати до цього всесвітнього процесу моральнісного поступу нових і нових людей. Кожна людина, сім'я чи більша спільнота мають свій духовний досвід з агностицизмом чи тіснішим прив'язанням до якоїсь конфесійної регламентації того духовного досвіду. І не біймося того розмаїття. Не буває моральності по чиемусь шаблону. Розмаїття — величезне суспільне і вселюдське багатство, якщо справді його шануватимемо та лелітимемо. Отим розмаїттям ми найбільше наближаємося до Ізраїлю небесного, до задуму нашого Єдиного Моральнісного Бога. Поглянувши на примітивні племінні вірування як на окремі шаблі Божого Одкровення, побачимо, яким неймовірним стрибком у розвитку людства була поява юдаїзму через діяльне моральнісне Одкровення Бога Авраамові.

Формально проблема діалогу в рамках Авраамової традиції виглядає як результат тих розколів, які мали місце, з метою пом'якшення чи обмеження їх у майбутньому. Але якщо ми справді будемо сприймати розколи в рамках тієї традиції як природний феномен моралі та процес тому неunikний, то і до проблеми всякого Діалогу в рамках тієї традиції теж повинні ставитися природньо, без комплексів та упереджень. Він має сприйматися як природний механізм спілкування як між людиною і Богом (адже з Авраамом Бог спілкувався не диктатом, а діалогом!), так і між людьми. Та й, як християни, пам'ятаймо, що в діалозі обов'язково присутній Святий Дух («Там, де двоє вас, там і я!» — казав Христос).

Сьогоднішнє поступове повернення до джерел, до Біблії допомагає багатьом християнам самотійно, без добрих пастирів усвідомити непроминальну велич єврейського народу, довідатися про ту роль, яку він грав,

і відчути, що й продовжує грати, в історії Спасіння. І це повернення до Біблії, безумовно, сприяє кращому розумінню християнами юдаїзму та монотеїзму взагалі. І це джерело має бути якнайчистішим.

Якось натрапив на переклад з юдейської Біблії (без грецького моделювання) однієї фрази (Буття, 18.19) і був вражений. Там йшлося про «Путі Господні творити праведні діла і справедливість». І чомусь одразу згадалося Шевченкове: «І не встануть з праведними Злії з домовини, Діла добрих обновляться, Діла злих загинуть» та ціла низка дуже актуальних в Україні слів із того ж гнізда, що й «праведник». Ватиканський переклад Хоменка подає цю частину фрази із заповіді Бога так: «берегти путі Господні, творивши правду й суд». Переклад Огієнка мало відрізнявся від Ватиканського: «дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право». Кожен помітить фундаментальну різницю, що вигідно вирізняє єврейський варіант (навіть не беручи до уваги, що саме Єврейський і є тим первісним джерелом). Я розумію, що «правда» з грецької пов'язана з праведністю юдейської. Але філологічні вправи рядовому читачеві нічого не дадуть, бо над ним тяжіє психологічно комплекс газети «Правда». І він зник, що з грецької манери філософствування випливало, що все віддається в руки начальства, на його суд, а юдейська формула сприймається як спонукальний заклик до людини, до всіх людей за подобою Божою творити праведні діла і справедливість. Тут людина стає співтворцем з Богом за необхідної умови — підкорення Законові Моральності, що обіймає дві сфери: Справедливість та Праведність. Справедливість щодо реального життя вже тоді означала визнання (судячи з Біблії) права на життя, на власність, на працю, на одяг, на житло і на особистість. Очевидним є, що справедливість охоплює (як би її не розширювати коштом нових прав) лише негативні аспекти моральності, намагаючись лише огородити права людини. Це лише своєрідна екологія, а не творче начало людини. Творче начало вступає у повну фазу активності як у людини, так і в Божественному, тільки спонукане праведністю. ПРАВЕДНІСТЬ — це активне дотримання в дії заповідей та моральних приписів, безгрішність, з наголосом на діяльному прагненні добра і прийнятті на себе відповідних зобов'язань щодо цього. Ох, як важливо закорінити в Україні, увласнити саме активний аспект моральності, що так чітко проступає у слові ПРАВЕДНИК. Тоді, можливо, через вживання слова «Праведність» як синоніма до слова «моральність» ми могли б швидше позбутися різних класових, етнічних чи навіть і конфесійних нашарувань на понятті «моральність»? А скільки ж то ще може виявитися золотих зерен дієвої моральності (праведності) при читанні юдейської Біблії без «матового грецького скла»?!

Саме в цьому і полягає, мабуть, цінність юдейсько-християнського діалогу. Піднімаючи зараз проблему юдейсько-християнського діалогу, я не піддаюся особливим ілюзіям у цьому плані, адже справді такого діалогу ніколи ще не було. Але жодного справжнього діалогу і бути не може

в принципі, доки юдаїзм в усіх своїх проявах не дістане офіційного визнання та поважання з боку православних Церков. Конче маємо подолати комплекс, що істинним Ізраїлем є християнство, зокрема, і особливо православне християнство. Світове православ'я якісь обережні кроки в цьому напрямі таки робить, то й наше колись буде змушене зробити, якщо не захоче виродитися у звичайну секту.

Дуже добре, що українське громадянство спромоглося на постійний загальний культурно-політичний діалог з євреями та Ізраїлем. Це, правда, не релігійна сфера, але мене втішає досвід близького міжособистісного спілкування, що був нам, християнам, подарований у політичних зонах колишнього Союзу: таки можна порозумітися і віруючим євреям і віруючим християнам, а не тільки секуляризованим представникам. Згадую одне гостре нічне протистояння у 35 зоні, коли застрайкували молоді політв'язні — українці, росіяни, євреї, вірмени. Ситуація була дуже гостра, була погроза введення в зону солдат для усмирення, а не виконання законних вимог в'язнів. І тут троє віруючих стають навколішки до гарячої всенічної молитви — українець, росіянин та білорус. Моляться за всіх: і українців, і росіян, і вірмен, і євреїв. Особливо вражені цим євреї. Це створює неймовірне моральнісне напруження братства. Поступово під ранок гострота протистояння з начальницького боку слабшає. Усі переживають неймовірне почуття чогось надзвичайного, що сталося між нами. А поштовх тому дав греко-католик світлої пам'яті Степан Мамчур, 25-літник, що там і помер у зоні, і якого завжди згадає Семен Глузман.

Коли два роки тому на одному семінарі, присвяченому міжетнічним взаєминам в Україні, я висловився за необхідність врахування трьох течій монотеїзму — християнства, юдаїзму та ісламу, оскільки від цього залежить формування належного фундаменту у міжетнічні взаємини у новому незалежному українському соціумі як цивілізованому, то це було сприйнято нормально, без тіні конфронтаційності чи настороженості до цієї ідеї, а навіть — навпаки. Звичайно, це можна пояснити специфікою публіки — в основному правозахисної та представників етнічних меншин. Але мені здається, що в українському суспільстві, не дивлячись на релігійну колотнечу, вже існує усвідомлення потреби такого діалогу саме як акції не суто міжконфесійної з представництвом ієрархів чи високих достойників усіх конфесій чи головних релігій, а рядових представників різних віровизнань в Україні як людей світських, особисто не заангажованих у міжконфесійну традиційну чи нову ворожнечу. І мені б хотілося, щоб наш майбутній, можливий, сподіваюся, переддіалог юдейсько-християнський намагався не торкатися тих розходжень, що існують між нашими релігіями. Головне — закріпити психологічну готовність adeptів різних конфесій, що дуже тривалий час були у більшій чи меншій гордості своєї самотізації, без будь-яких попередніх умов і без надій чи планів досягнення якихось конкретних результатів, зійтися і подивитися отак просто у вічі, подивитися очима людей, що вірять справді в одного Бога. Єдина мета

такого переддіалогу — спробувати бути цивілізованими людьми, один одному нічого не накидаючи. Пам'ятаючи бодай слова великого таки Фрідріха Гаєка: «Усвідомлення того, що люди можуть на загальне благо жити в мирі і злагоді один із одним і що для цього не обов'язково досягати єдності думок із приводу якихось конкретних спільних цілей, а досить лише дотримуватися абстрактних правил поведінки — стало, напевно, найграндіознішим відкриттям із усіх, які коли-небудь здійснювалися людством». Єдина мета такого переддіалогу (посилаючись на Аверинцева) — спробувати домовитися про коректність у передачі понять у різних традиціях релігійних. Не треба також, щоб у цьому переддіалозі брали участь люди, які, може, й називають себе віруючими, але насправді ще не знають, що таке справжня віра і справжня релігія. «Треба, мінімум, щоб знали», — каже Аверинцев. З відчуттям своєї відповідальності релігійної і громадянської, не зволікаючи з розробкою конкретних малих кроків на подолання у більшому та більшому числі нас середньовічних стереотипів один про одного.

Сьогодні ідея Бога не заперечується, навіть, навпаки, слово Бог зустрічається у мові й високих осіб, але від цього сама ідея Бога по-справжньому таки не приймається, як не приймається всерйоз НІЩО, зазначає з цього приводу Аверинцев. Релігія сприймається як зовнішнє, як ОДЯГ. А хіба обов'язково, щоб усі стали віруючими, нехай буде й меншість поки що, але нехай це буде серйозна віра. Нам справді дуже важко збагнути елементарну істину, що жодна віра не є мотивом до взаємної ненависті. Про це і мають говорити у першу чергу високі достойники, а не вишукувати приводи для політизації релігійної та міжрелігійної ситуації. Невже наші ієрархи не розуміють справді, що пропонуючи одноконфесійне об'єднання, пропонують неможливе, що ця зовсім ялова точка зору є водночас і провокуванням насильства в ім'я релігії?

Можливо, через розширення діалогу за рахунок юдеїв швидше усвідомимо конечність єднання і всехристиянського і всеправославного: адже йдеться не про якесь підпорядкування когось комусь, а про спільне очищення спільних джерел за допомогою діалогу, джерел, що закодовані в кінцевому рахунку у справді доленосній Угоді Авраама про монотеїзм. А враховуючи Різні Об'явлення, самоочевидною стає закладена можливість реалізації тієї Угоди для всього людства тільки через множинність, мно-заїчність, бо тільки така єдність в іншостях і іншостей в єдності і можлива з ЛЮБОВІ.

Але для справжнього юдейсько-християнського діалогу потрібне таки нове покоління священиків, монахів та світських проповідників, які були б не тільки міцно закорінені у власній вірі, але й мали сучасну широку теологічну освіту, щоб бути спроможними проводити всебічний міжконфесійний та міжрелігійний діалог. Отут і може виконати свою роль переддіалог, перекладаючи та популяризуючи актуальні західні видання.

І хоч православне християнство поки що залишається через своє минуле у двозначній ситуації, але й воно зазнаватиме змін, бо відгороджування від світу неминуче закінчиться його виродженням, а нинішні його вірники стануть адептами інших, динамічніших версій християнства, або ж поповнюватимуть ряди нового язичництва.

Ще понад три десятиріччя тому і Всесвітня Рада Церков, і II Ватиканський Собор закликали глибше переосмислити християнське вчення про євреїв, але православні з цього приводу досі мовчать. Невже одностайно приєднуються до потреби такого переосмислення? Проте такі наміри можуть втратити всякий сенс, якщо не намагатися глибше зрозуміти юдаїзм в усій його цілісній релігійній, духовній та матеріальній реальності, бо від того, наскільки християни знатимуть та визнаватимуть реальний юдаїзм, залежить, — за виразом М.Бубера, — міра «дезінтоксикації» християнської свідомості.

Відомий теолог Франц Розенцвейг так сформулював чесний вихід з теологічного глухого кута: «Євреї та християни спільно покликані Богом вирішувати єдине завдання... Бог не може обійтися ні без тих, ні без інших. Він на віки поклав ворожнечу між ними і тим не менше намічно зв'язав їх нерозривними узами».

Такий підхід передбачає визнання абсолютної самоцінності єврейського релігійного досвіду та шляху, відсутність у християн як моральних, так і богословських прав нав'язувати євреям свою точку зору на Божий промисел. Сотериологія щодо віруючих євреїв втрачає свій абсолютний христоцентричний характер, поступаючись концепціям «багатьох Заповітів», видозмінюється месіанська концепція християнства тощо. Але на рівні індивідуальної релігійної свідомості такий підхід допускає можливість переходу єврея у християнство, хоч у жодному разі не повинен вимагати або навіть проповідувати євреям необхідність переходу. До речі, за такою ж схемою традиційний юдаїзм розглядає можливість переходу в єврейство неєврея. При виконанні цієї умови євреї та християни стануть рівноправними учасниками релігійного діалогу в рамках Авраамової угоди, який тільки в цьому випадку і може бути ефективним та корисним для обох сторін. Прикро, що все це стосується ще тільки Заходу. Якщо католики та протестанти немало попрацювали після війни над переглядом традиційних історичних та богословських поглядів на єврейство та юдаїзм, то православ'я досі практично нічого не зробило у цьому напрямі. А «залишковий» чи реліктовий антиюдейський фон у нашому православ'ї куди сильніший, ніж у католицизмі, хоч високі православні достойники і протиставляють своє православ'я католицизмові, буцімто воно не було причетне до антисемітських акцій на противагу Заходові. Це не коректні протиставляння, бо зовсім ігнорують різний характер взаємин між Церквою і Державою на Заході і Сході. Але без радикального переосмислення християнського релігійного спадку у світлі гіркого досвіду двотисячолітньої історії, а особливо Катастрофи XX століття, також і

Східним християнством, — а не вдавати, що це тебе не стосується, — розраховувати на ведення плідного єврейсько-християнського діалогу даремно, — з огляду на те, що перший крок до такого діалогу має зробити таки християнська Церква.

Не секрет, що успішному веденню діалогу заважає і довго заважатиме жадливе історичне та релігійне, часто просто войовниче невігластво дуже значної кількості православних. У віруючих та багатьох кліриків відсутнє елементарне знання християнської священної історії, не кажучи вже про знання євреїв та юдаїзму. Отже, загальний ґрунт для релігійного діалогу з євреями ще треба тільки створювати, і саме таку функцію на себе і повинна взяти згадувана додіалогова зустріч чи ціла серія зустрічей.

Ще раз започиту російський матеріал на цю тему. Поки що Православ'я світове спомоглося тільки на три конференції з євреями, перша у 1973 році, третя у 1993 році. РПЦ брала участь двома особами тільки в останній. Чи були представники від автокефалістів та Київського патріархату — не знаю. Зате знаю, як тиражуються побрехеньки, що буцімто Біблію євреї вкрали в українців Шумерської України, коли кочували там з Авраамом...

За таке блюзнірство і невігластво пече сором. Але як нам подолати невігластво в умовах нашої загальної кризи духовності? Може, таки як перший крок спроможемося, сепаратно бодай, на перегляд основ православного віровчення про євреїв та юдаїзм? Я певен, що рухатися нам у цьому започаткованому Заходом напрямку конче треба і в умовах сьогоденної кризи духу, адже це зможе допомогти нам її подолати. Але словесні декларації залишаться на папері, якщо не отримають віддзеркалення у конкретних діях та взаєминах християн. Кожна добра ініціатива має своє значення. Те, що залишається, надає сенс усякому добру і красі, що втілюється в історії цієї землі. Нехай сьогодні ми ще не зможемо досягнути помітних результатів своїх зусиль, але прагнення тієї єдності, справжньої та цілковитої — є обов'язком для всіх. І нашим зусиллям нехай світить Віра, Надія, Любов.

Нам подобається, що Київ — новий Єрусалим? Гордимися, що одна з київських гір носить назву Хорев — точнісінько так само як і гора в Єрусалимі (друга назва гори Сінай)? То нехай! Єрусалим — не другий, третій, а новий. Але Новий — такий, що не скасовує і не принижує старого, справжнього. Ми цього дійсно прагнемо після епохи духовного запустіння. Як символ власного оновлення і пієтет до старого Єрусалиму. А поява нового як річ реальна духовного життя передбачає взаємини зі старим, передбачає діалог з усіма «єрусалимами» — Римом, Константинополем, Москвою. І, звичайно ж, — із справжнім Єрусалимом.

Проте, коли у нас заходить якась мова про взаємини з євреями в історичному плані, то легко піддаємося спокусі протиставляти себе німцям, полякам, росіянам... Навіть якщо і справді є підстави бачити відмінності, то підстав для протиставлення таки нема, бо це закривання

діалогу. Здавна маємо свій конфлікт юдейсько-християнської чи єврейсько-української тотожності. Хіба в Україні бути євреєм чи жидом не означало колись і не означає певною мірою ще й сьогодні по інерції бути носієм відвічного конфлікту юдейсько-християнського, а, отже, і єврейсько-українського? Не означало бути більшим чи меншим втіленням ненависті та недовіри одних супроти інших? Не означає, що вічний рахунок взаємних кривд та провин триває?

Мені здається, що цей конфлікт тотожності в Україні загасне тільки тоді, коли пересічний українець матиме таку ж приемність запросити євреїв з Єрусалиму чи з Америки до Канева на Чернечу Гору, як запрошуючи українців на святі місця хасидів Уманщини. Тоді пересічний українець скаже «якщо щось скоєно проти єврея, то значить скоєно і проти мене як українця, як людини». І не біймося подвійної чи потрійної самоідентичності, бо це реальне життя. Біди тут жодної немає. Звичайно, якщо це такі САМОідентичність. Тоді вона збагачує нас взаємно, збагачує нашу культуру, робить світлішими наші обрії майбутності.

А те, що вже сьогодні, наприклад, єврея Романа Корогодського сприймають більше українцем, ніж багатьох етнічних українців (він і сам себе так сприймає також!), і, можливо, декого з них стануть такі сприймати більше євреями, аніж багатьох етнічних євреїв, — означає, що ми такі здолаємо цей давній конфлікт тотожності в Україні. Здолаємо спільними зусиллями. Щирим діалогом.

Тільки спільний ширий діалог, поважання людської гідності й толерування різних релігійних та культурних самоідентичностей вже в цьому поколінні може привести до порозуміння усі наступні покоління українських громадян різного етнічного, культурного та релігійного походження та належності. І жоден діалог конфлікту не поглиблює, а тільки уявляє задавлені, що перейшли аж у підсвідомість. Бо неуявлені з підсвідомості конфлікти руйнують із середини тканину духовну та психічну людини. Уявлення стає шансом до справжнього поєднання в монотеїзмі без замазування різниці та іншості кожного. Важливо усвідомити природність присутності євреїв та юдаїзму в Україні як частини всеукраїнської ідентичності. Підстави діалогу народжуються із серця, із солідарності, з приязні, і не слід ігнорувати також великою мірою емоційної першооснови діалогу: діалог відкриває тайники людського сумління. І розпочинати справді треба не з теології, а з вразливості, чутливості. Звідси виростають спільні розмірковування над задавленими та складними теологічними проблемами.

Православним легше, менше праці інтелектуальної, бо можуть скористатися вже готовою новою християнською теологією юдаїзму, яку розробляє успішно Ватикан. На чільне місце ставить Папа положення про тривання змагання Ізраїля з Богом: «Цей народ і далі носить у собі знаки Божого обрання», — сказавши про це якось у розмові з одним ізраїльським політиком, який охоче з ним погодився, тільки додав «коли б це

могло менше коштувати». І дальший висновок: «Справді, Ізраїль заплатив досить високу ціну за своє обрання. Може, тому став дуже схожим на Сина Людського, який тільки тілом був так само Сином Ізраїля, а двотисячолітня історія Його приходу на світ буде також святом і для євреїв». Після цього Папа продовжує згадувати: «Колись по закінченні однієї з моїх зустрічей із єврейськими громадами хтось із присутніх сказав мені: «Хочу подякувати Папі за все те, що католицька Церква протягом двох тисяч років зробила для пізнання справжнього Бога». На його думку, «із цих слів видно, як Новий Заповіт служить виконанню того, що знаходить своє коріння у покликанні Авраама, у Синайському заповіді, укладеному Ізраїлем, і в усій надзвичайно багатій спадщині натхнених Богом пророків, котрі за сотні років до сповнення у своїх Святих Книгах зробили присутнім Того, що Його Бог мав послати, як виповнилися часи». Проте за кільканадцятирічний період понтифікату Папа Іван Павло II випрацював та розвинув також і унікальну для християн «педагогію діалогу». А в православних штиль, хоч можуть вже вільно скористатися готовою роботою інших християн.

Звичайно, існує внутрішній зв'язок між знищенням єврейського народу та поворотом християнської теології в бік людини. Як у католицизмі, так і в протестантизмі. Вона ще не завершена, але вже є доброю основою для побудови загальнохристиянської антропології взаємн християнства з євреями та юдаїзмом у рамках Авраамової монотеїстичної традиції і зв'язок окремих відгалужень у ній стає вже справді абсолютно неможливо заперечити.

Після Голокосту справді відчувається, що юдаїзм став тісніше зв'язаний з християнством, бо справді найбільша заповідь для християнина любити Бога та ближнього, провіщена вже у Старому Заповіді, а освячена Ісусом, є обов'язковою однаково для християн та євреїв у всіх людських обставинах і то без жодного винятку. Отже, історія юдаїзму не закінчилася із зруйнуванням Храму та Єрусалиму, а тривала далі, розвиваючи релігійну традицію, що містила величезне багатство релігійних цінностей і яке християнство собою далеко не вичерпало, та й вичерпати не може, мабуть, бо це таки не зовсім збіжні системи, хоч і з одного кореня.

У розгортанні плідної переддіалогової та діалогової співпраці юдейсько-християнської особливу роль сьогодні можуть мати нові катехізиси, історичні книжки, прихильні публікації у засобах масової інформації. Євреї та юдаїзм не повинні більше займати випадкового та маргінального місця у катехізисах та проголошеннях Слова Божого, а мати постійну присутність там відповідно до тієї ролі, що їм була насправді призначена, з постійним підкреслюванням і біблійних коренів християнської моралі. А якщо знатимемо всі, як сильно літургія католицької Церкви закорінена в літургії біблійного юдаїзму, зокрема Євхаристія, а католицька наука про молитву та виховання до молитви також веде до біблійних коренів

молитви, то, може, змінимо своє, м'яко кажучи, упередження як до католиків, так і до юдеїв?

Не забуваймо, що на Заході свого часу багато авторів, що писали підручники катехізису, випереджали рівнем біблійної підготовки інші середовища Церкви задовго до історичного Другого Ватиканського Собору. Від них, аматорів, і нове переконання, що поза євреями немає іншого свідка присутності Бога в історії, а антисемітизм — антирелігія та найповніша форма справжнього атеїзму. А що сам собою комплекс несприйняття юдейського та єврейського Ізраїлю не щезне, маємо свідчення вже й повоєнного часу, хоча б у словах та діях британської адміністрації в Палестині, що дуже вже хотіла бачити святі місця не тільки без майбутнього, а такими, як були майже 2000 років тому, але й обов'язково грецькими чи вірменськими, нехай і мусульманськими, але не юдейськими, не єврейськими, не цивілізованими. Такими фактами рясніє книжка шотландця Малкольма Гея «Кров брата твого». І чи щезнуть самі собою спроби сучасних антисемітів через заперечення точності цифри 6 мільйонів поставити під сумнів як сам Голокост, так і потребу християнського самоосмислення (вони себе часто вже й не називають християнами, що логічно!). Але хіба рід у точній, як в аптеці, цифрі? Адже кожному очевидно, що й 1,5 мільйона вірмен, що загинули від різанини у Першу світову війну, чи й голодну смерть 7 чи 9 млн. українських селян теж можна поставити під сумнів через «неточність», бо хіба ці цифри теж точні з точністю до немовляти чи тільки-но зачатої так само абсолютно невинної дитини? Якимось ще тридцять років тому один з близьких мені людей сказав: «Ти думаєш, що Союз даремно викинув у корзину 50 мільйонів людських життів? Це — виправдана жертва, Росія увійшла в число великих держав...» Що ж можна сказати на це? Чи справді виправдана? І ким виправдана? Виправдана ще соціалістами-теоретиками минулого століття, чи соціал-практиками нашого? Щось огидне, антилюдське у тих цифрових суперечках, то невже ніхто цього не помічає? Чи ж можливим за таких обставин є той так потрібний діалог? Важко, але зробимо його можливим, зробимо спільними зусиллями усіх небайдужих. Принаймні до себе не байдужих... Звичайно, як найближчі переддіалоги, так і майбутній справжній міжрелігійний діалог будуть, безумовно, відбуватися на платформі раціонального світогляду, бо живемо-таки в епоху панування раціонального світогляду, маємо раціональне виховання та освіту, в умовах поширення та утвердження демократичних інститутів здійснення влади та формування сучасного громадянського суспільства, що виходить з постулату пріоритету прав людини та шанування людської гідності. І сучасний раціоналізм вже не такий, як учорашній: він визнає раціональну цінність такої «позараціональності», як мораль. Такий раціоналізм передбачає і свободу релігійно-філософського осмислення та належної відповіді про сенс життя. Саме наявність раціональної складової нашої свідомості і дає можливість по-сучасному осмислити виниклі проблеми внутрірелігійного

та міжрелігійного існування для раціонального ж і формулювання відповіді на виклик сучасного дуже вже зсекуляризованого світу. Ця раціональна компонента свідомості полегшує поєднання у розмаїтті, роблячи цілісний світогляд сучасної людини дуже відмінним від колишнього, бо сучасне розуміння релігійних проблем дозволяє пов'язати раціональним описом психіку людини та її місце у світі з історією людського роду.

Закінчити хочу словами Аверинцева, сказаними на релігійному діалозі у Москві рівно чотири роки тому (це й стало для мене спонукуючим виступити на цю тему і в Україні): «Треба пам'ятати про те, що ми сперечаємося в ім'я Бога. Але Бог же нас і поєднав. Бог же нас і зв'язав так, що ми ніколи, навіть якби захотіли, не зможемо поставитися один до одного так, як ставимоса до решти всього людства, яке ми при цьому зобов'язані любити та оберігати від злочинів, від нещасних випадків». Українським християнам треба цю глибоку та плідну думку тільки увласнити і не смішити світ своєю винятковістю. Хіба для з'ясування тієї істини, що злочин в ім'я релігії неминуче стає злочином проти релігії, потрібна в Україні участь чи зібрання високих достойників різних ворогуючих конфесій за участю президента? Адже цю думку може зрозуміти кожна нормальна людина, і якщо більшість таких людей справді увласнить це, то саме той факт і заставить високих достойників зробити належні висновки практичні, бо не захочуть, щоб на них показували пальцем рядові віруючі. Бо в такій ситуації вони не зможуть заховатися за жодними догматичними аргументами чи надмірними дозами патріотичності.

І не дурімо ні себе, ні інших, що буцімто юдаїзм якимось заважає християнству. «Бо немає єврейського питання, є питання християнське, — говорила мучениця XX сторіччя Мати Марія. — Невже вам не зрозуміло, що боротьба йде проти християнства?»

І хіба зміна на протязі одного покоління у нашій свідомості статусу запитань, які ми подали на початку цієї розмови, з «нормальних для християнина початку цього сторіччя» на аморальні у сьогоднішньому їх сприйнятті нами, не свідчить найпереконливіше, що за цих обставин наша відмова чи уникання діалогу означатиме неминуче ганебне дезертирство від моральнісного життя, від людства?..

Микола Рябчук

ВОСЬМЕРО ЄВРЕЇВ У ПОШУКАХ ДІДУСЯ

Холодного осіннього дня мені довелося виступити у досить незвичній ролі перекладача при невеликій групі туристів, які виявилися ще незвичнішими, ніж та моя новонабута роль. Восьмеро громадян Ізраїлю, Франції та США вирушили того дня в бік Чернівців трьома спеціально винайнятими для цієї справи автоами. Я мав сумлінно опікуватися ними протягом тієї триденної подорожі, підмінюючи свою добру приятельку, працівницю приватної туристичної фірми, котра раптово занедужала. Подорож, однак, виявилася значно цікавішою, ніж я сподівався.

ЄВРЕЙСЬКА РОДИНА

Усі восьмеро моїх «інтуристів», що з доброго дива прибилися у цю Богом забуту країну випробувати себе її готелями, ресторанами, автошляхами і «традиційно» ввічливою обслугою, не були, як з'ясувалося, мазохістами, ані, тим більше, любителями екзотики, що втікають від надмірностей цивілізації до теренів, де тими надмірностями й не пахне, а пахне здебільшого чимось цілком іншим. У певному сенсі, мої «інтуристи» повернулись на батьківщину — до краю, що їхні предки покинули понад півстоліття тому, аби щасливо уникнути цілої низки «визволень», якої більшості з нас уникнути не пощастило. Усі вони виявилися членами однієї родини — п'ятеро онуків чернівецького підприємця Шмуеля Гласберга і троє їхніх дружин, розпорошені по світах, але об'єднані чимось більшим, ніж просто родинні зв'язки, — об'єднані міфом про землю, яка була для їхніх предків водночас обітованою й апокаліптичною. Родинні зв'язки могли зібрати їх де завгодно — в Парижі, Детройті, Єрусалимі — їхніх рідних містах, чи, зрештою, в Будапешті, звідки походила дружина одного з Гласбергових онуків, ізраїльтянина, і де вони, власне, й зібралися всі, перш ніж вирушити на Київ. Але далі на схід — до Житомира, до Бердичева, до Чернівців — їх міг повести лише історичний міф, співучасником якого я мимохіть став.

У 20–30-х роках Шмуель Гласберг мав невелику, але ефективну компанію, засновану його предками в XIX столітті, за часів Франца Йосипа, одного з найбільших авторитетів їхньої родинної міфології. Франц-Йосип, річ ясна, не був юдофілом ані українофілом (як це стверджує, скажімо, чимало польських істориків), він був імператором Австро-Угорщини, а отже й дбав передусім про імперію, що була у буквальному значенні його приватною власністю. Говорячи по-сучасному, він був прагматиком: у Галичині підтримував русинів проти поляків, на Букови-

ні — проти румунів, але знав при тому міру й шанував традиційний становий устрій, себто дбав, щоб русини й надалі були працьовитими селянами, а поляки й румуни — законопокірними землевласниками. Серед усіх цих підданих євреї були найнадійніші: вони не порушували, як русини, соціальної ієрархії, і не підривали імперію, як поляки й румуни, націоналістичним сепаратизмом та ірредентизмом. Євреї мали свою станову, релігійну й культурну автономію, мали свій бізнес, платили податки, збагачували казну й охоче германізувалися, поповнюючи лави імперської бюрократії. У Відні, де єврейська буржуазія складала поважну конкуренцію буржуазії власне австрійській, нутряна юдофобія еволюціонувала поступово в бік ідеологічно оформленого антисемітизму, тоді як на провінції, де австрійської буржуазії було обмаль, галицькі й буковинські євреї успішно заповнювали цю соціальну нішу за батьківської підтримки віденських властей.

У родинній міфології Гласбергів австро-угорська доба є свого роду золотим віком, а тогочасна Буковина — оазою спокою серед єврейських погромів у сусідній Росії і дедалі агресивнішого антисемітизму в Західній Європі, ознаменованого скандальною справою Дрейфуса у Франції. Після першої світової війни Австро-Угорщина розпадається, Буковина стає румунською й перші малопомітні ще хмарки нависають над головами чернівецьких Гласбергів. У 30-х роках ці хмарки густішають: нацисти перемагають у Німеччині, їхні симпатки помітно активізуються у Румунії, хрестовий похід проти світової «жидо-комуні» стає дедалі неблаганнішою реальністю. Шмуель Гласберг завбачливо посилає одну з трьох дочок на навчання до Франції, віддає другу заміж до Америки, а з третьою і з дружиною виїжджає врешті до Палестини, яка була в той час під британським протекторатом. Інтуїція виявилася загалом правильною, а проте життя на провінції, де суто людські зв'язки були традиційно важливими і де серед його друзів не бракувало високопоставлених румунських чиновників і навіть військових, істотно ослабило пильність пана Гласберга. 1938 року він повертається до Румунії, щоб остаточно закрити там усі свої бізнесові справи, і по дорозі до Чернівців, завітавши у Бухаресті до синагоги, стає жертвою кривавого побоїща, влаштованого місцевими фашистами з «Залізної гвардії». Так розпалась фактично династія Гласбергів і розірвалася остання чи, принаймні, найголовніша нитка, що єднала їх з Буковиною.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОДИСЕЯ

З-поміж п'яти онуків Шмуеля Гласберга лише один, американець Джеремі, пам'ятав Чернівці, чи, принаймні, думав, що пам'ятає. Востаннє він був тут 58 років тому семилітнім хлопчиком, і зрозуміло, що повітря було тоді чистішим, вода мокрішою, місто затишнішим і охайнішим, хідники

не такими розбитими, а вулиці не такими темними (хоч останнє зіставлення спричинене, можливо, не так передвоєнними Чернівцями, як чепуреньким університетським містечком у Мічігані, де пан Джеремі професорує). Знайти вулицю, де мешкали Гласберги, за її старою назвою було неважко, зате знайти будинок за його описом (бо ж нумерація змінилася) виявилось набагато складніше. Власне я й досі не певен, що ми знайшли саме той будинок. «Ти взагалі міг би завести нас у будь-яке містечко під Києвом і сказати, що це Чернівці», — пожартував француз Марк, професор-індолог, знавець Бенгалії, усвідомлюючи суто символічне значення наших пошуків, у яких сам процес набагато важливіший результату.

Чималий двоповерховий будинок, який ми все-таки визнали гласбергівським, мав над брамою вибагливу анаграму з переплєтених літер SG. «Я був надто малим, щоб зазирати так високо», — сказав на своє виправдання Джеремі, котрий не пригадував анаграм, зате, начебто, впізнав кахляну піч в одній із комуналок, до якої ми завітали у тому будинку, наполохавши мешканців. Він упізнав також розташовану неподалік діючу синагогу, і згадав навіть місце, на якому вони сиділи з дідом під час відправ. Докази гласбергівської присутності тут виявилися вагомими: прізвище їхнього діда збереглося на великій меморіальній плиті серед інших фундаторів синагоги.

Пошуки Гласбергів на єврейському цвинтарі, такому ж занедбаному, як і сусідній православний, виявилися безуспішними. Зате чимало могильних пам'яток мало на собі скромний підпис їхнього дальшого родича, студента архітектури, й досить знаного згодом художника, що заробляв собі на прожиття таким традиційним для багатьох митців способом. Його головним конкурентом на каменярському поприщі був такий собі Карл Москаль — я, як умів, пояснив курйозність цього русинського імені, де вплив двох імперій матеріалізувався з дивовижною точністю і істинно символічною лапідарністю.

У певному сенсі сьогоднішні Чернівці є і «Карлом», і «Москалем» — з дивовижними вуличками й будинками доби Франца-Йосипа (чого вартий лише театральний майдан чи, скажімо, університет) і водночас із повсюдним брудом, обшарпаністю, нехлюйством, якимсь непозбутнім тавром советськості, що й досі фатально тяжіє над усією Україною. Яке може бути враження від країни, де навіть у найкращому готелі (120 доларів за добу) нема гарячої води і де температура в неопалюваних кімнатах пізньої осені стоїть на рівні десяти градусів? Яке може бути враження від країни, де в готельному ресторані примітивний сніданок із двох яєць і помієподібної «кави» оцінюється у шість гривен, а пара підсмажених скибочок хліба, принесених додатково, тягне на ще одну гривну з кожного? Яке може бути враження від країни, де шахраювата адміністрація, беручи 120 доларів за добу, не соромиться натякати, що банкноти з помарками коштують дещо дешевше — або взагалі не приймаються, і де та таки ж адміністрація не соромиться виставляти фантастичні рахунки за подані в номер фрукти, які не були ані замовлені, ані спожиті?

Я вчив своїх іноземців вимовляти по складах «гар'яча вода» — аби покоївки могли зігріти їм ту воду в банях, і я дурнувато пояснював, що в нас тепер криза і що гарячої води нема в цілому місті. «Але з мешканців міста ваша влада, мабуть, не бере 120 доларів за добу», — заперечували мені іноземці. — «Та ще й новими купюрами», — докидав хтось під загальний регіт. — «Коли б тут була ще й гаряча вода, — відбивався я, — то цей готель називався б не п'яти, а двадцятизірковим, і з вас дерли б тоді по тисячі за добу».

На щастя, мої євреї були не без гумору: назву готелю «Cheremosh» вони прочитали французькою як «chere et moche» — «дорогий і потворний», і неабияк тим втішалися. Назагал, вони більше втішали мене, ніж їх. Судячи з усього, вони й не сподівалися чогось ліпшого в цій країні, видно, слава про наш туристичний сервіс уже давно стала всесвітньою. «Ось побачите, — заспокоював мене француз Жан, бізнесмен, — років за десять усе зміниться. Ці державні монстри приречені, — він кивав на велетенський напівпорожній готель, символ незатишності, на безлюдний ресторан, символ советськості. — Вони збанкрутують». — «Але ж у нас немає банкрутств! — вигукував я. — Виробництво падає, економіка розвалюється — і ніхто не банкрутує, нікого не виганяють — безробіття близько нуля». — «Це зміниться, — не вгавав Жан, — згадайте той чудесний приватний готельчик у Києві, або ті приватні ресторани, де ми обідали, і де ваша обслуга вже знає, що вона для клієнта, а не навпаки».

Я виявився безсилим проти цього французького оптимізму, незатьмареного багатолітнім життям у нашій країні і незатруєного інформацією про рівень мислення й поведінки нашої олігархічної влади.

БІЗНЕС

З-поміж усіх нащадків Шмуеля Гласберга Жан виявився єдиним бізнесменом. Перед приїздом до Києва він побував у Казахстані, де взяв участь у тендері на постачання чогось там для Байконурського космодрому. Тендер він виграв, і Казахстан йому сподобався. Він хвалив Алмату, тамтешній уряд і пророкував країні роль ще одного азійського тигра.

Незадовго перед тим Жан так само успішно злітав до Іраку, де продав кілька дюжин електричних млинів із колишньої НДР, не потрібних тепер нікому в новій Німеччині. Нафтодолари від Саддама Хусейна і Нурсултана Назарбаєва, схоже, надихнули його пропонувати родичам екзотичну поїздку на землю прадідів. Частина нафтодоларів, таким чином, потрапила і в Україну.

Жан — француз, але формально є громадянином Гваделупи, де був, за його словами, лише раз, приймаючи громадянство. На Гваделупі податки значно нижчі, ніж у Франції; з цих самих причин усі його фірми

zareestrowani v Gibral'tari. Yak spravzhnii biznesmen i vnuk svogo di-da, Zhan znae bezlich mov, chi, pri-na-yim-ni, tyamit' kil'ka desyat'kiv sliv na kozhnii, vkluchno z rosiys'koyu. Za moei vidсутності він був незамінний для родичів, бо єдиний умів розібрати кириличні літери.

Дружиною Жана була справжня тайландка, — власне, не зовсім справжня, бо він пояснив, вона теж єврейка, але з Таїланду. Я ніколи не бачив живих тайландок, а тим більше тайландських єврейок, тож позирав на неї з допитливістю провінціала, намагаючись розгледіти хоч якусь семітську рису в суто азійському обличчі. Вона виглядала мовчазною і навіть відчуженою, як і більшість короткозорих людей, романтично задивлених кудись у простір. Вона єдина в компанії не знала англійської і, може, це було головною причиною її відстороненості під час спільних розмов.

Жан говорив за себе й за неї, а деколи й за всіх інших. «Уявляєш, — казав, — ми познайомились у Сорбонні, і коли я довідався, що її дід, як і мій, торгував лісом, я зрозумів, що ми мусимо одружитись».

«Але ж то був цілком інший ліс», — зауважив я, надпиваючи з чарки справжньої «Тиси».

«Ха, — сказав Жан, надпиваючи теж. — Але ж він продавався на тих самих біржах, тим самим клієнтам. Амстердам, Лондон, Ганновер... І знаєш, що вона мені сказала? Сказала, що згодна, але за умови, що я ніколи не торгуватиму лісом! Тож я торгую тепер усім, крім лісу!... Ха-ха-ха!»

«З українців нікудишні торговці, — сказав я. — Землеробська цивілізація. Нація селян. Євреї традиційно заповнювали цю нішу. А тепер заповнює кат зна хто. Тому ми й сидимо в задниці — бо не маємо своїх євреїв. Ми їх, власне, ніколи й не мали, бо кому хочеться належати до селянської нації?..»

Коньяк приємно зігрівав шлунок, і вся історія українсько-єврейських взаємин поставала переді мною дедалі ідеальнішою.

«Мій дід робив чесний бізнес, — сказав Жан ледь ображено. — Він платив українським селянам, які працювали в нього, найкращу ціну. Він знав кон'юнктуру. Він привозив з Європи гроші. Товари. Техніку...»

«Культуру праці», — докинув я.

«Культуру праці, — погодився Жан. — І культуру торгівлі. Він ніколи нікого не дурив. Не підводив. Всі хотіли з ним мати справу — він поводився чесно».

«Отож, — кинув я. — А тепер усі наші Гласберги — або в Америці, або в Ізраїлі. Роблять з пустелі оазу. А ми — навпаки. З оази — пустелю. Орїї-арїї».

«Ні, я серйозно, — наполягав Жан, дедалі дужче ображаючись. — Мій дід жив досить скромно, він жертвував величезні гроші — на притулки, на школи, навіть на брукування вулиць!..»

«А тепер вулиці брудні і розбиті! Будинки обшарпані! Та ж ці Чернівці могли бути лялечкою! Меккою для туристів! Як Будапешт, як Прага, як Краків!»

«Краків зробили передусім поляки, — сказав Жан. — А Будапешт — мад'яри».

«Авжеж, — кивнув я. — Але ж вони мали своїх євреїв. І багато чого в них навчилися».

«Розумієш, — сказав Жан уже менш ображено, хоч, здається, й далі підозрював мене у нещирості та іронії, — євреї мусили бути більш динамічними, щоб вижити. Хто не пристосувався — пропав. Вони мусили робити те саме, що й неєвреї, але — значно краще».

«Це позитивний природний добір, — погодився я. — У вас виживали кращі, в нас — гірші».

«Я серйозно», — сказав Жан.

«Я теж».

Але він мені, здається, так до кінця й не повірив.

УКРАЇНСЬКИЙ АНТИСЕМІТИЗМ

Зі своїх нечисленних зустрічей за кордоном з євреями, а ще більше з тамтешніх публікацій я знав, що українці мають у їхніх очах стійку репутацію антисемітів. Здебільшого це було єдине, що вони знали про Україну: край хмельниччини й гайдамаччини, петлюрівщини й бандерівщини, край неперервних трьохсотлітніх погромів і зоологічної ненависті хама-невдахи до всього здібнішого й удатнішого.

Я, як умів, пояснював, що ні євреї, ні українці не були суб'єктами, а лиш об'єктами історії; вони були в'язнями однієї камери, у якій їх постійно нацьковували одне на одного, а проте більшу частину часу вони жили мирно, і ці роки мирного співжиття заслуговують не меншої уваги, ніж роки справді бурхливих і справді катастрофічних для євреїв ексцесів. Я безсило пояснював, що Бандера не був погромником, ані, тим більше, не був ним Петлюра, скоріш юдофіль, ніж антисеміт. Я пояснював, що українці шанують Хмельницького зовсім не за «погроми», як і американці шанують Дж.Вашінгтона зовсім не за прихильність до рабовласництва. Я з'ясовував, що до погромів кінця XIX — початку XX століть у Російській імперії український націоналізм не має взагалі ніякого відношення.

Мене чемно вислуховували і лишалися, як правило, при своїх думках. Жити у світі масових міфів комфортніше — і євреї під цим оглядом мало чим відрізняються від українців. Один добродій у Каліфорнії, який хлопчиком пережив повстання у варшавському гетто, розповідав, що на власні очі бачив, як українські солдати з дивізії СС «Галичина» розстрілювали євреїв. Я знав, що «Галичина» була створена роком пізніше для свого першого і, як з'ясувалося, останнього бою під Бродами; я знав, що це була

фронтowa дивізія, яка не брала участі в жодних каральних операціях; я знав, що ніяких українських частин у варшавському гетто не було — і міг на підтвердження назвати десятки наукових джерел на цю тему. Мого співрозмовника не цікавили жодні докази, він лише вперто повторював: «Я бачив на власні очі».

Міфи, створені очевидцями, наймогутніші.

З певним подивом я помітив, однак, що мої гості ніякого пунктика щодо «генетичного» українського антисемітизму не мають. Двоє ізраїльтян — Хамуталь, професорка новочасної івритської літератури, і Шмуель, власник малого рекламного видавництва, — чули дещо, щоправда, про Дем'янюка, розрекламованого під час суду як «Іван Грозний», проте щиро вважали його росіянином чи, власне, «советом». Лише Джеремі, керівник химерного (за нашими мірками) університетського відділу для 60-70-літніх студентів, поділяв весь набір типово американських стереотипів. Він недовірливо позирав на пам'ятник Паулю Целану в центрі міста, на вулицю Шолом-Алейхема, на велику мапу Ізраїлю у єврейській школі і, врешті, на активістів єврейського товариства, що притулилося у колишньому Єврейському Домі, — і на його обличчі вимальовувалося легке роздратування: не забувайте мені, мовляв, баків вашою пропагандою.

«Я читав, — мовив він, — що ваш уряд зумисне заграє з євреями та іншими меншинами, щоб нацькувати їх на росіян».

«Я не вмію читати думок свого уряду, пане Джеремі, — сказав я. — Хоч, боюсь, ви переоцінюєте його зловмисність».

«Ви повинні вибачитися перед євреями, — сказав він сердито. — І повернути усе майно».

«Я не винен вам жодного майна, пане Джеремі. Але я можу вибачитись, якщо ви наполягаєте».

«Ваш уряд повинен», — сказав він із притиском.

«Наш уряд існує лише 5 років і, сподіваюсь, іще не зробив євреям нічого поганого».

«Він мусить вибачитися за своїх попередників».

«Він не мав попередників. Перед цим у нас були чужі уряди. Я не проти, щоб вони вибачились — і перед вами і перед нами. І навіть, щоб якесь майно повернули. Мій дід мав, наприклад, пару коней, реквізованих більшовиками. І дев'ятеро дітей. Восьмеро з них більшовики заморили голодом. І ще кілька мільйонів інших. Може, ви чули? Такий собі маленький український голокост».

«Слухай, Джеррі, — втрутився Жан. — Українці мають чудову приказку: «Своє гівно не смердить».

Я вдячно глянув на Жана. Мабуть, він і справді добрий бізнесмен.

БЕРДИЧІВ

Кажуть, у старому Бердичеві мешкало 70 тисяч євреїв — більше половини населення. Сьогодні це типовий советський райцентр із недолугим Леніним на майдані і ще недолугішою коробкою райкому партії, перейменованого тепер на держадміністрацію. Євреїв у місці залишилося кілька тисяч, і далеко не кожен бердичівець знає про їх існування. Для більшості мешканців євреї — це давня, передвоєнна і, навіть, передреволюційна історія. Зникаючий світ, зафіксований ностальгійним Шолом-Алейхемом.

Лише четвертий запитаний нами зустрічний знав, що в Бердичеві є синагога і зміг показати нам шлях до неї. Вона була справді у непримітному закапелку, стара, невеличка, обставлена перманентними риштуваннями. Відправа закінчилась, але ще кільканадцять євреїв було на подвір'ї: дядьки в картузах, схожі на колгоспних механізаторів, і такі самі жінки з грубими рисами облич, непевної форми та віку, — невитравне тавро советськості, виявляється, позначило єврейський простолюд тією самою мірою, що й будь-який інший на теренах неозорого СССР.

«Мої гості, — сказав я, привітавшись, — хотіли б оглянути, коли можна, синагогу і цвинтар. Вони всі євреї».

«З Америки?» — перепитала якась жінка.

«Двоє з Америки, троє з Ізраїлю, троє з Франції».

Жінка схвально мугикнула і, як і більшість, вирічилась на тайландку, намагаючись, видно, допетрати, де ж це тепер завелись такі химерні євреї — в Америці, Франції чи, крий Боже, в Ізраїлі. По хвиловому заціпенінні євреї накинулись на моїх гостей з гучним гелготом, щось запитуючи й пояснюючи на російській та ідіш, із яких мої гості не знали жодної. Втім, вони знали німецьку (як і, зрештою, французьку, як і англійську, як і іврит), тож сякий-такий контакт зав'язався.

Жінка, що запитувала мене про Америку, вже тримала за рукав Джеремі і показувала йому фотографію свого сина з родиною. «Они в Америке, — промовляла вона. — В Бруклине». Джеремі морщив чоло з залисинами, мружив очі під окулярами і невиразно гмикав. «В Бруклине, — вона видобула з пошарпаної торбинки листа й тицьнула пальцем у зворотну адресу. — Они зовут меня к себе». Вона питально дивилася Джеремі в очі, а той далі розгублено кліпав і бурмотів лише: «Brooklyn... good, good...»

«Her children in the U.S. want her to joint them», — пояснив я.

«Good, good», — повторив Джеррі.

«Він каже, що це гарне місце», — дещо довільно переклав я.

«Вот и я думаю, что надо уезжать, — сказала жінка. — Вся молодёжь уехала — кто в Киев, кто в Америку, кто в Германию... Говорят, там целые улицы наши, и магазины, и всё-всё...» Вона заховала листа й фо-

тознімок назад до торбинки, якусь мить помовчала й сказала замислено: «Может, и уеду...»

«She wonders whether it's possible to live at your place», — сказав я.

Джеррі налякано стрепенувся і я, щоб не заводити цей жарт задалеко, хутко поправився: «Sorry, I mean, in your country».

Джеррі з полегкістю усміхнувся й радісно закивав: «Yes, yes, of course!»

Але я вже не став нічого перекладати. «Захід є Захід, а Схід є Схід», казав Кіплінг і, мабуть, мав рацію.

Тим часом хтось привів із синагоги двох рабинів, чепурненьких американців, схожих радше на університетських професорів, ніж на духовних осіб, і ми рушили до середини. «До 60-х років тут була ще одна синагога, — пояснював старший. — Але її закрили. Там збиралася інтелігенція».

«А тепер?»

«Тепер є синагога, нема інтелігенції. Усі виїжджають. Ми стараємось допомогти чим можемо».

Я відшипнув від куртки каптура й накинув на голову. В невеличкому молитовному залі за оксамитовим парохетом височів різьблений Арон-Кодеш. Орієнтальний орнамент на стінах переходив у загадкові написи юдейськими літерами — чи навпаки. Жінки рушили рипучими східцями на свою галерею. Дух тління й занепаду висів у повітрі, наче в примарному кораблі, що поринає під землю.

«А чому вони всі виїжджають? — запитав мене Жан. — Тут є свій Жинівський?»

«Тут є свої злидні, — пояснив я. — Але, звісно, щоб потрапити до Америки, треба зголоситися біженцем. І багато хто зголошується. Я чув цілком фантастичні історії про переслідування».

«Я теж», — сказав Жан.

«Я їх, зрештою, розумію. Америка — це не Ізраїль».

«Але ж за кільканадцять років усе зміниться, — сказав Жан. — Ти думаєш, вони вернуться?»

«А ти?»

«Якщо у вас будуть найнижчі в світі податки», — засміявся Жан.

Ми вийшли із синагоги.

«Вас проведуть до хасидського цвинтаря, — сказав старший рабин. — Ми маємо з ним проблеми. За советів він руйнувався сам, тепер його до-руйновують. Новіє руські будують собі гаражі. Місцева влада не проти-діє. Ми звернулися до уряду».

«Я завжди казав, що капіталізм ще жорстокіший від комунізму», — резюмував Жан.

«У нас — африканський капіталізм, — заперечив я. — Зрештою, й комунізм у нас був не кращий».

«Усе зміниться», — з певністю сказав Жан.

«Знаєш, — сказав я по дорозі до цвинтаря, де, наче сувої папірусу, закам'янілі лялечки, ховались між бур'янами гробівці хасидів. — У нас є

анекдот про аудієнцію трьох президентів у Господа Бога. Першим був, звісно, Клінтон. «Коли мій народ, о Господи, заживе нарешті щасливо?» — запитав він. — «Через тридцять років», — відповів Бог. Заплакав Клінтон і пішов геть. «А коли ж мій народ заживе щасливо?» — запитав Єльцин. — «Через триста років», — відповів Господь. Заплакав Єльцин та й пішов геть. «Ну, а мій народ коли заживе щасливо?» — запитав наш президент. Заплакав Господь і пішов геть».

«З тебе був би добрий хасид!» — сказав Жан, регочучи.

«НАСТУПНОГО ЛІТА В ЄРУСАЛИМІ»

Ми попрощались у Києві традиційним єврейським прощанням: «Наступного літа в Єрусалимі». Тоді я не думав, що ця ритуальна формула збудеться щонайбуквальніше. Я заздро дивився вслід Гласберговим нащадкам, що весело зникали в чепуренькому готельчику на Подолі. Поїздка, здається, їх не стомила й не засмутила. Вони втішались карпатськими краєвидами і річечкою, до якої виїздили на літні вакації їхні майбутні матусі під наглядом дідуся Шмуеля чи, скоріш за все, якоїсь німецької гувернантки; вони надивились на мури Кам'янця-Подільського й на митрополічу резиденцію, що стала згодом Чернівецьким державним університетом; вони набазікались, зрештою, у затишних ресторанчиках, яких справді з'явилося чимало по всій Україні — либонь, більше навіть, ніж в Африці. Вони раділи екзотиці, яку можуть дозволити собі будь-коли за свої гроші, а якщо й подибували щось сумне, то це лише зайвий раз підтверджувало мудрість їхнього діда, котрий завчасу покинув цю Богом забуту країну. Вони поверталися зі свого минулого, наче з Юрського Парку, назад у майбутнє, тим часом як я буксував з усією країною в цьому минулому, наче в химерному сні, нездатний зробити у бік майбутнього ані кроку.

Кожен має свої проблеми, і безглуздо навантажувати ними інших.

Під кінець, коли Жан несподівано запитав мене, чому майже всі євреї тут розмовляють російською мовою, я розповів йому ще одну притчу — про свого приятеля, порядного й інтелігентного Серьожу Гросмана, який завжди розмовляв зі мною по-українськи, але ніколи не користувався цією мовою публічно. Коли я його запитав, чому, — він відповів дуже просто й вичерпно: «Знаєш, з мене досить проблем із моєю єврейськістю».

Не знаю, чи Жан мене зрозумів. Він весь час підозрював мене в іронічності.

Але через кілька місяців, летячи на конференцію до Єрусалиму, я побачив у літаку чималу єврейську родину з півдюжиною вертлявих рудих дітлахат, яка поверталася через тисячоліття з однієї батьківщини в іншу. Вони розмовляли по-українськи, ба по-галицьки — так говорять на Прикарпатті, деś на Самбірщині чи Бориславщині, і виглядали вони достоту

як українські селяни, що виїздили сто років тому з тієї ж злиденної Галичини до Канади.

Уперше в житті я відчув, що це наші євреї — не російські і не советські, і що з ними ми справді втрачаємо щось дуже важливе, щось, важливість чого ми, боюся, скоро відчуємо, але не скоро збагнемо. Огидний клубок підкотився мені до горла і я відвернувся до ілюмінатора, де зникали береги Криму й починався Левант-Орієнт, Аравія й Палестина, неznані краї між живими морями і мертвими, згустки часу й простору, історії й географії, черезсмужжя минулого й майбутнього, в різні часи якого ми простуємо, як нам здається, одним літаком.

Листопад 1996 - серпень 1997

Аарон Штейнберг

Аарон Штейнберг, сын богатого московского купца Баруха Штейнберга, родился в 1891 г. в Двинске, умер в 1975 г. в Лондоне. Среднее образование получил в России. С 1908 г. слушал курс философии в Гейдельбергском университете. С 1911 г., познакомившись с редактором «Русской мысли» Петром Струве, печатает серию статей в его журнале.

Бывая в Москве и Петербурге, А.Штейнберг знакомится с наиболее известными представителями русской интеллигенции, прежде всего — творческой. О своих встречах с ними в предвоенные, военные и революционные годы он рассказал в мемуарах, наговоренных на магнитофон много лет спустя (А.Штейнберг — «Друзья моих ранних лет». — Подготовка текста, послесловие и примечания Ж.Нива. — «Синтаксис», Париж, 1991 г.).

В 1920 г., находясь в Петрограде, А.Штейнберг становится секретарем основанной Р.Ивановым-Разумником философской академии «Вольфила», выступает с докладами, посвященными Ф.Достоевскому, А.Блоку, П.Лаврову. В 1922 г. он эмигрирует в Германию, работает над переводом на немецкий книги С.Дубнова «Всемирная история еврейского народа». В это же время ведет печатную полемику с Л.Карсавиным о значении еврейства для христианства.

В 1933 г., с приходом к власти нацистов, А.Штейнберг покидает Германию и поселяется в Лондоне. Вскоре он становится вице-президентом Всемирного еврейского конгресса (возглавляет секцию культуры). После войны представляет эту организацию в ЮНЕСКО, основывает журнал «Еврейский журнал социологии». Уже после его смерти издан сборник статей разных лет (1983 г., Нью-Йорк).

Для публикации в «Егунце» предлагается глава из мемуарной книги «Друзья моих ранних лет», посвященная встрече с В.В.Розановым, состоявшейся в памятью 1913-м году.

Жорж Нива

НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ

(Встреча с В.В.Розановым)

Осенью 1913-го года внимание широких кругов русского общества и международной прессы было приковано к так называемому «делу Бейлиса» — судебному процессу, организованному в Киеве. Судили приказчика кирпичного завода Бейлиса, еврея. Обвинение было основано на том, что убийство малолетнего русского мальчика Андрюши Юшинского было совершено по чисто религиозным мотивам еврейского ритуального характера. Я в это время жил в Петербурге и сам слышал, как мать маленького кадета, которого собирались поместить в пансионе знакомой мне вдовы военного врача Перельман, услышав, что хозяйка пансиона Мария Григорьевна — еврейка, сказала: «Нет, простите, во времена таких ритуальных убийств я боюсь оставить мальчика в еврейском пансионе, как-то боязно!» «Кровавый навет», как называли дело Бейлиса либеральные газеты, успел, очевидно, завладеть умами широких слоев населе-

ния всей страны. Не только правая пресса, но и газеты, считавшие себя умеренными, под давлением общественного мнения не возражали против существовавшего особого сектантского ритуала, связанного с кровавыми убийствами христианских детей. Правые газеты такие, как «Русское знамя» или «Земщина», старались заручиться громкими именами знаменитых писателей, которые бы поддерживали открыто в прессе это обвинение. И вот Василий Васильевич Розанов, читателем которого я был уже много лет, перед которым я преклонялся, писатель не только с большим талантом, но и с тонкой мыслью и незаурядным умом, стал регулярно снабжать «Земщину» статьями в защиту судебного процесса над Бейлисом. Тот Розанов, который до последнего времени писал в высшей степени своеобразные статьи о евреях, объясняющие, что евреи по природе своей — вегетарианцы, так как согласно библейским текстам и по еврейским обрядам, прежде чем употреблять в пищу мясо, должны его посолить и вымочить так, чтобы в нем не осталось ни капли крови. Статьи Розанова о еврействе производили на всех большое впечатление, а на меня в особенности. И вдруг оказывается, что евреям нужна кровь христианских младенцев, чтобы справлять праздник Пасхи — праздник освобождения евреев из египетского плена! Для меня оставалось загадочным, что заставило Розанова изменить свои прежние убеждения?

Я долго терпел, читая аккуратно его статьи в «Земщине», но однажды, прочитав особенно ядовитую статью, не выдержал и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, нашел телефон Розанова и позвонил ему: «Могу я поговорить с Василием Васильевичем?» Он сам подошел к телефону и спросил: «Кто говорит?»

«Говорит человек, который занимается философией, еврей, большой почитатель ваших работ до недавнего времени, читающий ваши статьи в «Земщине» и старающийся разгадать загадку. Может быть, вы бы нашли время выслушать мои вопросы?»

«А вы тоже пишете?» — «Пишу кое-что». — «Ну хорошо, хорошо, вы, вероятно, хотели бы поговорить со мной о деле Бейлиса? Знаете, набил нам оскомину этот ритуал, однако я к вашим услугам. Приходите в воскресенье вечером». Об этом «приглашении» я не сказал никому. Пошел по нужному адресу и позвонил.

Открыл сам Розанов, и я сразу оказался лицом к лицу с Василием Васильевичем. «Ах, такой молоденький, этого я меньше всего ожидал. Идемте, идемте, очень интересно», — сказал он и как любезный хозяин взял меня под руку и ввел в столовую, в которой за длинным столом сидело порядочно народа.

Среди них я узнал очень известного актера Малого театра — Юрьева, других я не знал. Василий Васильевич посадил меня за стол по правую руку от себя. Одной из своих трех дочерей, по-моему младшей, он накатал: «А вот ты, Катя, поукаживай-ка за нашим гостем». Я заметил, что все присутствующие с необыкновенным интересом оглядывали меня. Очевид-

но, Розанов успел предупредить гостей о приходе какого-то еврея, он даже не знал моего имени, который желает говорить о процессе Бейлиса, о ритуале. Было очевидно, что все интересовались, «кого это евреи нам подослали». Может быть, мое замечание и несправедливо, но для ряда гостей Розанова и для его дочерей я был неожиданным угощением на этом званом обеде. Мне придвинули блюдо с разнообразными закусками, и Василий Васильевич начал расспрашивать меня, кто я и откуда, где учился философии и т.д. Мне этот светский разговор казался не к месту. Я пришел не для того, чтобы вести легкую застольную беседу и не ожидал, что буду одним из гостей Розанова. Я представлял себе, что буду сидеть за рабочим, письменным столом наедине с Розановым и постараюсь выснить и понять, что побудило его так резко переменить свои взгляды на евреев. Получилось совсем не так, как я ожидал. Я сидел за столом, как обычный гость на вечеринке Розанова и, поглядывая на Василия Васильевича сбоку, на его ласковое лицо, прислушиваясь к гостеприимным ноткам в его голосе, думал, когда же мы дойдем до дела? Неужели серьезный разговор начнется при всех этих людях? Однако «взялся за гуж, не говори, что не дюж»!

И вот, Василий Васильевич сам начал говорить о процессе Бейлиса: «Так вы пришли, чтобы поговорить о ритуале?» — «Как я уже сказал вам по телефону, Василий Васильевич, я все ваши книги читал и знаю ваше мнение, что евреи как бы все поголовно вегетарианцы. Я и сам получил очень хорошее, основательное еврейское воспитание и образование и твердо знаю, что подобного ритуала среди евреев быть не может, это противоречит всем принципам еврейской веры». — «А-а, вы думаете, что и я не верю в возможность такого ритуала? Нет, я верю. А вы, такой молоденький, думаете, что все тайны знаете? Во всем еврейском народе, может быть, только пять-семь человек об этом знают». Я немного рассердился: «А вы, Василий Васильевич, как же знаете?» — «А я — носом, чутьем. Вы не понимаете главного. Согласитесь, ведь это совершенно необыкновенное явление — народ рассеян, без земли, без общего языка, — а вот как-то держится, и не только держится, а силу проявляет? Посмотрите на себя, вот вы сотрудничаете в журнале «Русская мысль», а русским себя не считаете». Я возразил, что такого требования нет, чтобы только русские писали в русских газетах. — «Так ведь вся наша печать, за немногими исключениями, в руках евреев, они руководят всей прессой и в конце концов захватят власть в России. А почему? Потому что держатся крепко, обособленно. Вот Бейлиса, человека совсем ничем не выдающегося, обвиняют в ритуальном убийстве, и все евреи, как один человек, во всем мире поднялись на его защиту. Как же вы это объясняете? Нет более сильной связи, чем через кровь. Для этого-то и совершаются время от времени кровавые убийства. Еврейский народ тогда еще крепче объединяется! Вы же не будете отрицать того, что все, что бы мы ни делали, для вас — погано!» Я развел руками. «Вот, — продолжал Василий Василье-

вич, — моя дочь поставила перед вами угощение, а вы не прикасаетесь!» — «Василий Васильевич, да вы же лучше других знаете, что евреи по закону не могут употреблять в пищу мясо, из которого не удалена вся кровь. Кроме того, есть пища, которая не употребляется евреями не потому, что она «погана», а потому, что запрещена еврейским законом. Я не ем ветчины, но не потому, что она на столе у вас, — я вообще никогда не ем ветчины!» — «Да, это, может быть, и так, но все-таки вы считаете нас людьми второго сорта, если вообще считаете людьми! А как объяснить, что вы на меня смотрите и сердитесь?» — «Я не сержусь, я очень огорчаюсь. Я вам не льстил, когда сказал по телефону, что был большим почитателем вашего таланта, ваших произведений, я многому у вас научился». — «Вот вы хотите меня взглядом околдовать? Не знаю, что он видел в моем взгляде особенного: «Простите, Василий Васильевич, может быть, вы разрешите мне откланяться и уйти, я не хотел бы быть помехой вашему воскресному обеду». Тогда он довольно громко сказал: «Нет, я верю, верю в ритуал!» Это громкое восклицание было явно сделано для того, чтобы привлечь внимание всех, сидящих за столом. Человек, сидевший недалеко от нас, с окладистой седой бородой, вмешался в разговор. Я уже и раньше заметил, что он прислушивается к нашей беседе: «Нет, Василий Васильевич, тут я с вами не согласен. Вы не правы в ваших выводах об обособлении евреев. Когда я был студентом в Петербургском университете, я был дружен с русскими старообрядцами, которые приходили в университет со своими собственными кружками, чтобы не пить из тех кружек, из которых пьют «еретики» — просто православные».

Василий Васильевич познакомил нас. Это был знаменитый Эфрон, автор пьесы «Контрабандисты», направленной против евреев в России. Он описывал евреев, которые селятся вдоль границы и занимаются контрабандой и другими преступлениями. Эфрон сотрудничал в «Новом времени», был крещеным евреем и говорил по-русски с легким еврейским акцентом. Пьесу его ставили в Малом театре. Тот факт, что Эфрон, будучи евреем, отошел от еврейства, очевидно, заставил его вмешаться в наш разговор. Розанов был доволен, что этот разговор становится общим. Дочь Розанова, Катя, сидевшая неподалеку от Эфрона и ухаживавшая за гостями, как-то вспикела и неожиданно сказала: «А почему вы даете папе такие вещи писать, почему вы только тут критикуете его, а не напишете письмо в редакцию? Ведь погромы могут быть!» — «Успокойтесь, Катя, погромов не будет». Василий Васильевич снова овладел разговором: «Вот видите ли, когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Саррочка. А если их спросят про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет! Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вот вы на меня смотрите!

Конечно, вы и берете власть. Но надо же, наконец, и за Россию постоять!» Я снова, во второй или уже в третий раз, был глубоко разочарован. Так вот в чем загадка! — «За Россию постоять?» Дело не в ритуале, все дело в политике? Я вдруг почувствовал, что не следовало бы предпринимать этого экстравагантного визита.

Однако эта встреча с Розановым дала мне возможность лучше понять не только его самого, но и многие явления русской жизни. Я решил высказать Розанову, что теперь вполне понимаю, почему он считает нужным и важным, пользуясь процессом о ритуальном убийстве, как-то предупредить русский народ, чтобы остерегались евреев. По моему мнению, это идеи политические, а не религиозные, не философские, и потому мне нечего сказать на это. «Как это — не философские? А почему евреи критикуют все у других, а у себя ничего не критикуют? У евреев — все хорошо! Слышали ли вы, чтобы евреи сами себя критиковали так, как они критикуют правительство, безграмотность народа, пьянство?» — «Василий Васильевич, неужели вы никогда не слышали о таком движении, как сионизм? У вас же в Петербурге выходит еженедельник «Сионистский рассвет», возьмите его в руки, вы увидите, что он полон критикой еврейства в рассеянии. Вы говорите, что евреям необходимы убийства христианских младенцев, чтобы сплотиться в рассеянии, а сионисты говорят, что им необходимо восстановить свою святую землю со столицей в Иерусалиме. А откуда она не восстановлена, евреям грозит опасность! Критика евреев и еврейства на каждой странице — это легко проверить!» — «А я вам скажу, что евреи грабят наших крестьян. Я сам видел в Бессарабии, где мы были летом на даче, как евреи, покупая у крестьян зерно, проделывали в мешке дыру и заставляли их добавлять меру-другую!» — «Очень возможно; в еврейских книгах уже давно написано, что торговля не повышает морального уровня того, кто занимается ею». Я даже употребил поговорку, которую Кони ставил в упрек русскому народу: «Не обманешь — не продашь!» «Простите, Василий Васильевич, то, что я сейчас услышал от вас, дает мне право откланяться. Я не в обиде на то, что пишут в печати. Мне обидно, что под некоторыми недостойными статьями стоит подпись Розанова, которого я так уважал и до сих пор уважаю, несмотря на мое разочарование». Было уже поздно, и гости постепенно стали расходиться. «Ну, вы тонкий дипломат, — сказал мне Розанов, — вы хотите сказать, что не принимаете моих аргументов, что я сам не верю тому, о чем пишу. Если уж вы такой дипломат, то дайте мне совет. Перейдем в кабинет, я вам покажу кое-что, вы скажете свое мнение. Как посоветуете, так и сделаю. Согласны?»

Надо сказать, что я не остался бы и не пошел с Розановым, если бы не выражение лиц Кати и ее двух сестер, какое-то грустное, подавленное, им было как будто стыдно за отца, как если бы он сделал нечто неприличное. Мы пошли в его кабинет — соседнюю комнату. В кабинете, в кресле полулежала женщина, укутанная в теплый шерстяной плед. Мне показалось,

что она парализована. Розанов представил меня ей. Когда мы приближались, Розанов шепнул мне: «Вы знаете, мой друг очень болен, не надо ЕГО волновать. (Розанов говорил — «его».) Будем продолжать беседу вполголоса». Во всем тоне и поведении Розанова было столько ко мне расположения и доверия, неожиданного в этой обстановке, что у меня возникло двойственное чувство к нему. Вместо того, чтобы обличать черносотенца, который клеветает на еврейский народ, восстанавливает русское население и, главным образом, духовное сословие против евреев, я как бы вошел в семью Василия Васильевича, как-то сроднился с ним в такой короткий срок. Это был один из тех случаев, который позволил мне понять своеобразие, большое, неискоренимое своеобразие русского характера. Мы уселись. Розанов указал мне место на диване и придвинул кресло ко мне. Из шкафчика он достал четыре листка почтовой бумаги и подал мне: «Вот прочитайте, пожалуйста, и скажите, что с этим делать?» Это было письмо, написанное недостаточно образованным человеком, хотя и без грамматических ошибок: «Василию Васильевичу Розанову — предупреждение. За ваши статьи в «Земщине» по поводу процесса Бейлиса вы будете соответственно наказаны. Еврейство вам этого никогда не простит. По старым своим заветам искиоренит не только вас, но и все ваше семейство и все ваше потомство. Все это будет сделано согласно ритуалу. Сообщаем вам, что под зданием Большой Хоральной синагоги на Офицерской, в подвале, в затаенном углу стоит алтарь, на котором такие люди, как вы, враги евреев, приносятся в жертву во имя спасения великого еврейского народа и всего обращенного в еврейскую веру человечества. Бейлис будет осужден в Киев, но мы не успокоимся, подадим кассацию; дело будет передано на новое рассмотрение, где обнаружится, что Бейлис ни в чем не повинен. Он будет оправдан. Вы же и все вам подобные будете уничтожены». Я прочитал и невольно улыбнулся. Мне было ясно, что это подделка. Но кто бы мог написать это письмо? Были ли это те, которые действительно хотели погугать Розанова, или, наоборот, те, которые пытались содействовать обвинению Бейлиса? Глупо было и то, что сообщался адрес, как бы специально затем, чтобы полиция занялась этим. Мне кажется, что главной целью этих людей было поиздеваться над Василием Васильевичем. Я удивился той серьезности и беспокойству, с которым Розанов обратился ко мне. Неужели этот умница из умниц может так легко попасться на такой простой крючок. «Прочли? Так вот, я и хочу с вами посоветоваться. Некоторые говорят, что я непременно должен передать это письмо полиции, а другие не советуют, так как я могу выставить себя в смешном виде. Как вы думаете? И вообще, серьезно ли это?» Я сидел и думал про себя, может быть, Василий Васильевич издевается надо мной, хочет посмотреть, принимаю ли я всерьез его озабоченность? Дочери его прислушивались к нашему разговору с каким-то беспокойством, а Друг, как Розанов называл женщину в кресле, спросила: «В чем дело?» Впоследствии я узнал, что это была та самая женщина, на которой

Розанов не мог жениться, так как Суслова отказывалась дать ему развод. Беспокойство овладело и мною, и я подумал, а что если какие-нибудь изуверы действительно собирались повредить Розанову, побить одну из его дочерей, например, а потом предъявить это как месть евреям? «Знаете, Василий Васильевич, полиция в таких вещах разбирается лучше нас с вами. Они прежде всего проверяют адрес и, может быть, даже определяют почерк. Кто бы ни писал это письмо, тут явно нет никакой хорошей цели, и я считал бы правильным передать это дело в полицию». — «Видишь, Катя, наш гость тоже считает правильным обратиться в полицию». — «Папа, так ведь он же из вежливости это говорит!» — заметила Катя. Мне это замечание очень понравилось. Василий же Васильевич сказал: «Может быть, вы и правы. Но я еще подумаю. Во всяком случае, спасибо. Я бы хотел вам еще кое-что рассказать о евреях».

И он стал рассказывать о том, что евреи задумали исключить его из русского общества. Какие евреи? Те, что группируются вокруг Струве. Я был молодым человеком, жившим долгое время в атмосфере культурного университетского города в Германии — Гейдельберга, конечно, я не вращался в кругах, собиравшихся вокруг Струве. Для меня это был совсем другой мир, мир нереальный, и мне стало жутко. Не успел я прийти к себе, как услышал очень громкий голос человека, которого я до сих пор не замечал, вероятно, он пришел уже после обеда. Он незаметно прошел в кабинет Розанова и стал у окна противоположной стены. Глаза его были расширены, он как будто косил: «Что ж вы, все об одном и том же говорите?» — «Тише, тише, — старался успокоить этого человека Розанов, указывая глазами на Друга. — Вы не знаете его? Он почти сумасшедший. Не слышали? Анатолий Бурнакин. Вот познакомьтесь». Бурнакин же не унимался: «Что это? Он хочет поразить нас своим благородством? А мы, что же мы — не люди? Приходят тут к нам со своим благородством». Он, очевидно, уже давно слушал наш разговор и был чем-то очень возмущен. — «Ты потише. Толя. Не забывай...» — И Розанов снова указал на больную. А одна из дочерей его упрекнула: «Не говорите так, — это наш гость!» — «Ах, мне все равно, ведь вот Грузенберг (один из защитников Бейлиса, известный адвокат), ведь вот взял же он 10000 рублей за защиту Бейлиса! Еще представляют себя благородными?» — «А-а, Толя, ты против Грузенберга? А я разве не взял двадцать тысяч рублей за свои статьи с «Земщины?»* Почему-то Бурнакин не нашел худшего порока в евреях, чем то, что еврейский адвокат Грузенберг брал большие гонорары. На это Василий Васильевич, несколько не стесняясь, заметил, что он и сам за гонорары. Это произвело на меня

* «Земщина» не была, конечно, платформой для Розанова. Издательство ее называлось «Палата Михаила Архангела». Это был орган Черной сотни, и финансировался миллионершей по фамилии Полубояринова, которая была тесно связана с Владимиром Митрофановичем Пуришкевичем, депутатом Государственной Думы. Это была организованная группа, целью которой было, очевидно, «спасти Россию». Ею и был выдвинут лозунг «Бей жидов — спасай Россию».

впечатление некоего откровения и как-то, совершенно произвольно и неожиданно, восстановило в моих глазах престиж Розанова. — «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И Бурнакин, который был значительно моложе Розанова, вероятно, ему было не больше тридцати лет, а Розанову уже за пятьдесят, принужден был понизить голос. Мы продолжали беседу.

Розанов, как ни в чем не бывало, стал снова расспрашивать меня о Гейдельберге, как там преподают философию и чему там можно научиться, с такими подробностями, что я подумал, не собирается ли Розанов отправить в немецкий университет одну из своих дочерей? Василий Васильевич не преминул отпустить несколько колкостей по адресу немцев, хотя тут же прибавил, что ведь недаром Пушкин писал о своем любимом поэте Ленском: «с душою прямо геттингенской»; что уже во времена Пушкина чувствовали и знали, что немецкое образование родни чему-то поэтическому, возвышенному.

Однако настал момент, когда нужно было собираться домой. Я поблагодарил за гостеприимство, полагая, что это мой первый и последний визит к Розановым, но Василий Васильевич заявил: «Ну нет, если вы думаете, что вот поговорили и прощайте, то ошибаетесь. Теперь вы должны нам показать, что мы для вас не поганые. Вы должны бывать у нас». Была ли это шутка или интерес ко мне, я не понимал и не знал. Мне не хотелось бы стать застольным гостем Розанова наряду с таким плохим, как мне тогда казалось, человеком, как автор «Контрабандистов», но я согласился. Тогда Василий Васильевич позвал Бурнакина: «Иди и проси прощения за свою грубость у нашего гостя». Мы были уже в передней. Туда же втащили Бурнакина, который протянул мне руку и сказал: «Простите». Мне было неприятно пожать ему руку, но я ответил: «Ну что вы, не беспокойтесь!» — «Так помните же, — повторил Розанов, — мы ждем вас снова, когда вам будет угодно. Мы можем беседовать и на другие темы». Я ушел. Посещение Розанова оказалось для меня «самообразовательным». Этот вечер показал и раскрыл мне многое. Я был еще слишком молод, я верил, что писатель с таким громким именем, как Розанов, должен обладать солидным философским образованием. Наша беседа с ним, однако, не обнаружила в нем больших познаний в развитии новейших идей. Василию Васильевичу просто следовало бы заняться философией. Было очевидно, что он отстал, а может быть, поддался очарованию своего собственного ума? Что касается Бурнакина, то он тогда только еще начинал писать, но я уже читал кое-что из его работ. Была в них какая-то острота, нечто очень искреннее, но уже отравленное злобой. Все, что в политике считалось относящимся к левым взглядам, вызывало в нем неприязнь и злобу. Один вид его: бледный, с косящими глазами, напоминал человека ненормального или находящегося под действием наркотиков.

На следующей неделе я был на Невском. Перед витриной «Вечернего времени», вечернего издания «Нового времени», толпились люди. Среди них я узнал депутата Государственной Думы Пуришкевича. Он был в шинели с меховым воротником и цилиндре. Некоторые депутаты Думы, как и члены парламента в Англии, носили цилиндры. Сенсационное объявление гласило, что Бейлис оправдан. А Пуришкевич очень громко заявил: «Бейлис оправдан, но ритуал — признан!» Где он вычитал это — неизвестно! Вскоре после этого я прочел в «Новом времени» статью Розанова «На их улице праздник». В статье говорилось, что евреи добились своего, что не следует преуменьшать их сил.

Розанов рассказывал: в его квартире не умолкая звонит телефон; он подходит и слышит: «Это Розанов? Ну что вы теперь скажете?», а за спиной говорящего слышен шум и радостные крики. Издеваются!

Спустя некоторое время, совершенно случайно я встретился с дочерью Розанова на лекции Льва Иосифовича Петражицкого о равноправии женщин, которая проходила в зале Калашниковской биржи. Петражицкий, обрусевший поляк, был членом Первой Государственной Думы, психологом и довольно значительным теоретиком философии права. Дочь Розанова подошла ко мне в перерыве и упрекнула в том, что я не бываю у них после того вечера: «Вы не хотите к нам приходиться, вы нас презираете. Отец очень хотел бы, чтобы вы пришли, мы даже собирались послать вам приглашение, но отец побоялся, что вы могли бы это ложно истолковать. А вы бы истолковали это ложно?» — «Нет, не думаю. Я бы принял приглашение вашего отца как проявление вежливости. В прошлый раз я пришел к вам, чтобы выяснить кое-что, я не думал быть гостем вашей семьи». Встреча эта происходила весной трагического 1914-го года. Я хотел во что бы то ни стало успеть до войны, которая казалась мне абсолютно неизбежной, закончить свою диссертацию «О понятии реального» — «Der Begriff der Realitat», о чем я уже заранее сговорился с профессором Эмилем Ласк. Поэтому заводить новые светские знакомства я не собирался. Все это в мягкой форме я объяснил дочери Розанова, как вдруг она сказала с беспокойством: «Смотрите, вот Бурнакин, который вас страшно ненавидит. Он до сих пор считает, что евреи употребляют кровь христианских детей на Пасху; что, конечно, Бейлис убил для этого Андрюшу Ющинского. Он не прекращает говорить, что вы нанесли обиду всему честному Петербургу тем, что пришли без всякого предупреждения так нахально обвинять нас во лжи. Ну как же не обидеться? Вот он вас и ненавидит. Он всегда приводит вас как пример еврейского нахальства. Нам бы хотелось, чтобы вы пришли к нам. Мы пригласили бы Бурнакина, если вы ничего не имеете против. Вы бы смогли с ним объясниться. Мы все, и папа тоже, объясняем Бурнакину, что вы просто невинный младенец и пришли к нам, чтобы услышать от «великого мыслителя Розанова» новую правду, как иронически говорит папа. Приходите к нам. Здесь не надо говорить с Бурнакиным».

После окончания процесса Бейлиса вышла статья Петра Бернгардовича Струве о Розанове под названием «Большой писатель с органическим пороком», в которой он говорил о двойственности Розанова и отказывался печатать его. Розанов, под псевдонимом Варварина, давал в либеральной московской газете Сытина «Русское слово» и в черносотенном «Новом времени» совершенно противоположные оценки одному и тому же событию. В то же самое время «христианским делом» Мережковских было исключение Розанова из Религиозно-философского общества. Тон в этом обществе задавали, конечно, Мережковские: Дмитрий Сергеевич и Зинаида Гиппиус. Мережковский проповедовал новое христианство, о котором говорил, что это не только учение или теория, на христианстве основана вся русская культура. Он утверждал и верил, что Россия живет только одним христианством, которое должно быть не только церковным, смиренным, молитвенным, но и активным. Настоящее христианство — это действенная любовь; ему нужно действие. Я услышал эту формулу непосредственно от Мережковского на его лекции в Религиозно-философском обществе о религиозности Пушкина. По инициативе Мережковских состоялось собрание в большом зале Географического общества, главной целью которого было исключение Розанова из Религиозно-философского общества. Зал вмещал несколько сотен человек, и потому я не видел Розанова, но мне говорили, что он где-то в зале. По неопытности, наивности или простодушью я не мог тогда найти оправдания решению исключить Розанова. Это же комедия — какое же это христианское дело? Впоследствии я узнал, что и Блок тоже протестовал против исключения Розанова, как и многие другие.

Когда я вышел покурить в соседнюю небольшую комнату за залом, я увидел ту самую дочь Розанова, которая рассказывала о ненависти ко мне Бурнакина. Она, бедная, сидела в кресле и плакала. Мне и теперь еще так жалко, когда я вспоминаю ее, бедную, убитую горем, несчастную, с опущенной головой, с лентой в волосах и челкой, которая тогда входила в моду. В первую минуту я даже не узнал ее, так она не была похожа на себя. Заметив меня, она вздрогнула, как будто увидела привидение. Не помню точно, как я к ней обратился. Кажется, я сказал что-то вроде: «Не принимайте все это так близко к сердцу». Я знал, что все, что бы я ни сказал, звучало бы фальшиво. Сквозь слезы, срывающимся голосом она заговорила: «Когда я думаю, какими большими друзьями, совсем родными, были Дмитрий Сергеевич с папой, — и что теперь происходит, как он старается папу опозорить, мне становится так плохо. Ну да, конечно, папа многое делает неправильно, но почему именно он, Дмитрий Сергеевич? Почему не кто-нибудь другой?» Она, по-видимому, впервые столкнулась с хрупкостью человеческих отношений. Она страдала за отца, за то, что его выставили к позорному столбу. Она тоже его осуждала за многое, но не отрекалась от него. Настоящая печаль и горечь! Я присел, стараясь ее успокоить. Что и как я говорил — не столь существенно.

Я говорил, может быть, наивно, но искренно. Что-то о возможности взаимного понимания между людьми, даже если они находятся на различных полюсах, гимназическими, непосредственными и наивными словами стараясь внушить бедной девушке всепримиренчество. И она как-то овладела собой. Однако раздался звонок, заседание возобновилось. В перерыве были подсчитаны голоса и оставалось только объявить результаты голосования. Как и ожидалось, огромное большинство высказалось за исключение Василия Васильевича Розанова из Религиозно-философского общества. Дочь Розанова, когда услышала звонок, снова заплакала, вся горечь опять всплыла. «Вот теперь папу окончательно опозорят». Она вдруг схватила мою руку и сказала: «Дайте мне слово, что вы еще к нам придете». «Честное слово, приду», — обещал я. Давать «честное слово» было для меня необычно, но мне хотелось сказать и сделать ей что-то приятное. — «Могу я папе это передать?» — «Конечно». Розанова исключили.

Надо сказать, что я был против исключения Розанова, хотя и не голосовал, так как не был полноправным членом Религиозно-философского общества. Я имел право присутствовать на собраниях без права голоса. В той ночной беседе с Александром Блоком я услышал от него самого, что он голосовал против исключения Розанова, так как был тогда склонен к очень отрицательному отношению к евреям. Я рассказал ему очень подробно о своей встрече с Розановым. Блок необычайно заинтересовался этим. Ему несомненно приятно было слышать, когда я сказал, что тоже был против исключения Розанова, сказал об этом его дочери и, кроме того, дал «честное слово», что приду к ним.

Я уехал к своим недописанным работам в Германию. Началась война, я оказался в германском гражданском плену. А когда я снова вернулся в Россию, все изменилось, а Розанова уже не было в живых. О том, что случилось с ним, пока я был в Германии, я узнал из разных источников, главным образом, от Ольги Дмитриевны Форш. Очень для меня лично важное дополнение к моему рассказу о Розанове я получил неожиданно для себя от самого Розанова, вернее из его статьи, которая попала ко мне случайно. В двух словах: жили мы в то время в голоде и холоде, без отопления и освещения, без средств сообщения. Однажды, когда заседание нашего философского общества затянулось за полночь, Разумник Васильевич, живший в Царском, не имел другой возможности, как переночевать в городе, в квартире своего отца, старшего железнодорожного служащего, погибшего трагически на заготовке дров. Железнодорожные служащие имели право рубить дрова в окрестностях Петербурга, перевозить их в город в специальных открытых вагонах, а потом распределять их между собой. В одну из этих поездок Василий Иванович, отец Разумника, упал с платформы вагона, разбился и, будучи очень слабым и старым, не поправился и умер. Помимо дров в квартире отца было огромное количество и другого топлива для печурки-буржуйки: плотной бумаги,

хорошо нагревавшей, — комплектов «Нового времени», которые Василий Иванович почему-то не выбрасывал, а складывал год за годом в огромные кипы, доходившие уже почти до потолка. Перед тем как их сжигать, Разумник разворачивал каждый номер и просматривал, нет ли там статей Розанова. И если находил, то старательно вырезал и собирал, потому что все, что писал Розанов, было интересно, своеобразно, оригинально, а иногда и мудро. Разумник знал в подробностях о моей встрече с Розановым и полагал, что между Розановым и человеком, который считает себя евреем, ничего общего быть не может. Ночуя этой ночью в квартире своего отца, Разумник по своему обыкновению развернул «Новое время», перед тем как его сжечь и вдруг наткнулся на статью Розанова обо мне.

Это был довольно большой фельетон, в половину страницы «Нового времени», озаглавленный «Тогда все лгали». (Я, может быть, не совсем точно помню его название.) Он был написан через несколько месяцев после окончания процесса, когда я уже был за границей. Василий Васильевич подводил итоги сенсационного процесса Бейлиса в Киеве. Он подчеркивал, что все одинаково лгали тогда: те, кто верил в ритуал и поддерживал обвинение, и те, которые отрицали вину Бейлиса, за исключением двух человек. Один из них, профессор Бартольд, очень известный специалист по исламу (переводы его работ сделаны на несколько языков, главным образом — на французский), искренно верил в ритуал и вину Бейлиса, без всяких побочных мотивов. Другой — молодой сотрудник «Русской мысли» — А.З.Штейнберг, который так же искренне был убежден в том, что это — невозможно. Василий Васильевич в этой статье открыто признавался, что выступал в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское заисие — «еврейское иго». Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго. И чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством. Разумник Васильевич, прочитав статью, очень радовался тому, что покойный Розанов поддержал мой престиж, хотя и сам был уверен, что по природе своей я не способен ко лжи. Очевидно, Розанов как-то почувствовал, что я не глуп, но очень наивен. Сам Розанов был простодушным мудрецом, под стать классическому библейскому Иосифу Прекрасному, который как бы сочетал в себе голубиную кротость и змеиную мудрость. Недаром Василий Васильевич написал замечательное предисловие к первому, полному собранию сочинений Карла Маркса. Он понял, что Маркс — мыслитель, а не просто гуманист. А комментарии к «Великому инквизитору»? Мало кому дано проникнуть в то, что понимал и чувствовал Василий Васильевич Розанов! Он понял мое простодушие и наивность, направившие меня к нему объясняться, а поняв, — признал, что я не лгу, не хитрю. А это такая редкость среди людей, с которыми он общался? Надо сказать, что и Александр Блок тоже самое говорил мне о евреях, которые требовали от него, чтобы он

опровергал обвинение в ритуальных убийствах, хотя сами они отрицали даже свое еврейство.

После исключения из Религиозно-философского общества Розанов, пользовавшийся дурной славой, поселился в Троице-Сергиевой лавре и начал писать свой «Апокалипсис», в котором было обращение к «великому еврейскому народу». Это обращение, скорее всего, было связано с его желанием посмертной славы — «малого бессмертия», желанием сохранить свое литературное наследие. Это было вполне дальновидным шагом, Розанов понимал, что и евреи могут поинтересоваться его посмертной славой. Вскоре после моего возвращения в Россию из Германии была сделана попытка издать произведения Розанова. Человек, который собирался это сделать и которого я мало знал, по словам Блока и Белого, не внушал не только симпатии, но и даже доверия. Это был издатель Гржебин, который, как всякий хитрый предприниматель, решил включить в это собрание лишь работы Розанова с левым уклоном, во избежание придинок к тому Розанову, за которым установилась репутация черносотенца. Гржебин привлек к этому делу Иванова-Разумника и меня. К сожалению, издание не осуществилось. И попытка, сколько я знаю, никогда не повторялась в Советской России.

В конце жизни Розанов очень нуждался и старался как мог обеспечить своих дочерей, которых он так любил. Василий Васильевич был страстным курильщиком. Попав в тяжелое положение, он, как рассказывал мне впоследствии Григорий Рочко, бродил по московским бульварам и подбирал окурки.

Григорий Рочко служил в московском банке и был большим поклонником Василия Васильевича Розанова. Когда появилась, кажется в 13-м году, «Песнь песней» с введением Розанова, Рочко написал ему восторженное письмо, но прибавил, что очень удивлен тем, что Розанов не заметил современности библейской поэзии. Розанов был потрясен критикой неизвестного автора: «Скажите мне, кто вы и чем вы занимаетесь? Вы же поэт, мой дорогой. Напишите и расскажите мне побольше о себе». А «дорогой поэт» ответил Розанову, что он всего-навсего служащий банка. Однако в известном смысле письмо Розанова определило судьбу Григория Рочко. Он стал делить свое время между работой в сфере финансов и литературой. Рочко стал сотрудником «Русских ведомостей» и писал рецензии на поэзию.

В середине двадцатых годов приехала в Берлин Ольга Дмитриевна Форш. Именно она передала мне подробности кончины Розанова в Троице-Сергиевой лавре. Василий Васильевич постепенно терял силы, вероятнее всего, от истощения. Если мои впечатления меня не обманывают, у Василия Васильевича было очень нежное сердце. Он очень любил и жалел своих дочерей. Дочери отвечали ему взаимностью, были чрезвычайно привязаны к нему и благодарны за то, что он отказывался от лишней крошки хлеба, чтобы не обделить их. Перед смертью он захотел

причаститься. Пригласили, кажется, отца Флоренского — философа, который имел духовный сан. Все совершилось, как полагается по православным обрядам, но когда священник ушел и Розанов остался наедине со своей старшей дочерью, он вдруг неожиданно сказал: «Ты думаешь, это все? А я тебе скажу, что после смерти еще покажу вам всем язык!» Умер Розанов в небольшом домике, на втором этаже. По словам Ольги Дмитриевны, дочь его, которая была очень обеспокоена словами отца после причастия и ожидала какой-нибудь антицерковной, антирелигиозной шутки от него, вошла в комнату покойника и приоткрыла лицо его, закрытое простыней. Она в ужасе увидела язык отца, он как будто показывал ей язык. Это произвело на нее такое потрясающее впечатление, что вскоре после похорон Василия Васильевича старшая дочь его покончила жизнь самоубийством. Повесилась.

Я старался узнать о Розанове и от других русских эмигрантов, приехавших за границу, но никто уже больше ничего не знал о нем. Василий Васильевич Розанов — русский Ницше, как его теперь называют, — не умер для потомства. И хотя Розановым в России в настоящее время не занимаются, очень скоро нельзя будет обойти его имени в истории русской литературы и культуры первой четверти настоящего столетия. И, может быть, мы и увидим еще полное собрание сочинений Василия Васильевича Розанова с его многогранностью, причудливыми поворотами, с его изнанкой и всей той глубиной, которая является истинным библейским простодушием.

Два неизвестных письма И.Эренбурга

Аста Григорьевна Пеккер — литературный редактор. Ее многолетняя работа в издательствах «Мистецтво» и «Наукова думка» спускали ей известность среди профессионалов, ценящих ее безупречное чувство языка, бережное отношение к авторскому тексту, эрудицию и интеллигентность.

Но даже проработавшие с ней многие годы сотрудницы не знают, что Аста Григорьевна всю жизнь пишет стихи. Да и как узнать об этом, если сама она никогда не предпринимала попыток хоть как-то обнародовать их?

Впрочем, был в ее жизни момент, когда свойственное каждому поэту желание услышать оценку своему таланту и творчеству стало нестерпимым, и летом 1956 года она отослала свои стихи сразу трем знаменитым поэтам — В.Игбер, К.Симонову и Э.Эренбургу. К созданию, Игбер и Симонов по существу не ответили молодой поэтессе: их литературные секретари ограничились несколькими стандартными словами. Лишь И.Эренбург отозвался кратким, но теплым письмом, в котором дал беглый анализ присланных стихов. Обнадеженная Аста Григорьевна немедленно ответила ему большим письмом с новыми стихами, а также вопросами о жизни. И на этот раз Илья Эренбург не замедлил с ответом. Его письмо начиналось обращением «милая Ася» и содержало более подробный анализ стихов и мысли о судьбах поэтов и их самореализации, весьма актуально звучащие и сегодня.

Исходя из этого, предлагаем вниманию читателей никогда не публиковавшиеся письма И.Эренбурга к А.Пеккер и надеемся, что они будут интересны и любителям литературы, и начинающим поэтам.

№ 1

Москва, 8 сент. 1956 г.

Уважаемая Аста Григорьевна!

Получил и прочитал Ваши стихи и благодарен Вам за доверие. У Вас искреннее влечение к поэзии и мой вам совет — работать над стихами. Стихи, которые Вы прислали, часто страдают поэтической неточностью. Например, стихотворение «Мне иной раз говорят» дидактично. Правильная мысль передана не поэтическим путем. Есть ничего не говорящие сравнения, например: «Я Ленина знала, я с Блоком мечтала».

Есть заимствованная, может быть бессознательно, интонация: «Вы понимаете, Это очень сташно» — это очень напоминает Маяковского. Мне думается, что те стихи, которые Вы прислали, относятся к Вашему подготовительному периоду, к поискам своей формы, которую вы найдете работая.

Желаю Вам успеха И.Эренбург

№ 2

9 января 1957

Милая Ася,
я прочитал Ваши стихи, мне очень хотелось бы Вам помочь советом, но боюсь, снова мои слова Вас не удовлетворят. Как нужно работать? Общего совета нет. Я писал стихи, мне они казались хорошими, а через год я от них отходил и видел, что они плохие, и так со мной было очень долго. Мне слышится, если можно так сказать, почти в каждом Вашем стихотворении поэтическая настроенность и в каждом что-то мешает. Иногда ритмичность — стихи под Новый год. Иногда стертость слов — «клад речи родной», «слово...шлифовать», «венки из сказок» и пр. Иногда неточность «не пряно», «не отпуская куста» (речь идет о ветке). Мне больше других понравилось «Вид на Крещатик». Еще о содержании — очень разрозненные детали восприятия мира, то, что стихотворения маленькие, это хорошо, но в каждом должно быть больше и всех должно быть больше. По письму я вижу, что Вы и любите и понимаете искусство. А как судить? Я в Ваши годы еще себя не нашел, а Лермонтов, Рембо или Шелли создали уже все. Вряд ли стихи должны мешать диссертации. В наше время лучше жить по нескольким линиям, время такое неласковое. Значит — продолжайте писать. Всего Вам доброго.

Ваш И.Эренбург

ВЕЧНОСТЬЮ НАПОЛНЕННЫЙ МИГ...

О киевском художнике Акиме Левиче

Картины киевского живописца Акима Левича странным образом «не похожи» на себя: их загадка кроется в несоответствии того, что изображено, тому, что может быть увидено, а точнее — угадано, почувствовано. На первый взгляд они просты — сюжетны, повествовательны, вырастают из немудреных житейских мотивов: маленькая процессия на осеннем кладбище, покраска старого дома, трамвай на углу узкой улочки... Однако сюжет здесь — только повод, внешний толчок к созданию произведения, он больше скрывает, чем объясняет в картине, где «главными героями» становятся само время, судьба, искусство и художник в бесконечном потоке жизни... И еще живопись — густая, вязкая, изменчивая и подвижная, превращающая полотно в напряженное и самоценное цветовое пространство, способное поглотить и сюжет, и изображение, и переживания автора, перенося все это в иное, чисто художественное измерение, придавая ему иной — образный смысл. Может быть, поэтому эти картины нужно смотреть долго и внимательно, «уходя» в их глубину, прислушиваясь к их негромкому голосу, вглядываясь в их неяркий свет.

Впрочем, недоговоренность, невысказанность, неопределенность составляют, пожалуй, особенность творческой судьбы самого Акима Левича, с одной стороны, уважаемого и признанного мастера в профессиональных киевских кругах, чьи картины и суждения об искусстве вызывают неизменный интерес, с другой — практически неизвестного в Украине художника, о котором до сих пор и написано мало, да и выставок с его участием было совсем недостаточно. И это при очевидности того, что живопись А. Левича занимает в украинском искусстве последних десятилетий особое место. Представитель отечественного «неофициального» искусства 1960–1980-х годов, он, наверное, наиболее ярко отразил психологическое состояние «андерграунда» — творческого подполья, жизни, лишенной возможности открытого свободного самовыражения. В его картинах пересеклись несколько традиционных художественных потоков, отразивших особенности киевского культурного климата. И в этом плане он — один из наиболее киевских художников, сумевший передать само настроение этого города, его причудливую неповторимость. И все же в живописи он развивает свою, собственную, индивидуальную тему, где традиции украинской, российской культуры окрашены его еврейским восприятием мира...

Итак, о художнике. Родился в 1933 году в Каменце-Подольском. Учился в Киеве, сначала в художественной школе, затем — в 1961 году закончил живописный факультет художественного института. Несмотря на исключения из института и трудные возвращения в его стены, которые,

наверное, почти всегда сопровождают учебу творчески независимых художников, его карьера поначалу складывалась прекрасно: студенческая картина «В осажденном городе» (о событиях времен Отечественной войны) имела официальную поддержку, хорошие отзывы в прессе, экспонировалась на выставках. За ней последовали еще несколько работ, написанных в том же распространенном тогда в Украине «лирическом варианте «сурового стиля». Однако одновременно он стал писать совсем другое — ту сложно сгармонизированную, глубокую вибрирующую живопись, которая и определила его путь в искусстве. С конца 1960-х годов его имя перестает появляться на выставках, а сам художник переходит в разряд «неофициальных». За это время живопись А.Левича экспонировалась лишь несколько раз на групповых выставках киевских художников (1985, 1988, 1991 гг.), а также на большой выставке «Украинское искусство 1960–1980-х годов», демонстрировавшейся в Киеве и Оденсе (Дания) в 1990-м. По сути же первая значительная выставка его картин состоялась лишь в 1992 году в Киевском национальном музее украинского искусства. С тех пор было участие еще в двух — групповой в Украинском доме в 1994-м и в выставке еврейских художников «Оттенки» в 1996-м.... С 1960-х годов он иллюстрирует детские книги в издательстве «Веселка», а затем работает художественным редактором известного детского журнала «Малютко», что давало средства к существованию и необходимую в искусстве свободу и независимость. Впрочем, и не только это. С 1960-х годов книжная иллюстрация превратилась в нашем искусстве в своеобразную «экологическую нишу», куда уходили несоцреалистическое художники в поисках творческого выхода. Книжная графика познакомила А.Левича с замечательными писателями, например Григором Тютюнником. Его рисунки к сказкам Г.Тютюнника самим автором были признаны наиболее удачными, тонко передающими характер и стилистику его прозы.

... И все же жизнь художника — это его картины. В них пересекаются личная человеческая судьба и большое историческое время. «Наверное, мне повезло в том, — говорит художник, — что моя юность совпала с хрущевской оттепелью. Этот период был очень коротким, но тот «заряд свободы», который мы тогда ощутили, существенно повлиял не только на многих из нас, но и на все дальнейшее развитие искусства.» Поколение шестидесятников, к которому принадлежит и Аким Левич, традиционно связывают в нашем искусстве с идеей реформаторства, утверждения новых взглядов на жизнь, нового понимания творчества, часто забывая при этом о тесной взаимообусловленности, а потому — относительности, что особенно наглядно проявилось во второй половине XX века. Ведь отгороженное на десятилетия советской идеологической доктриной от мирового художественного процесса «новое», а позднее неофициальное искусство было проникнуто прежде всего идеей возвращения в культуру, как бы заново открывая для себя значение таких традиционных категорий, как творческая индивидуальность, самозаконность искусства, его духовная насыщенность и профессионализм. В тишине мастерских, вдали

от современных музеев и международных выставок, имея очень смутное представление о том, что происходит в большом художественном мире, возникало странное искусство «индивидуальных мифологий», в котором переплетались перипетии личной жизни авторов с неким «метафизическим» пониманием творчества, своими собственными представлениями о нем. Может быть, поэтому главной задачей стало не столько создание нового, сколько восстановление утраченного, прерванных традиций, связей, желание включить свою работу в широкий поток искусства, понять, откуда идешь.

В этом отношении живопись А.Левича во многом продолжает ту камерную, лирическую традицию украинского искусства, которая связана с именами П.Левченко, П.Нилуса, А.Маневича, живописью Т.Яблонской периода ее знаменитой картины «Лен» и написанных для нее многочисленных этюдов... В своих картинах и рисунках Левичу удалось почувствовать некую «пластическую формулу» среднеукраинского пейзажа, такого отличного от русского, белорусского, польского. Передать ту подвижную, густую зеленую массу, в которой «тонут» и земля, и небо, и деревья, и люди, превращая мир в круглящуюся, дышащую живую среду...

В чем же отличимость живописи Левича? Почему его традиционные, сюжетные картины, далекие от формальных поисков модернизма, оказались в опальном стане андерграунда? Они были «другим» искусством, говорившим о другом и по-другому. В его «тихой живописи», обращенной к тонким, потаенным движениям души, сложным переживаниям и хрупким воспоминаниям, часто не поддающимся словесной интерпретации, оживает главная гуманистическая традиция отечественной культуры с ее вниманием к жизни во всех ее проявлениях, с любовью и уважением к простому человеку, озаряющему повседневность светом своей индивидуальности.

Эта тема особенно близка художнику еще и потому, что внутренне смыкается с одной из важнейших, по его мнению, тем — еврейством, исповедующим ценность каждой жизни, важность каждого личного опыта, значительность каждого человека, ведь «пока жив я — жив мой народ». Демократическое доверие к жизни, способность увидеть глубокий смысл в самых простых и обыденных ситуациях соединяется тут с той «личной гордыней», которая и дает силы человеку сохранить свою индивидуальность несмотря ни на что. Неповторимая трагическая судьба еврейского народа высвечивается через одну маленькую жизнь, сохраняя в себе вечный еврейский миф со всеми его «началами и концами», через бесконечно малое — человека, открывая выход в бесконечно большое — Время...

«Наверное, я всегда был еврейским художником, — говорит Аким Левич, — хотя понимание этого пришло не сразу, может быть, только теперь, с возрастом, когда стало важным осознание своих корней, своей причастности к национальной традиции, всему тому, что живет в человеке подсознательно, проявляясь через очень тонкие, порой почти неосо-

знанные, неформулируемые черты». В его живописи нет внешних примет «еврейской темы», в ней живет большее — национальный дух, то мироощущение, из которого и складывается особая еврейская модель мировидения.

Известный религиозный мыслитель нашего времени Мартин Бубер выделял три основные идеи еврейства, на которых «держится» национальное самосознание — это цельность, действие, будущее. Из них Левичу, пожалуй, наиболее близки две: цельность, как связь всего сущего, и будущее, как особое чувство времени, объединяющее пространства и явления. Характерно, что его работы почти не воспроизводимы, репродукция не может передать их глубины, сложной пульсирующей подвижности, мягкой тональной гармонии. Левич пишет среду, поглощающую предметы, не фиксирует отдельные зрительные впечатления, а наращивает свои холсты как некое органическое целое, где особенно важным становится «фактор времени», тот «вечностью заполненный миг», как любит повторять художник, который придает им бесконечную протяженность.

...Наиболее драматичными в творчестве художника стали «черные холсты» середины 1960-х годов: «Большая собака», «Слепой», «Беседа». На них почти ничего не видно, кроме густой, вязкой, засасывающей цветовой массы. Лишь после долгого и внимательного всматривания можно различить отдельные осторожно передвигающиеся во тьме фигуры. Их можно интерпретировать как реакцию художника на изменившийся социально-психологический климат в стране, когда после краткой «оттепели» наступили годы безнадежного «застоя», или как отражение внутренних творческих проблем самого художника, однако их трагическая притчевость делает их образный смысл намного шире, раскрывая драму затерянности человека в «трудные» исторические времена...

«Сама ситуация «подполья» особенная, — рассказывает А.Левич. — Здесь время не меняется, оно движется где-то там, наверху, а здесь будто остановилось. Возникает, как ни странно, возможность полной свободы, независимости от всякого рода конъюнктурных колебаний, моды, заказчиков. Может быть, поэтому нас интересовало в искусстве нечто стабильное, неизменное. Важно было протянуть связь с вечностью, ощутить себя ростком на дереве культуры...» Действительно, украинский андерграунд не был авангардом, его художники не стремились переделать мир или предложить ему новые, небывалые эстетические идеи. Их волновало совсем другое, как напишет позднее искусствовед А.Якимович, «выживание искусства как такового в условиях тотального и brutального наступления на все этические, эстетические и социальные ценности.»

Здесь снова вспоминается Мартин Бубер: «Наиболее присущей евреям формой художественного выражения является специфически временное искусство —...и связь поколений для нас более важный жизненный принцип, чем вкус к современности».

Так в творчестве Левича появляются «библейские мотивы» — «Поучение», «Диспут», «Иов», «Проповедь» и др. Хотя название «библейские»

здесь довольно условное. Художник не иллюстрирует Книгу книг, не использует напрямую ее сюжеты. Для него Библия является прежде всего хранилищем огромного опыта человечества, тех архетипов бытия и сознания, которые лежат в основе человеческого существования.

В картинах Левича ощутим некий двойной взгляд — изнутри и снаружи, будто художник одновременно и растворяется в своей живописи и смотрит на нее, а вместе с ней и на все происходящее отстраненно, со стороны. Может быть, поэтому в них нет всплесков эмоций или определенного настроения. В них живет широкое мудрое и чуть ироничное восприятие жизни, умение находить смысл и значимость во всех, даже самых безнадежных или обыденных обстоятельствах...

К середине 1970-х годов живописная система художника складывается окончательно. Он приходит к тем сюжетам, над которыми будет потом работать годами, вновь и вновь возвращаясь к найденной теме, раскрывая в ней новое звучание, интонации, повороты. Таковы его «Гость», «Дом на углу», «Осень», уже упоминавшиеся «Трамвайчик», «Киевские похороны», «Маляры». Над своими картинами он работает подолгу, создавая каждую как целостный законченный мир, а потому предельно насыщая ее эмоционально и пластически.

... В 1991 году в его творческой жизни произошло значительное событие, по иному раскрывающее возможности его искусства. Аким Левич стал автором скульптурных рельефов киевской Меноры — памятного знака, установленного на месте трагедии в Бабьем Яру (архитектор Ю.Паскевич, художник А.Левич, инженер Б.Гиллер).

Идея памятника принадлежит Юрию Паскевичу, по его замыслу память Бабьего Яра как общенациональной трагедии еврейского народа должна была быть увековечена древним национальным символом, прошедшим через века и поколения и несущим в себе неумирающий образ — вечного древа жизни... Работая над формой Меноры, архитектор отказался от ее традиционных деталей: цветов и завязей, изображения птиц, зверей, плодов и звезд. Киевская Менора суховато геометрична, предельно проста — это светильник, зажженный в час скорби.

На его ветвях А.Левич разместил свои рельефы — «Шествие» и «Жертвоприношение Авраама». И здесь оказалось, что подвижная, текучая пластика его живописи может быть монументальной, может трансформироваться в бронзовый рельеф, приобретая новое звучание и смысл. Рельеф превращает строгую форму Меноры в некий сосуд, наполненный жизнью, которую можно прервать, но нельзя уничтожить. В трактовке художника еврейский миф раскрывается заново, в своем трагическом и жизнеутверждающем содержании...

На фоне современного искусства с его тотальной переоценкой исторического прошлого, парадоксальностью художественного языка и неожиданностью формы высказывания, творчество Акима Левича звучит, пожалуй, по-настоящему классично. В нем сохраняется стремление преодолеть разорванность культуры, связать ее оборванные нити. И тут

известная еврейская отзывчивость к «другому» становится неким проводником украинских, российских художественных традиций. «Тихая живопись» Акима Левича есть, наверное, тем «негромким голосом человека», который только и способен преодолеть изменчивые шумы времени, сохраняя в нем вечные ценности — достоинство, красоту и надежду.

Галина Скляренко

Поучение





Дом на углу



Проводы бабушки

Пейзаж





ХУДОЖНИК БОРИС ЛЕКАРЬ

О художнике Борисе Лекаре нужно сказать сразу и решительно: он очень хороший человек. Сказать без какого-либо «извиняющегося» подтекста — дескать, художник так себе, зато человек хороший.

Я не физиономист, не умею определить человека по чертам лица. Что ж лицо? Лица, знаете ли, бывают разные (у Бориса — доброе лицо доброго человека), но для меня чрезвычайно сообщителен человеческий голос, звучащая речь во всех ее измерениях — тембр, громкость, интонирование, особенности артикуляции и прочее. Слушая деликатную, как бы на мягких лапах ступающую речь Бориса Лекаря, я отчетливо понимаю, что в этом голосе просто нет ресурсов ни для грубости, ни для пошлости. В каждой интонации проговаривается его изящное душевное устройство, та утонченность, которую принято называть чеховской. В этом смысле художник похож на свое искусство.

Помню его застенчивые самоироничные реплики, когда я с недоумением показал ему несколько строчек в киевской газете: там сообщалось, что киевлянин Б.Лекарь награжден медалью за спасение утопающего. Какой-то растяпа из рыбаков-подледников (потенциальных самоубийц) провалился под лед и, погибая, обещал все отдать тому, кто поможет. Помог Борис, разумеется, одной улыбкой отделавшись от обещанной автомашины. Но самое замечательное, что никто, даже ближайшие друзья, не знали о его ледяной купели, только слыхали, что Борис долго лечился от радикулита. Нормальный поступок нормального человека, но Борис, конечно, не произносил ритуальную фразу о том, что на его месте так поступил бы любой: в его голосе нет ресурсов для пошлости.

Все знают, что такое хороший человек, пока не задумываются над этим (как Августин знал, что такое время, пока не задумался!). Но едва попробуешь определить, облечь в слова это несомненно реальное понятие, немедленно убедишься: в слова оно не укладывается, любое определение оказывается бедным, ущербным, недостаточным. А вот так, просто: «хороший человек» — понятно всем.

Сказать же о Борисе Лекаре «хороший художник» — это и слишком много, и слишком мало одновременно. Слишком много, потому что после такой характеристики вроде бы и говорить уже не о чем. Слишком мало, поскольку хороший художник раскрывает нам с уникальным мастерством свое уникальное мировидение, а вот именно об этом в похвале — ни слова. Между мастерством Бориса Лекаря и его мировидением существует таинственная, но непререкаемая связь.

Хороший человек живет под двойным гнетом: радостным гнетом красоты подаренного нам мира и горестным гнетом его несовершенства. А если хороший человек еще и художник, хороший художник... Тогда описанное противоречие бытия становится темой — не темой рисунка или холста, а темой искусства, то есть жизни художника. Из змеинных объятий этого противоречия Борис Лекарь выпутывается мощными усилиями, как Лаокоон. На его картонах и полотнах — безоглядное любование материальностью нашего мира — и одновременно отчаянное противостояние этой материальности во имя сокровенного духовного смысла, преодоление косности материи во имя сияния добра.

Для художника Бориса Лекаря весь зримый мир, сохраняя единство, отчетливо разделен на материальные предметы и заключенную в них духовность. К материальности он относится скептически («средство доставки»), в духовность он влюблен. Его акварели, гуаши, пастели, живописные холсты запечатлевают гибельное для материи превращение ее в духовную энергию. Перед нами какой-то странный художественный спиритуализм: духовность, заключенная по убеждению художника во всем, вырывается наружу, рассеивая предметную оболочку.

Легкими, легчайшими акварельными мазками он непрерывно, с настойчивостью барбизонца, запечатлевал киевские пейзажи в окрестностях своего дома, закаты и рассветы, времена года, мгновенные перепады освещения, и вода, в которую он окунал свои кисточки, смешиваясь с водой изображенного Днепра или дождя, размывала сиюминутную предметность, открывая в ней какие-то глубинные добрые (вечные?) смыслы. В серии киевских акварелей он в неслыханной степени ослабил цвет, так, что с десяти шагов казалось, будто на них ничего не изображено, а с пяти — изображено нечто, и только приблизившись к ним вплотную можно было разглядеть сюжет пейзажа. Более того — вблизи они производили впечатление яркой цветности, потому что, ослабив цвета, художник сохранил их соотношенность. Так одну и ту же музыкальную фразу можно сыграть в разных октавах и, уходя влево или вправо, выйти за пределы клавиатуры и даже за пределы человеческого слуха. Но там, за пределами, в зоне неслышания, соотношение нот будет, по-видимому, тем же... Выводя изображение на грань (почти за грань) человеческого зрения, Борис Лекарь боролся с материальностью во имя ее же духовности.

Кисть Бориса Лекаря уместно сравнить со скальпелем нейрохирурга — она работает на микроуровне. Тончайшими прикосновениями, «перстами, легкими, как сон», говоря словами поэта, эта кисть извлекает из атомов краски их лучащуюся энергию, превращая материю в свет. Та банальная истина, что никакая репродукция не может заменить оригинал, по отношению к Лекарю становится едва ли не трагической: самая изощренная современная полиграфия не в силах передать деликатнейшие — на грани исчезновения! — тона и нюансы его живописи. Она обречена на нерепродуцируемость. В печати возможны лишь самые «материаль-

ные», то есть в этом случае — периферийные вещи художника. Его холсты и картонные уникальны еще и в том смысле, что подаются обозрению только в экспонируемом оригинале. Тиражировать их репродукцией так же невозможно, как, скажем, разливать свет по бутылкам.

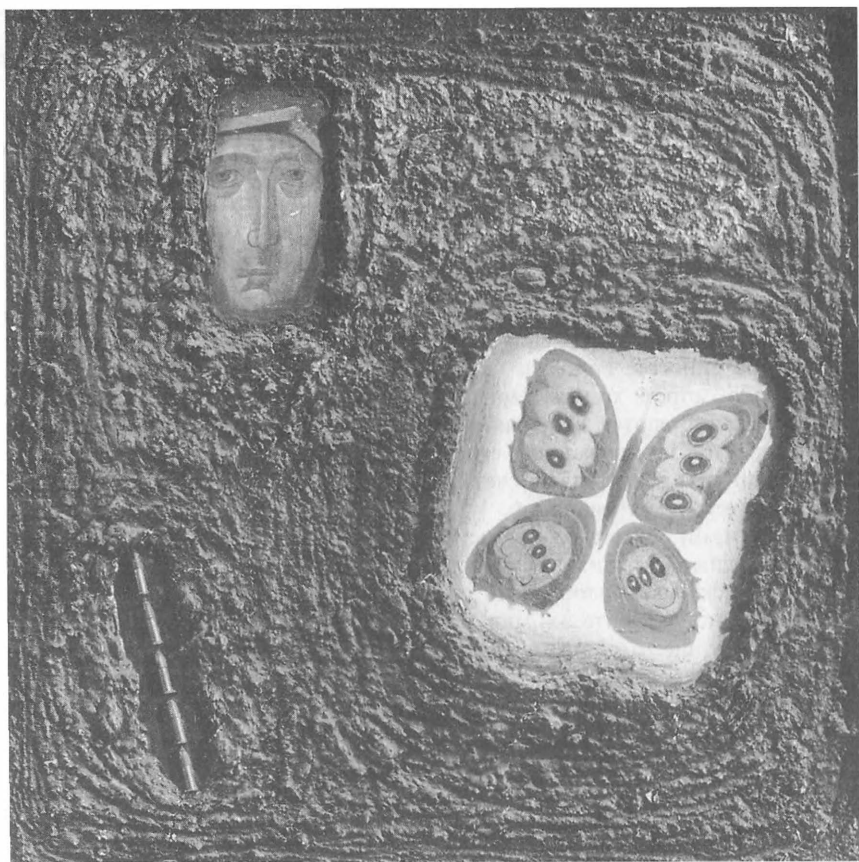
Став израильским художником, Борис Лекарь не перестал быть самим собой. Изменился окружающий художника мир (и по израильским вещам Бориса Лекаря чувствуется, что этот мир ему нравится), но художник... Художник изменился, но не изменил. Как всякий настоящий художник, он обречен самому себе. Экспонировавшаяся в Киеве серия его «Израильских пейзажей» убедительно подтвердила единство и целостность художника в мастерстве и мировидении.

Нужно пристально взглянуть в эти большие пастельные картонки, чтобы различить изображенную на них предметность. Силуэты и элементы декора синагог, обломки колоннады античных времен, современная автострада, море и холмы Израйля истаивают на этих пастелях в некоем мареве, растворяются в осяянном пространстве, как сахар в чаю. Вернее — предмет и окружающее его пространство растворяются друг в друге, излучая при этом теплый свет смысла. Борис Лекарь — вдохновенный запечатлитель этих эманаций.

По сути, он решает задачу, неразрешимую для художника — по крайней мере, для художника, остающегося в пределах миметического, фигурального искусства: изобразить мир чистой духовности. Потому что художнику такой ориентации мир дан только как непосредственно зримый, то есть, в конце концов, предметный, вещный, материальный. Все же Борис Лекарь настаивает — он, подобно Метерлинку (помните «Синюю птицу?»), выводит на сцену своих полотен не хлеб, но «душу хлеба», не сахар, но «душу сахара», не воду, но «душу воды». Его «Израильские пейзажи» — это, конечно, душа Израйля.

Каждый, кто хоть однажды посетил Эрец Исраэль, подтвердит соответствие пейзажей Бориса Лекаря натуре — и в конкретных деталях, но, главное, в том ощущении пронизанности голубым и желтым светом, которое Андрей Белый (совсем по другому поводу) назвал «золотом в лазури». Неразрешимые задачи — неразрешимы, но, пытаясь решить их, мастер по дороге совершает художественные открытия.

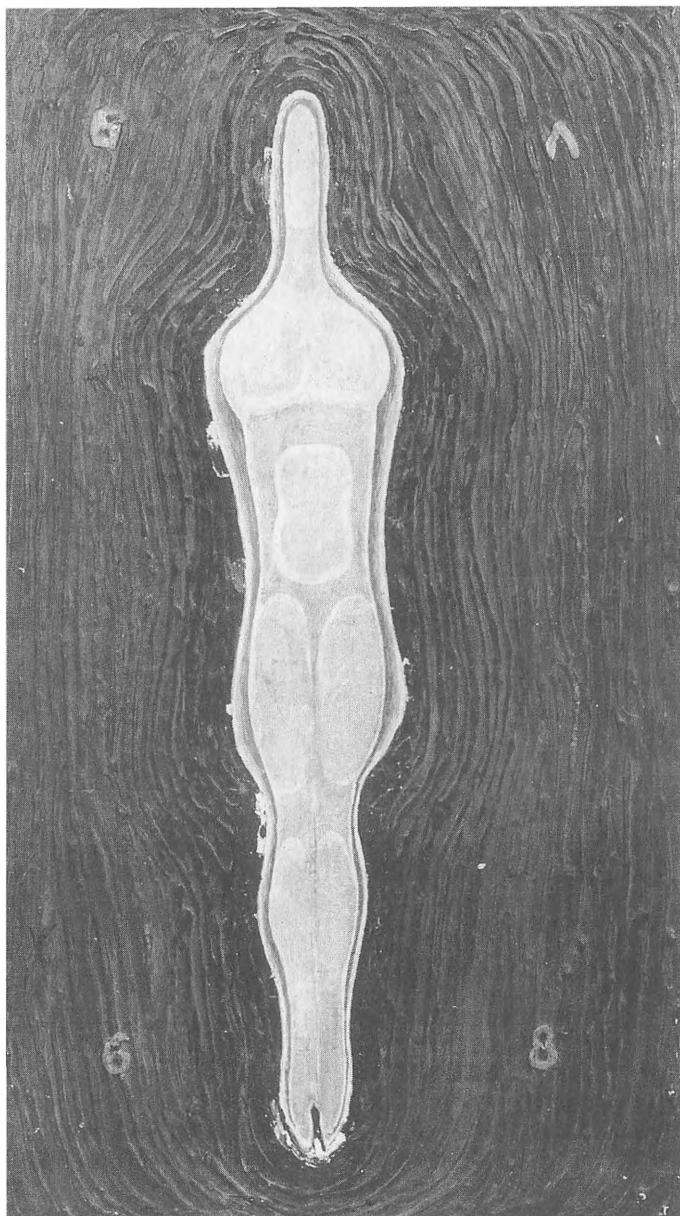
Оказывается, в тех работах Бориса Лекаря, которые мне не довелось видеть, осуществляется все тот же описанный в этой заметке закон преодоления материальности во имя высвобождения высоких духовных энергий. Высокоопытный и проницательный искусствовед Григорий Островский пишет по этому поводу: «В полотнах из цикла «Израильские древности» памятники археологии как бы выплывают из глубин безграничного и очень насыщенного пространства, воспринимаемого живописной метафорой пространства исторического... В акварельной серии «Земля Израйля в координатах X—Y» присутствует та же сверхзадача, и реализуется она в очень своеобразных, едва ли не монохромных, испол-



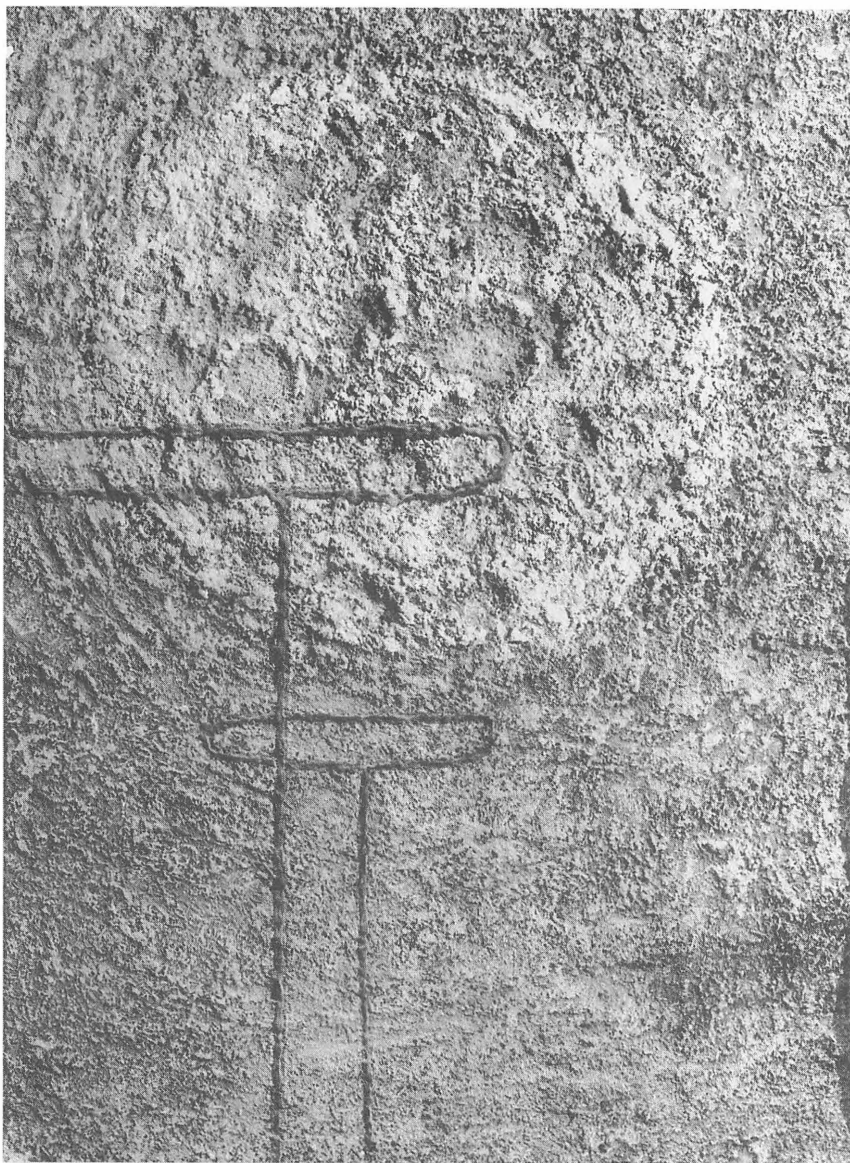
Три начала

ненных в одной тональности ландшафтах Израиля. В песчаном мареве возникают далекие миражи, видения, в едва различимых контурах зритель опознает стены и башни древнего Иерусалима, воды Кинерета и Мертвого моря, холмы Цфата, пустыни Негева...» («Вести», Иерусалим, 1997, апрель).

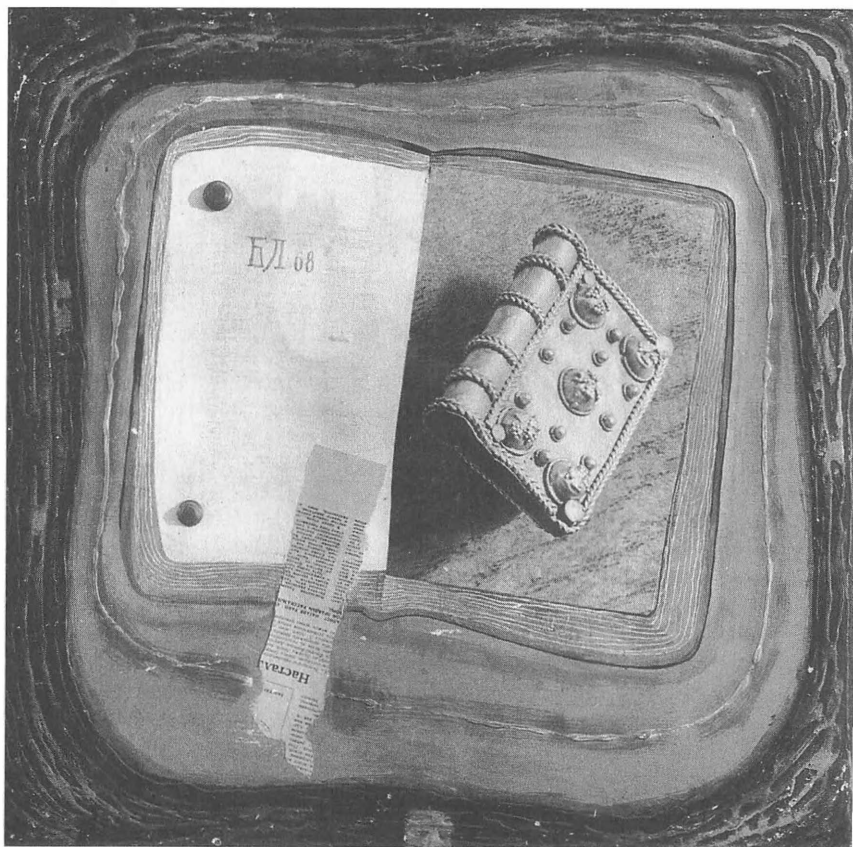
Помнится, в киевских работах Бориса Лекаря, например, в его портретной серии (холст, масло) было то же самое. Выразителен уже сам по себе духовный ореол портретируемых персонажей — Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха или Януша Корчака, но на портретах зритель видел



Человек

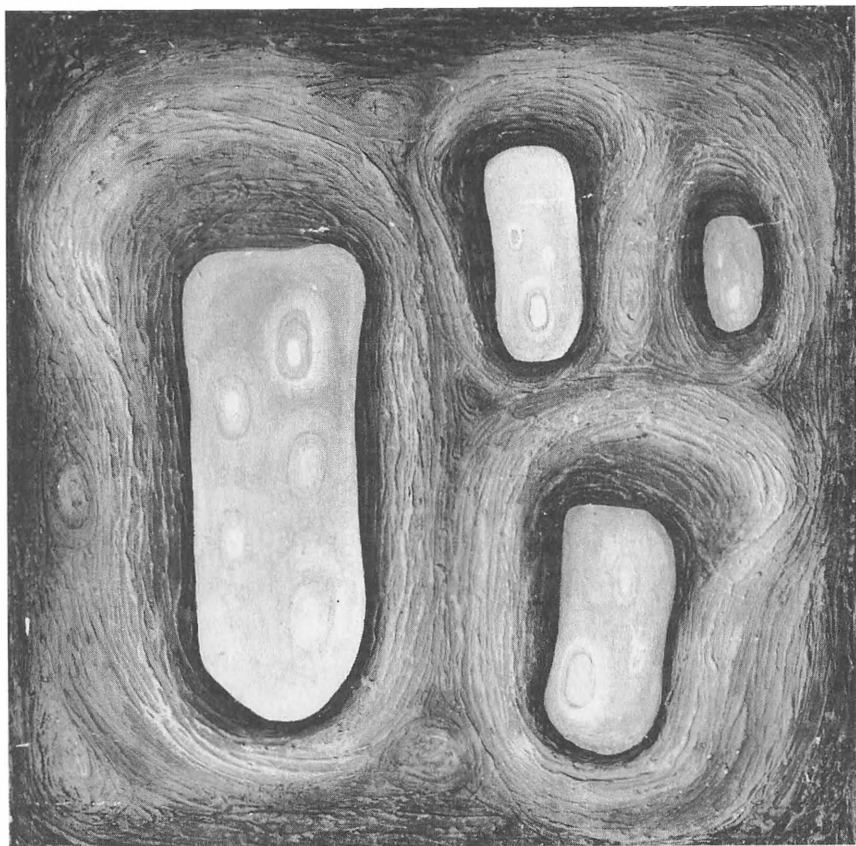


Вселенная



Нераскрываемые книги

скорее этот ореол, нежели облик — при несомненном сходстве и характерности. Ни lystивый салонный, ни бытовой «документальный» портрет у Бориса Лекаря невозможен, и портреты друзей — например, Л.Финберга и Е.Финберг — по принципам и манере изображения ничем не отличаются от портретов Баха и Корчака. Подобно тому, как на фотографии, снятой не в световых, а в тепловых лучах, доминируют самые разогретые точки натуры, на портретах Бориса Лекаря лица предстают в тепловых лучах светящейся духовности, в преодолении материальности.

*Зима*

Можно истолковать эту постоянную борьбу с материей за духовность, взывая к так называемой национальной ментальности. Иудейская религиозная традиция на протяжении нескольких тысячелетий накладывала запрет на изображения известного рода: не сотвори себе кумира. Вырвавшись в эмансипированное изобразительное искусство, еврейские художники (с конца прошлого — начала нынешнего, XX века) начали изображать мир, прибегая к разного рода деструкциям, словно бы пытаясь уйти от запрета, но все же испытывая его давление. Но вот вопрос: сложилась



Стена



Молочная кухня



Натюрморт с ножом



Фашистик

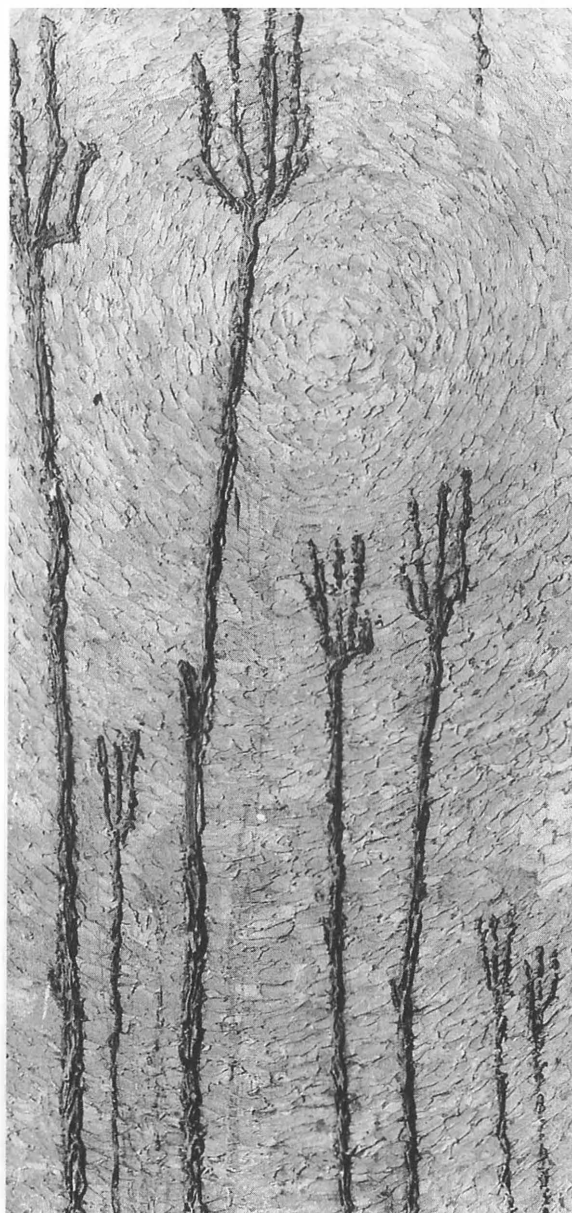
Можно истолковать эту постоянную борьбу с материей за духовность, взывая к так называемой национальной ментальности. Иудейская религиозная традиция на протяжении нескольких тысячелетий накладывала запрет на изображения известного рода: не сотвори себе кумира. Вырвавшись в эмансипированное изобразительное искусство, еврейские художники (с конца прошлого — начала нынешнего, XX века) начали изображать мир, прибегая к разного рода деструкциям, словно бы пытаясь уйти от запрета, но все же испытывая его давление. Но вот вопрос: сложилась ли пресловутая еврейская ментальность в результате столь долго действовавшего запрета — или сам запрет был порождением еврейской ментальности? Ответ известен разве что одному только Богу, но, воспроизводя зримый мир, Борис Лекарь действительно и «создает», и в то же время «не создает» кумира.

Странный дуализм материального и духовного у Бориса Лекаря может быть истолкован и социальными обстоятельствами, конкретными обстоятельствами советского бытия, окружавшего художника вплоть до его отъезда. Уж очень жестоко реален был материальный облик этого мира, уж куда как грубо он наваливался на художника своей тяжелой смердящей тушей, уж слишком глубоко в подполье была загнана выстрадавшая художником духовность. Защищая ее, он мог сделать духовное начало доминантой своего художественного мира, придав духовности несвойственный ей статус видимости. Это, быть может, было «внутренним» диссидансом или даже резистансом Бориса Лекаря. У художников его поколения социальное против- и само-стояние проявлялись по-разному, у него — вот так.

Когда киевлянин идет от Софийской площади к фуникулеру, по правую руку от него тянется сквер, нарезанный на ломтики улочками, убегающими вниз, к площади Независимости. Каждый из ломтиков украшен памятником старины: на гранитных подиумах — Световид и Водолей, скифские вены и капители колонн из черниговской церкви. Это Борис Лекарь, художник и архитектор-малоформист (вместе с художником и архитектором Михаилом Щиголем) много лет тому назад снял со скверов ограду и поставил для нас напоминания о нашей старине, превратив улицу в некое подобие исторического бульвара.

И тогда открылось, что тротуар, по которому мы идем, некогда был дорожкой, соединявшей ворота Софиевской колокольни с воротами Михайловского Златоверхого монастыря. Из храма, чудом сохранившегося, в храм разрушенный, трагически несуществующий. Прочертив эту дорожку, Лекарь-архитектор сделал то же самое, что делает Лекарь-художник: вывел на поверхность духовную сущность предметного мира.

Мирон Петровский



Моление о спасении

ДУХ ЖИВЕТ, ГДЕ ХОЧЕТ

I



Явление поразительное. Имя почти неизвестное.

У Милы Гохман была в Киеве только одна выставка, вызвавшая — при всем несовершенстве экспозиционной техники — незабываемую потрясенность у всех, кто ее видел.

О Миле Гохман не было отзывов в прессе, но первая же посвященная ей публикация — после двадцати лет труда! — появилась в едва ли не лучшем, самом культурном тогдашнем журнале «Декоративное искусство СССР» (ДИ) и принадлежала перу замеча-

тельного московского искусствоведа Ирины Уваровой.

У Милы Гохман нет специального художественного образования, как нет и официального свидетельства о принадлежности к художническому цеху, но ее талант уникален, техника безупречна, профессионализм несомненен. Она художник милостью Божьей, а эта инстанция, как известно, справок и дипломов не выдает.

Так что все эти анкетные «нет», «не был», «не привлекался» свидетельствуют не столько о художнике, сколько об отсутствии эстетической составляющей в нашем общественном мнении (вообще полусуществующем), о лени и нелюбопытстве, о косной неподвижности художественной критики, о культурной инертности города и хорошо сохранившейся специфике тех общественных и государственных институтов, которым надлежит (надлежало бы!) взращивать, поддерживать и охранять талант.

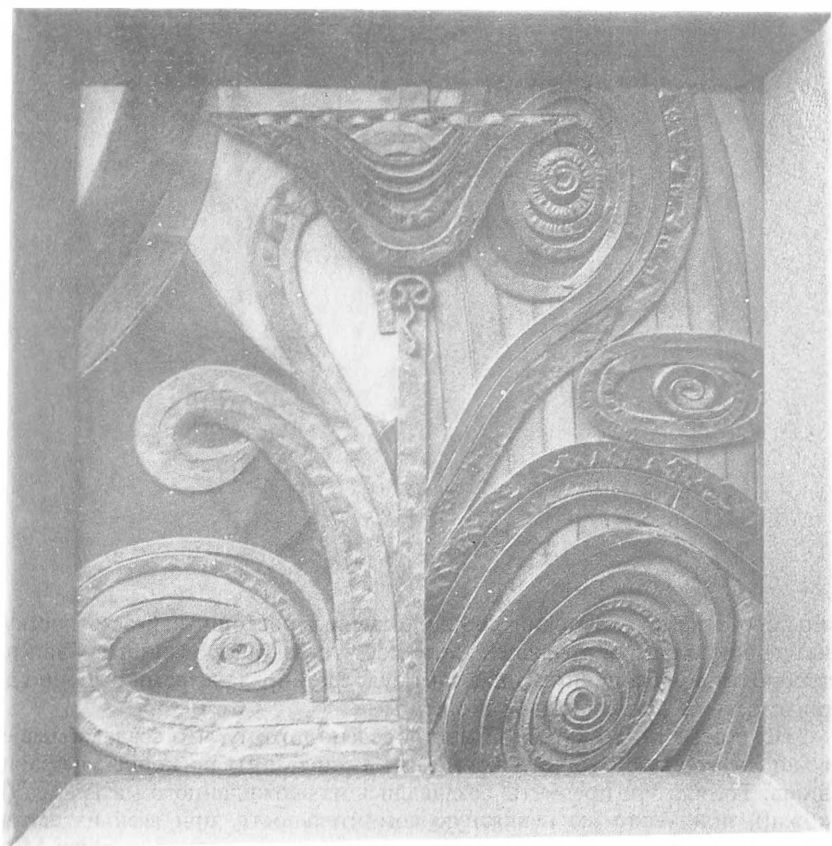
Мила Гохман — художник в совершенно определенном смысле советский. Или, вернее, так: она — художник «советский». Ровно настолько, насколько сопротивление массивной советской повседневности определило ее человеческую и художническую судьбу. Подобное сопротивление

* Статья писалась незадолго до открытия выставки в музее Т.Г.Шевченко (сентябрь, 1993 г.) — четыре года назад. Этим и объясняется ее разомкнутость и с проблемами нашего сложного времени, и с нынешними реалиями творческой (да и не только) биографии самой Милы Гохман.

как способ самоопределения, формирования и сохранения личности — в самых парадоксальных формах — характерно для советского искусства. Но оппозиция Милы Гохман — даже на разнообразно насыщенном «сопротивленческом» фоне — выглядит неожиданной.

При некотором воображении можно представить себе советского Ван Гога с яростной, отчаянной эстетической экстремой. Советского Хоггарта, яркими мазками клейящего тусклый быт. Советского Пикассо, сбежавшего от унылых стереотипов в беспредел интеллектуального эксперимента...

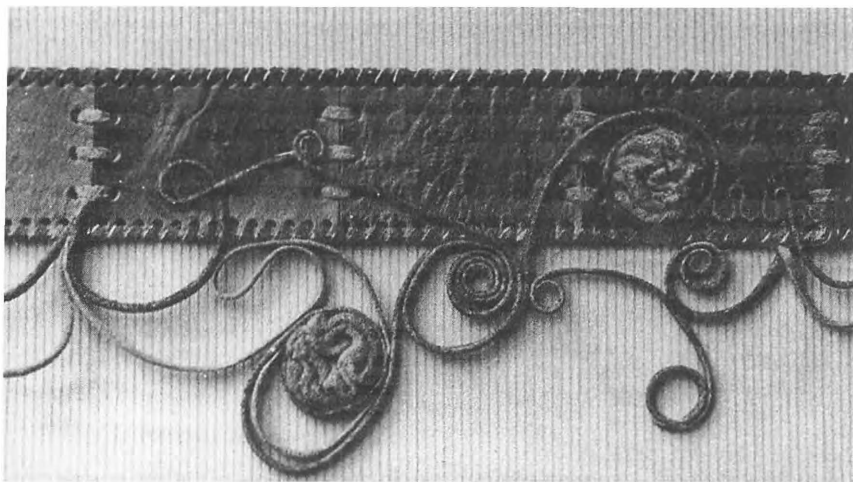
Но вот советского Фаберже, даже если его материал не серебро, золото и платина, представить почти невозможно. Для шедевров Фаберже нужна безупречная эстетическая среда на самых верхах общественной иерархии. Шедевры Фаберже — неизбежный результат высокого соци-





ального заказа. Советский социум отменил роскошь как эстетическую категорию, оставив правящей элите кое-что из наворованного. Свои потребности в роскоши правящая элита удовлетворяла вещами рыночно дорогими, а не эстетически драгоценными.

Искусство Милы Гохман было обречено потому, что создаваемые ею вещи ни в какую рубрику, кроме как в «предметы роскоши», не зачислишь. То, что эти предметы создавались из неожиданного материала (из кожи!), придавало им невнятную сомнительность, при всей их эстетической несомненности. Удивительные панно и украшения из кожи Мила

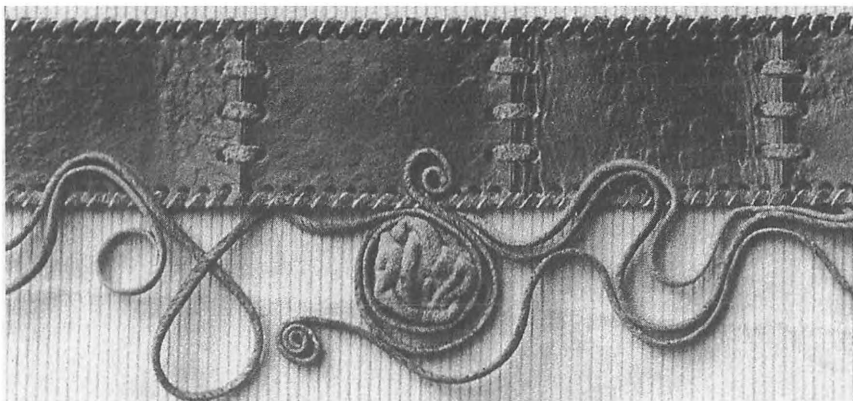


Гохман начала и продолжала создавать в стране, где художественно развитый индивид обитал в тесноте коммуналки или, в лучшем случае, «хрущобы», под нависшими сталактитами книжных полок, а жизнь элитарных, социально облагодетельствованных слоев напоминала благоустроенный приют со слишком жирным супом. Шедевры прикладного искусства оказывались вне адекватного и достойного приложения.

Не было ни социальной, ни эстетической среды, с которой сопрягались бы причудливые Милины украшения. Кожаные кольца и браслеты, пояса и броши повисали в отстранении бездушья. Поразительное, невероятное сочетание слов «трагическое ювелирное искусство» (попробуйте вообразить «трагический браслет» или, скажем, «трагическую диадему»!) становилось реальностью.

Судьбу украшений Милы Гохман разделили и ее станковые работы из того же материала — причудливые напластования кожи с мучительно точным колоритом, с напряженной энергией извива.

В станковых работах Милы Гохман необычный материал сохраняет свою органику, верность своей природе и — одновременно — растворяется в сверхзадаче, становясь адекватом живописного или акварельного мазка. Кстати, именно со станковых работ начинался творческий поиск художника. И эта инверсия, эта рокировка все возвращает на свои места. У истоков искусства Милы Гохман обнаруживается истинно художнический (не прикладнический) импульс. А абстрактная природа «полотен» из кожи оказывается уже не эстетической игрой прикладника (пусть бесконечно талантливого), но рожденной и запечатленной внутренней мыслью, воплощением внутренней концепции. Так соблюдается иерархия. Юве-

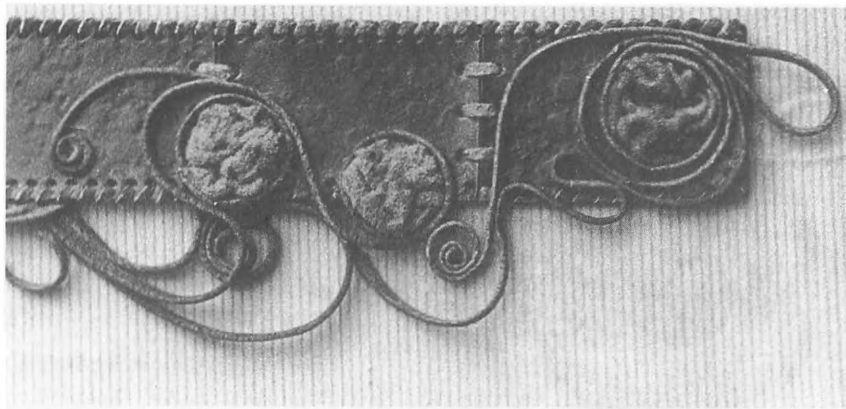


лирные изделия — продолжение технологии станковых работ, концентрированный результат все той же, что и в станковых произведениях, творческой и мыслительной воли.

Нельзя сказать, что на пути Милы Гохман никогда не возникало специфическое советское меценатство. Учреждения культуры с суетной поспешностью иногда все же предлагали долгожданный «социальный заказ». Атмосфера подобных контактов достаточно быстро насыщалась необязательностью, приблизительностью, размытостью. Необходимый материал заменялся другим — тем, что подешевле и под рукой, сроки передвигались, художнику предлагалась капитуляция, на языке людей служивых именуемая почему-то компромиссом. Но в суровом, жестко выверенном мире Милы Гохман компромиссу не было места. Доброжелательные (даже смелые!) чиновники попадали в ситуацию гоголевского Акакия Акакиевича, вознамерившегося в безумном бреду заказать фрак у Ив-Сен-Лора́на.

Предметы роскоши диктуют свою внутреннюю технологию: в них содержится установка на неотменимое техническое совершенство. Они по собственной непреложной логике всегда часть целостной, единой цивилизации избытка, самодостаточного изощрения, самодовлеющих задач. Нужно было восполнить отсутствие этого органичного целого. И Мила

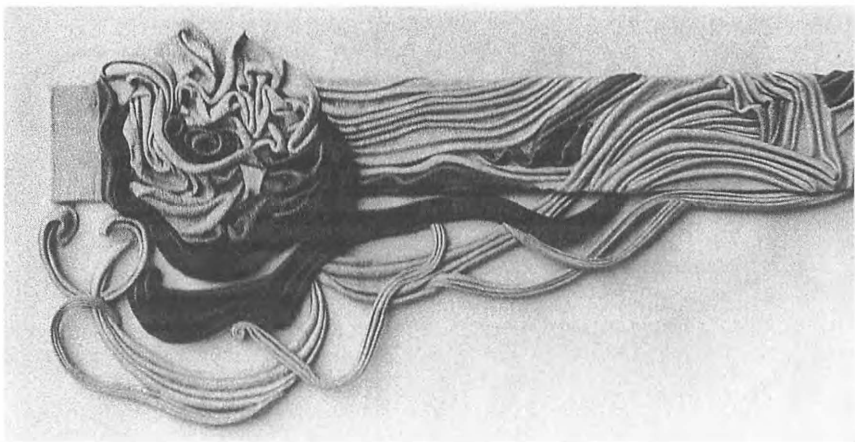




Гохман создала такую цивилизацию сама — в противовес убожеству своего социума. Ублюдочному несовершенству советского бытия она противопоставила свой перфекционизм — неумную жажду совершенства.

Не опирающееся на социальную среду прикладное искусство Милы Гохман с необходимостью превращалось в искусство станковое, более того — стендовое, но кто скажет, кто укажет, где тот стенд, готовый принять для экспозиции живопись из кожи, графику из кожи, скульптуру из кожи, ювелирные изделия — из кожи опять-таки? Прикладное искусство такого рода в такой ситуации приобретает черты едва ли не мистические. Противостояние Милы Гохман советской системе не было ни в коей мере политическим. Несмотря на полное отсутствие в ее творчестве политических мотивов (и даже априорную невозможность таких мотивов), Мила Гохман противостояла системе куда основательней, нежели авторы популярных пасквилей и трактатов, потому что избрала оппозицию иного уровня и смысла — оппозицию духовную. На первый взгляд, не без черт художнической наивности... Но только на первый взгляд. В условиях советского бытия, когда принципы соцреализма предписывались худож-

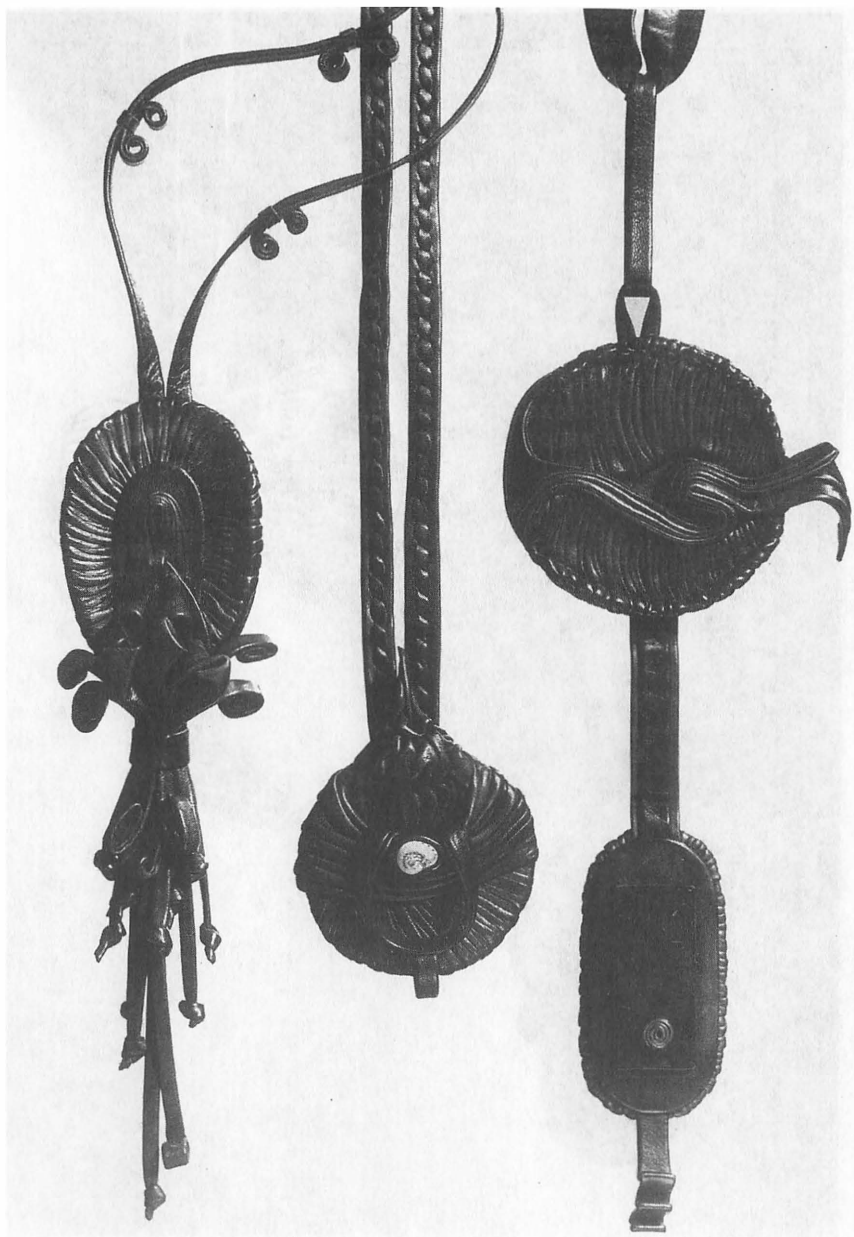


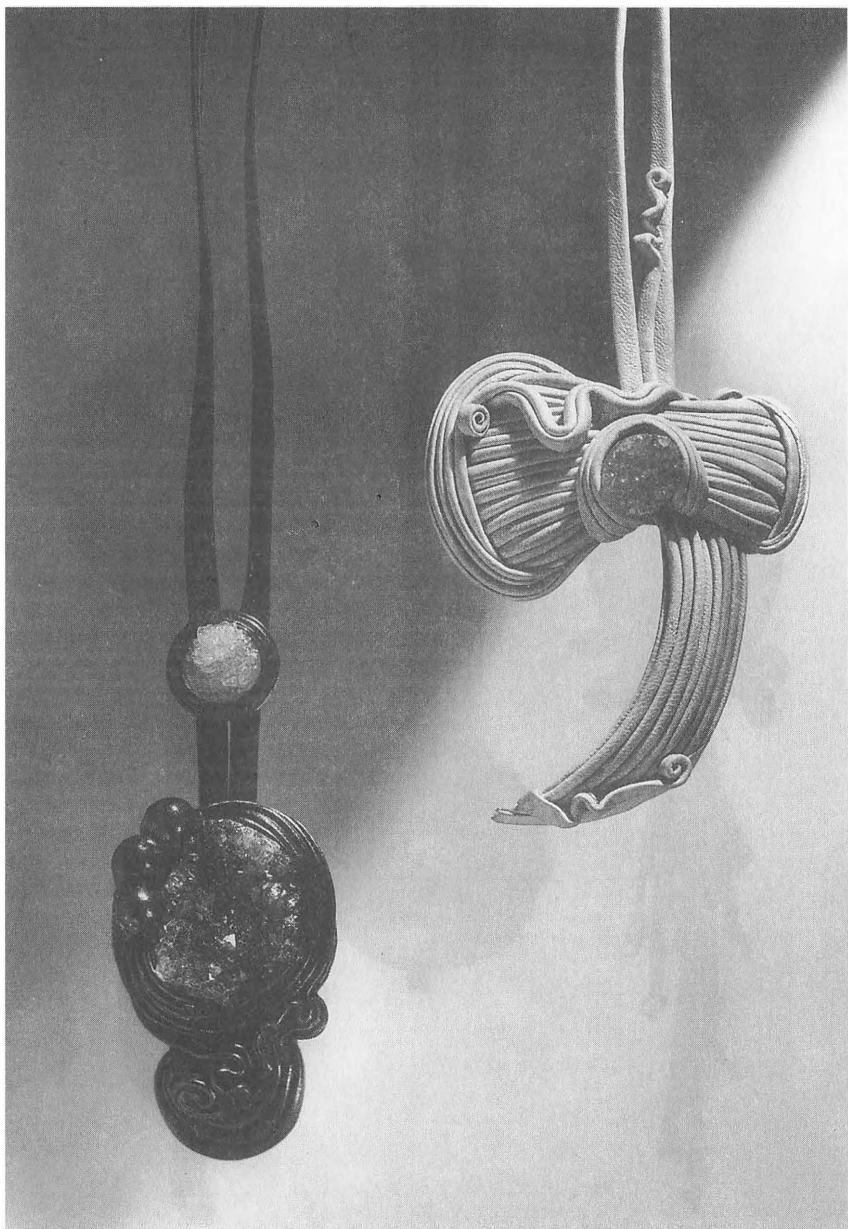


нику, как паспортный режим, одни только названия Милиных станковых работ — «Око Вселенной», «Симфония», «Сферы»... — должны были выглядеть криминалом. Философская абстракция, далекая от сюжетности и предметного прагматизма — это был выбор, определенный и сознательный, требующий мужества, дерзости и упорной силы.

Прикладное искусство, не ориентированное на определенную социальную среду, — своего рода эстетический нонсенс, если полагать, что эстетический объект существует только в одном времени. Оказавшись без опоры на социальную среду, прикладное искусство Милы Гохман превращалось в своеобразную эстетическую утопию — высокохудожественные знаки мира, которого нет, мира, мыслимого только в категориях желательности и долженствования. Подобно тому, как археолог извлекает из полевого раскопа обломки, осколки, а порой и уцелевшие предметы какой-нибудь исчезнувшей керамической цивилизации, Мила Гохман извлекала из траншей своего воображения блистательные образцы никогда не существовавшей цивилизации — кожаной.

У кожи — устойчивая репутация «прикладного» материала. Мила Гохман открывает и утверждает кожу — в посрамление плоскому прикладничеству — как материал универсальный. Материал, убедительно работающий в живописи, графике, скульптуре и ювелирных изделиях. Если общество требует превращения искусства в «часть общепролетарского дела», то есть превращения любого искусства в прикладное (хотя бы в политическом смысле), то собственно прикладничеству — прикладному ремеслу — ничего не остается, как потихоньку или напористо превращаться в искусство — в область художественной свободы. Этой возможностью (или закономерностью) Мила Гохман воспользовалась вполне.





II

Кожа по своему происхождению — материал пограничный, знак границы. А граница — место контакта и преодоления. Все искусство Милы Гохман пронизано силовыми линиями контакта и преодоления. Оно преодолевает границу — вернее, осуществляется на границе — между прикладничеством и станковизмом. Оно преодолевает противоречие между пластичностью живописного мазка — и кажущейся заданностью кожи как материала. Оно взламывает границу традиционного использования материала. Пройдя ряд искусств, оно становится искусством — то есть преодолением противоречия между материальным и высоко духовным.

Кожа не стала для Милы Гохман неким компромиссом — суррогатом традиционно ювелирных материалов. Она избрала кожу с той естественной простотой, с какой скульптор избирает мрамор, дерево или глину, а живописец — масло, гуашь или акварель. Утилитарное, прагматичное в коже изначально выносилось за скобки.

Дисциплина формы, столь характерная для Милы Гохман, поневоле провоцирует ретроспекцию. Не случайно небольшая статья Ирины Уваровой в «ДИ» стала не просто рассказом о киевском мастере по коже, а блистательным эссе на тему модерна. Постигание того, что сделала за четверть века Мила Гохман, невозможно без аналогий с иными эстетическими эпохами. Кожа по своим художественным свойствам сродни модерну с его пластичностью, почти скульптурностью. Модерн в известном смысле — это укрошенный, стилизованный избыток. Ностальгическая нота модерна звучит в изощренной пластике работ Милы Гохман, в причудах их орнаментики, в изысканности переплетения линий.

Украшения и панно из кожи поневоле несли в себе великолепную объективность, победительную суверенность предметов роскоши, предметов искусства. Душа художника



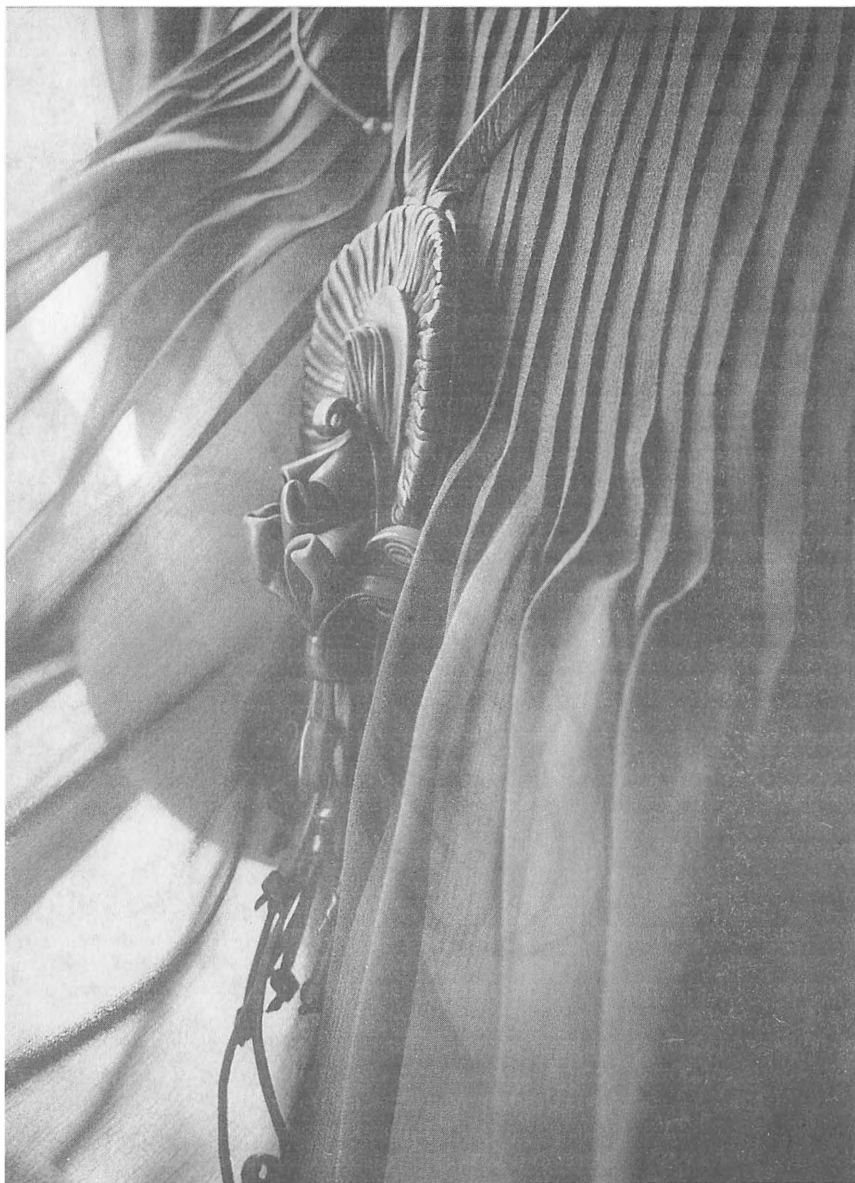
словно томила за панцирем объемного, непроницаемого материала. Нужен был выход, прорыв, открытое, откровенное выявление авторского «я». Такой прорыв осуществился в графике. Интенсивно противостоящие работам из кожи по материалу (тончайшие фрагменты из цветной бумаги) и родственные им по технике (аппликация, коллаж) графические листы Милы Гохман оказались странным продолжением — вернее, инобытием — все того же творческого мира, проекцией на плоскость уже найденного в коже.

Графика Милы Гохман удивительно музыкальна — не случайно это многочастные композиции. И мера свободы в них равна только мере дисциплины и совершенства, когда пронзительно исповедальный мотив подчиняется высокой эстетической абстракции, сложнейшему гармонизирующему симфонизму. Дух, как говорится, живет, где хочет. На этот раз он поселился в работах Милы Гохман: мысль, воплотившаяся в коже и бумаге.

III

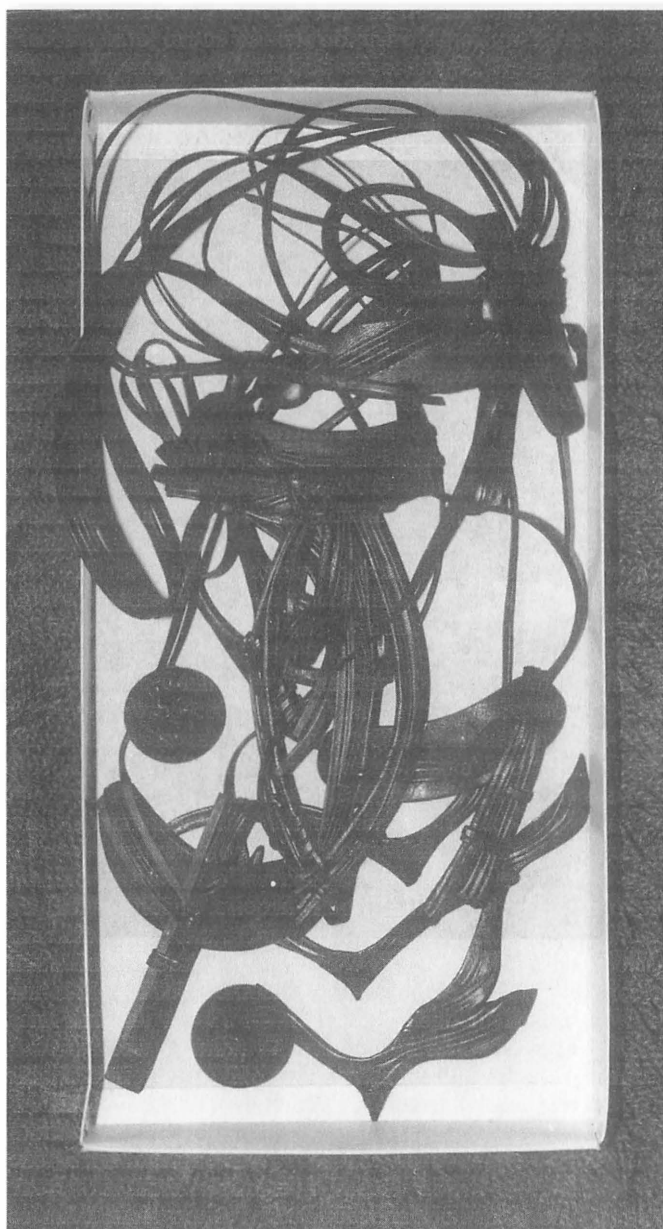
Мила Гохман родилась в Киеве 22 июня 1934 года. В 1941 году вместе с родителями уехала в эвакуацию. Закончила обычную киевскую школу — вот только в 1952 году, в самый разгар кампании по борьбе с космополитизмом о гуманитарном выборе не могло быть и речи, и она поступила на вечернее отделение в технический вуз. Затем работала инженером. Занимаясь чужим, чуждым делом, неуклонно искала свое. Сколь долгим был этот поиск, как определилось одно из самых главных для Милы и по сегодняшний день понятий «преодоление» — тема отдельного и очень серьезного разговора. Важно другое — 30 лет назад в Прибалтике, в Таллинне, уже сложившееся внутреннее видение, уже состоявшаяся глубинная внутренняя философия обрели свою форму и свой материал. Появились первые станковые работы из кожи. Кстати, первая выставка художника тоже состоялась в Таллинне. Годы напряженного, подвижнического труда. Мила активно сотрудничала с Киевским домом моделей одежды. С коллекциями киевских модельеров ее работы объездили множество стран мира. С неизменным успехом прошли в Прибалтике, Ленинграде, Киеве и США семь ее персональных выставок. Ее коллекция чрезвычайно масштабна и блистательна. Кажется — вполне благополучный результат. Но так уж сложилось, что по-прежнему, как и в самом начале пути, главным, едва ли не единственным, словом в Милиной судьбе остается слово «преодоление». Три замечательных проекта, подготовленных художником к юбилею, так и не были осуществлены из-за отсутствия спонсорской поддержки...

Людмила Сверхикова









ЗМІСТ

ВНЕ РУБРИК

50-ЛЕТИЕ ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ

4

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Инна Лесовая

МАНЕЧКА И ФРИДОЧКА

7

Вениамин Блаженных

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

84

Селим Ялкут

ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

89

МОНОЛОГ

101

ЕВРЕЙСКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Из собрания М.Я.Береговского

Переводы Елены Биевской и Михаила Яснова

105

Гелий Аронов

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ СВИДЕТЕЛЬ

128

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕМПИОНА

135

Михаил Генделев

СТИХИ

142

Йосиф Бродский

3 ЦИКЛУ «ЧАСТИНА МОВИ»

Переклад Оксани Забузко

145

Евгений Рашковский

СТИХИ

146

МЕМУАРЫ**Юрій Вудка****СПОГАДИ ПРО ДРУЗІВ****154****Риталий Заславский****СУДЯ ПО СТИХАМ...**

(Из воспоминаний о Шлойме Чернявском)

161**Шлойма Чернявский****СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ***Переводы Риталия Заславского***163****Мирон Петровский****УРОК В КАНУН ЮБИЛЕЯ****171****Александр Вознесенский****ДОКТОР БРОДСКИЙ****185**ПУБЛИЦИСТИКА**Иосиф Зисельс****ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ:****НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ****203****Зиновій Антонюк****ЧИ ПОТРІБЕН СЬОГОДНІ****ЮДЕО-ХРИСТІЯНСЬКИЙ ДІАЛОГ?****210****Микола Рябчук****ВОСЬМЕРО ЄВРЕЇВ У ПОШУКАХ ДІДУСЯ****228**НАШИ ПУБЛИКАЦИИ**Аарон Штейнберг****НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ****239****ДВА НЕИЗВЕСТНЫХ ПИСЬМА И.ЭРЕНБУРГА****253**

ИСКУССТВО

ВЕЧНОСТЬЮ НАПОЛНЕННЫЙ МИГ...

О киевском художнике Акиме Левиче

255

ХУДОЖНИК БОРИС ЛЕКАРЬ

265

ДУХ ЖИВЕТ, ГДЕ ХОЧЕТ

278

Інститут юдаїки

Інститут юдаїки створено з метою організації робіт та координації зусиль вчених у галузі вивчення єврейської історії та культури в Україні.

Основні форми роботи Інституту:

- виконання дослідницьких проектів;
- організація та проведення конференцій, семінарів, лекторіїв;
- видавнича діяльність.

Дослідницькі проекти

Історико-архівні програми

- опис єврейських фондів та документів в архівах України;
- вивчення історії репресій проти євреїв та єврейської культури за матеріалами архівів ДПУ, НКВС, КДБ;
- формування фотоархіву «Єврейський світ» (фотографії кінця XIX — початку XX ст.);
- вивчення історії алії (проект Агмона, разом із Тель-Авівським університетом);
- архівний пошук документів про людей, які рятували євреїв під час другої світової війни.

Соціологічні, демографічні та політологічні програми

- проект «Долі євреїв України у XX столітті» — запис усних історій людей старшого віку, генеалогія єврейських родин, духовна «зустріч» поколінь;
- соціологічні дослідження про тенденції в єврейському середовищі, про ставлення українського суспільства до євреїв та єврейських проблем;
- моніторинг ксенофобських, антисемітських акцій, публікацій, виступів; узагальнення тенденцій антисемітизму, розробка програм сприяння толерантності та багатокультурності для українського суспільства;
- демографічний прогноз чисельності єврейства України;
- проект «Становлення єврейської общини в Україні: 1987–1997 рр.».

Мистецтво

- єврейська тема у живопису, графіці, скульптурі художників України;

Конференції, семінари, лекторії

Інститут, починаючи з 1993 року щорічно організовує та проводить Міжнародну наукову конференцію «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи»;

- у 1994–95 рр. виступав у ролі одного з організаторів міжнародного семінару «Єврейська цивілізація та духовність».

Видавнича діяльність

Інститут видав:

- літературно-публіцистичний альманах «Єгупець» (№ 1 — 1995 р., № 2 — 1996 р., № 3 — 1997 р., № 4 — 1998 р.), ред. Г.Аронов;
- матеріали міжнародної наукової конференції «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи» (1994, 1995, 1996, 1997, 1998), ред. Г.Аронов;
- матеріали Єрусалимської конференції 1993 р. «Україно-єврейські відносини» (ж-л «Філософська і соціологічна думка», №№ 1–2, 5–6, 1994 р.), ред. Л.Фінберг;
- «Jews and Slavs», v.5, Jerusalem 1996, редактори В. Москович, Л.Фінберг та ін.;

- С.Рос, «Легальные средства борьбы против антисемитизма», ред. В.Міндлін;
 - «Поле відчаю й надії», ред. та упорядник Р.Корогодський, 1994;
 - Шимон Маркиш, «Бабель и другие», ред. Л.Фінберг, 1996;
 - «Новые реалии Украины: украинско-еврейский диалог», ред. Л.Фінберг, 1997;
 - М.Кальницький, «Синагога Киевской иудейской общины. 5656–5756. Исторический очерк», 1997;
 - ілюстрований єврейський календар 1997–98р., упорядник О.Школяренко;
 - перший-третій випуски підготовчих матеріалів популярної енциклопедії «Українське єврейство» (матеріали до III тому «Україно-юдаїка. Українсько-єврейські взаємини»), відповідальний за випуск М.Феллер.
- Інститут готує до видання:*
- Іцхак Башевіс Зінгер, «Раб»;
 - В.Хітерер, «Документи по еврейской истории в киевских архивах (XVI—XX вв.)»;
 - «Труды еврейской историко-археологической комиссии 20–30-х годов», упорядник В.Хітерер;
 - Ж.Ковба, «Шляхетність у морі жорстокості (Про тих, хто загинув, рятую євреїв)»;
 - М.Береговський, «Пуримшпили»;
 - М.Міцель, «История Киевской и Львовской синагог в документах и материалах 1940–1970 гг.»;
 - В.Скуратівський, «К истории фальшивки — Протоколов сионских мудрецов»;
 - популярна енциклопедія «Єврейство України», ред. М.Феллер;
 - туристична карта «Єврейські адреси Києва», упорядники М.Кальницький, О.Школяренко, З.Чечик.

Інститут юдаїки створений у 1996 році та продовжує діяльність Науково-дослідного центру Асоціації юдаїки. Інститут співпрацює з Університетом «Києво-Могилянська академія», Міжнародним Соломоновим університетом, академічними інститутами України (Інститутом філософії, Інститутом соціології, Інститутом політології та міжнаціональних відносин), Київським центром політичних досліджень та конфліктології, Центром «Демократичні ініціативи», університетами та дослідницькими центрами Єрусалима, Тель-Авіва, Лондона, Парижа, Женеви, Нью-Йорка.

Інститут є громадською організацією. Спонсорами наших програм є Всеукраїнський єврейський комітет, Асоціація єврейських общин та організацій України — Ваад України, Американський єврейський розподільчий комітет «Джойнт», Міністерство у справах національностей України, Американський єврейський комітет, інші громадські організації та міжнародні фонди.

При Інституті створена наглядова рада, до якої входять вчені, громадські діячі та підприємці України.

Інститут відкритий до співробітництва з усіма зацікавленими особами та організаціями.

- Україна, 252049, Київ, вул. Курська, 6
тел/факс. (38044) 213 91 49
E-mail: finberg@777.com.ua

The Institute of Judaic Studies

The Institute of Judaic Studies was created to organize and coordinate the research efforts of scholars in the area of Jewish history and culture in Ukraine.

The main tasks of the Institute include:

- carrying out research projects;
- organizing and conducting conferences, seminars, lectures;
- publishing activities.

Research projects

Historical-archival programs:

- description of Jewish documents and other materials preserved in the archives of Ukraine;
- research on the repression of Jews and the destruction of Jewish culture according to KGB archival materials;
- formation of the photo-archive «Jewish world» (photographs from the end of the 19-th, beginning of the 20-th century);
- the study of the history of «aliyah» (Project Agmon in collaboration with Tel-Aviv University);
- archival search for documents about people who saved Jews during the 2-nd World War;
- creating a register of monuments of Jewish material culture;
- formation of the cinema archive: the Jewish theme in the cinematography of Ukraine in the 20-th century;

Sociological and politic science programs

- project «The Fate of the Jews of Ukraine in the 20-th century» — recording of oral history, general descriptions of the Jewish experience, historical research;
- sociological research on tendencies in Jewish society and on attitudes towards Jews and Jewish problems in Ukrainian society;
- monitoring of the materials of the Ukrainian Press for violations of human rights and the rights of nationalities (national minorities);
- monitoring of xenophobia, anti-Semitic acts, publications, speeches. Generalization of tendencies of anti-Semitism. Working program on tolerance and multiculturalism for Ukrainian society.
- Demographic prognosis concerning the size of the Jewish population in Ukraine.

Art and literature

- Jewish themes in art, graphics, sculpture, photography of artists and in creative work of writers in Ukraine.

Conferences, seminars, lectures

Since 1993, the Institute of Judaic Studies:

- annually organizes and conducts the International Academic Conference «Jewish History and Culture in Ukraine»;
- establishes and maintains a Ukrainian-wide network of lectures on Jewish history and culture.

Publishing activities

The Institute has prepared or promoted the following issues:

- the annual literary and socio-political almanac «Egupets» (№ 1 — 1995; № 2 — 1996; № 3 — 1997, № 4 — 1998), editor — Gelyi Aronov;
- Materials of the annual International Academic Conference «Jewish History and Culture in Ukraine» (1994, 1995, 1996, 1997, 1998), editor — Gelyi Aronov;

- Materials of the «Jerusalem Conference 1993 'Ukrainian-Jewish relations'» («Journal of Philosophical and Sociological Thought», № 1-2 and 5-6, 1994), editor Leonid Finberg;
- «Jews and Slavs», v.5, Jerusalem 1996, editors Volf Moscovitch, Leonid Finberg and others;
- Stefen J. Ros, «Legal Remedies in the Fight Against Anti-Semitism», editor Vladimir Mindlin;
- «The Field of Despair, the Field of Hope», 1996, editor and compiler Roman Korogorodskiy;
- Shimon Markish, «Babel and Others», 1996, edited by Leonid Finberg;
- «New Reality of Ukraine: Ukrainian-Jewish Dialogue», 1997, edited by Leonid Finberg;
- Michael Kalnitskiy, «Synagogues of the Jewish Community. 5656-5756. Historical Review», 1997.
- The Illustrated Jewish Calendar for 1997-1998.

The Institute is preparing the following publications:

- Itshack Bashevis Zinger, «Slave»;
- Victoriya Hiterer, «Documents on the Jewish History in the Archives of Kiev (16-th — 20-th centuries)»;
- «Works of the Jewish Historico-Archeological Commission in the 1920s and '30s», edited by Victoriya Hiterer;
- Zhanna Kovba, «Honesty in the Sea of Cruelty (About those who died while saving Jews)»;
- Michael Beregovsky, «Purimshpils»;
- Michael Mitsel, «The History of synagogues of Ukraine in Documents and Materials, 1940-1970»;
- Vadim Skuratovskiy, «The History of Myth: The Protocols of the Elders of Zion»;
- The popular encyclopedia «Ukrainian Jewry», editor Marten Feller;
- Tour map «Jewish Addresses in Kiev».

The Institute of Judaic Studies was created in 1996, and continues the work of the scientific research center — Association of Judaica.

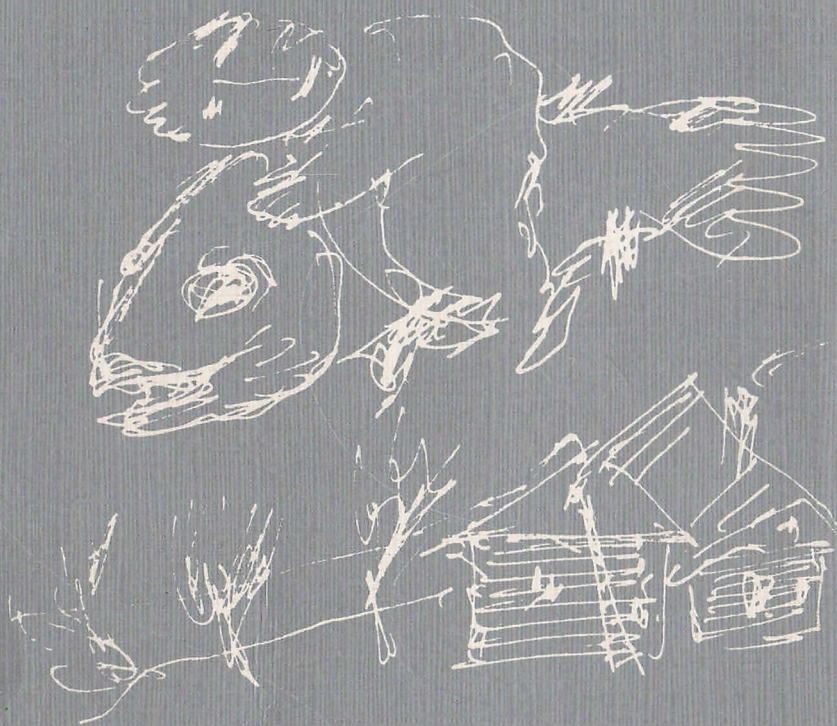
The Institute collaborates with the International Solomon University, Kyiv Mogilan Academy, academic institutes of Ukraine (Institute of Philosophy, Institute of Sociology, Institute of Political Science and Relations between Nationalities), the Kyiv Center of Political Research and Conflict, the Center of «Democratic Initiatives», universities and research centers in Jerusalem, Tel-Aviv, London, Paris, Geneva and New York.

The Institute functions as a public organization. Sponsors of our programs include the All-Ukrainian Jewish Congress, the Association of Jewish Communities and Organizations of Ukraine — the VAAD of Ukraine, the American Jewish Joint Distribution Committee, the Ministry of Affairs of Nationalities of Ukraine, the American Jewish Committee, and other public organizations and international foundations.

A Board of Governors was established under the auspices of the Institute. Members of the Board of Governors include scholars, practitioners, and entrepreneurs of Ukraine.

The Institute is open to cooperation with all interested people and organizations.

- Kurskaya str., 6
252049 Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: (38044) 213 91 49
E-mail: finberg@777.com.ua



The Ehupets almanac is edited by the Institute of Judaic studies (Kiev) and aims to publish fiction and journalism depicting different sides of Jewish life — in the past, present and future. The fourth issue assembled well-known as well as less known authors, but all of their literary works — including stories, essays, novels, poetry, articles — will undoubtedly be of interest not only to Jewish readers but to all worshippers of literature.